САША СОКОЛОВ
СОКОЛОВ
САША
Школа для дураков
Между собакой и волком

SYMPOSIUM

СОКОЛОВ

САША

ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ

•

МЕЖДУ СОБАКОЙ И ВОЛКОМ

Санкт-Петербург
«Симпозиум»
1999

ББК 84Р7
С59

Предисловие
Алексея Цветкова

Оформление
Александра Пожванова
и Олега Попова

ISBN 5-89091-090-6

УРОКИ МЕРКАТОРА

...я нынче запер дом и живу в сарае,
так удобнее, занимаешь меньше места.
«Школа для дураков»

Или, напротив, убедительнее начать с погоды, потому что в этих книгах погоды тоже с лихвой. В России, а эти книги о ней, географии и метеорологии больше, чем вообще всего остального, их надо бы сделать статьей экспорта, но нет спроса: предпочитают нефть, чтобы натопить и сидеть дома у себя за границей. Только раньше не замечали, не приходило в голову, что надо именно об этом, в первую очередь и всегда. У Тургенева погоды достаточно, но он так и не решил, как с ней быть, тоже оступился в идеи. Место и климат надо выстроить, чтобы получилось не описание для диктанта, а страна с населением: водокачка, дача с дождевой бочкой, полоса отчуждения, чайная для пристанционного досуга. Названия не нужно, потому что пейзаж и так не оставляет сомнений. А диктантов из Саши Соколова не нашинкуешь, школьникам жить легче — особенно тому двоечнику, которого он пожалел навеки, как никто из нас.

Мы впервые встретились в Сан-Франциско, затем в Мичигане, Вермонте, Вашингтоне, в Москве. Язык пригородных поездов подскажет: далее везде. В «Палисандрии» география прозы смывает прежние границы и торопится нагнать автора, но у нее остается в уме меридиан отсчета и возвращения. Какой из трехсот шестидесяти самый лучший? Меридиан придуман, он вышел точнее настоящего, и вернуться — значит стать синтаксисом, грамматическим управлением, списком исключенных глаголов. Прошение в грамматическое управление: прошу исключить из списка глаголов.

Мое «мы» вырвалось не затем, чтобы расчищать здесь себе место — его хочется просто подтвердить и спрятать. Демобилизованный зоил отбывает из расположения литературной части и выбирает соседей и друзей по своему усмотрению. Больше незачем запевать, как учили: «Непреходящее значение произведений имярека...» Жанр предисловия требует от набитой руки если не презрения, то безразличия к предмету,

иначе проверенные и послужившие фразы лягут вкривь и продадут с головой. Это — первое за мои полвека, и написать его надо так («чтобы не было мучительно больно», подскажет Водокачка), как если бы следующего не предвиделось. Да так оно, собственно говоря, и есть. Надеюсь.

Счастлива книга, чтение которой бережешь как событие, как случившееся на самом деле, а не просто одинаковые буквы на бумаге. Может быть, так чаще случается в детстве, но книг мне перепало три подряд, детство давно оборвалось по ту сторону океана, а автора угадать нетрудно. Владимир Набоков назвал «Школу для дураков» «обаятельной, трагической и трогательнейшей книгой» — у него не выпытать, что он имел в виду, даже если бы оставался жив. Слишком непохоже это признание на слова заядлого громовержца, истребителя Достоевского и Пастернака, Фолкнера и Конрада. Да и выпытывать, кажется, ни к чему, коль скоро потерял контроль, полностью выпал из образа. Есть книги, которым признаются в любви.

Почти четверть века назад, в узком с эркерами доме на холме, будто в башне маяка над Золотыми Воротами, в еще необжитой стране... Кажется, я вижу, что где лежало, наизусть перескажу план этой комнаты, но она запомнилась не отдельно: это сценография, антураж первого свидания. Где-то в прежней стране, вызубрив азбуку, поражаешься, как эти закорючки вдруг волшебно сливаются в смысл, становятся неслышной речью в черепе, и невдомек, почему не получалось раньше и как без этого жил. Через много лет, вопреки всему опыту, это повторилось: «Школа для дураков» читалась как первая книга в жизни, иногда ее приходилось отложить и пройтись из угла в угол, перевести дыхание. Непреходящее значение навсегда оставалось другим, а эта прирастала живой плотью: хотелось быть человеком, написавшим такую книгу.

Критик сам не умеет, он хвалит или ругает чужое, потому что для этого ходит на работу. Писатель пробует разобрать в уме на части и посмотреть, получится ли у него похоже, но иногда чутье обманывает: все колесики понятны, а обратно в будильник не складываются. Дерево состоит из известных молекул, но мы думаем, что у него нет автора. О книге так сказать не посмеешь, но, прочитав эту, трудно не пожалеть, что большинство других все-таки не остались деревьями. Мы жили бы на другой земле: больше зелени, меньше лжи. Мы могли бы оказаться персонажами «Школы для дураков».

Но кто они такие? Все каноны, которым каждый из нас учился в собственной школе для дураков, ниспровергнуты. Главный герой двукратен, и тем не менее — один и тот же, хотя это не мешает ипостасям упрекать друг друга и даже прибегать к взаимным угрозам. Он влюблен (оба влюблены) в женщину намного старше себя, учительницу,— но она же ветка, причем омонимично и древесная, и железнодорожная. Ш. С. Трахтенберг одновременно и старуха Тинберген: то ли ведьма, живущая с экскаваторщиком, то ли соседка, которая извела мужа-провизора и любовника-управдома. Она же в нужном эпизоде берет на себя роль завуча. Дачному почтальону вообще не положено точного имени: то ли он Михеев, то ли Медведев, и так мы об него спотыкаемся каждый раз. Простите, но разве автор не волен давать любому герою профессию и фамилию по своему выбору? Выбор — это прекращение свободы, автор не хочет ловить себя на слове.

Или, например, место действия. В принципе, если иметь в виду «реальное» время, большая часть сюжета протекает в мужском туалете школы. Но о реальном времени речи быть не может, оно течет параллельными пучками, в разных направлениях и с произвольной скоростью. Есть город, автор предпочел не давать ему названия, и, наверное, школа, вместе со своим туалетом, расположена именно там. Но почему мы поминутно оказываемся в дачной местности? Иногда и этой местности становится мало, она растекается в страну, но и страна непростая: сплошная полоса отчуждения, населенная, по-видимому, только железнодорожниками и приспособленная для перевозки контейнеров. Страна называется Россия, но из населенных пунктов в ней различимы разве что пункты А и В для удобства велосипедистов.

Все вольно списать на диагноз героя, он де учится в школе для дураков. Но что это за диагноз? Нет никакой попытки воссоздать что-нибудь правдоподобное из учебника, никаких хрестоматийных синдромов. Есть психиатр доктор Заузе, но он учит героя совершенным с медицинской точки зрения глупостям: вести наблюдение за собственным внутренним дублем, стучать на него. Такие доктора общеизвестны. И если ненормален герой, то у кого вообще голова в порядке — у Трахтенберг, устраивающей сеансы покойному мужу с помощью испорченного патефона? Из этой фантазии не извлечь ни единой крупицы реальности: все попытки здравых мотивировок обречены на провал.

Возьмем учителя географии и мудрости Павла Петровича Норвегова: это он всю книгу ведет с героем разговор, сидя

на подоконнике школьного сортира. Очень скоро становится очевидно, что учитель умер, хотя точного срока все равно не уловить — неясно, до или после чего, может быть даже в ходе разговора. Он как бы тоже составлен из двух половин, живой и мертвой, обитающих по обе стороны дачной речки Леты, из Павла и Савла, но и эта параллель из Деяний Апостолов лишь путает нам ориентиры, потому что он скорее предтеча, который готовит путь Насылающему Ветер, хозяину и грядущему разрушителю этой дачно-пригородной страны. Кто этот демиург? Не кто иной, как почтальон и велосипедист Михеев. Медведев?

Если кто-то думает, что я пытаюсь пересказывать или даже толковать сюжет, пусть задумается глубже. Книгу, как и автора, нельзя поймать на слове, она не так и не затем написана. Для непонятливых проставлено прямое предостережение внутри: эпизод с чтением японских текстов на железнодорожной станции Мел, когда все эти путевые служащие на короткое время становятся японцами, а их баранки вприкуску — чайной церемонией. Может быть, только в этом виртуозном куске можно мгновенно подсмотреть работу автора, уследить за быстрыми руками фокусника: тон задает цитата из Кавабаты, затем «прециозные» темы сгущают атмосферу и собеседники обзаводятся японскими именами. А затем снова, столь же мгновенно, все становится на места, и нам остается растерянно протирать очки и продувать слуховой рожок. Рассказать — три слова, объяснить — сто.

Ни события, ни образы никак не обретают привычной точности — типичности в типичных обстоятельствах, если снова прибегнуть к жаргону Водокачки. Но они расслоены четкой трещиной, которую за отсутствием другого термина приходится назвать нравственным рубежом. Может быть, это и есть полоса отчуждения, но по краям не лежит добро и зло в библейском смысле, и двойное имя Норвегова намеренно вводит в заблуждение. По одну сторону — те, кто связан с географией и климатом, Михеев-Медведев, Вета Акатова, сам Норвегов и его вечная любовь Роза Ветрова, роза ветров, девочка, придуманная героем, чтобы выпросить денег у родителей под предлогом ее болезни, и умершая от этой болезни «примерно в седьмом классе». Темные силы — недруги погоды и велосипеда, оседлые жители с газетами в руках. Они и в самом деле «тверже», почти материальны, и двусоставность Трахтенберг-Тинберген тут скорее исключение, традиционное оборотничество. Никем другим не становится отец героя, прокурор, который уверен, что мир населен негодяями,

а Норвегова считает ветрогоном — «он и помирать станет на босу ногу». Сосед по даче, товарищ прокурора — вовсе не товарищ, обокрал у него нужник. Аура зла еще гуще вокруг директора школы Н. Г. Перилло, которого одно имя делает пугалом, и достигает полного накала в психиатре Заузе с его указом не бывать на даче. Это на них скликает непогоду Павел Петрович, это их корит со своего подоконника: «сколь некрасиво у нас в уборной, о боже, как бедны наши чувства к женщине, как циничны мы, люди спецшколы».

Мало что добавляет к этим исчадиям упоминание вскользь о статуях человека в кепке и человека без кепки (имена герою безразличны) или о том, как академика Акатова, отца Веты и переселенца из выбранного мной эпиграфа, в свое время увели неведомо куда, но через годы вернули и положили ему пенсию. Спецшкола, в которой в ту пору учились все поголовно, закаляла сталь даже в умах убежденных второгодников, но некоторые уходили в велосипедисты.

Эту страну, где не все мертвые исчезают и не все живые существуют, где географию огибает Край Одинокого Козодоя с его рекой забвения, где дворник Министерства Тревог консультирует министра по вопросам погоды, а ученики с учителями запутались в сетях безнадежной любви и страха, — эту страну мог выстроить, может быть, только ребенок, которому неизвестны наши глупые правила, ученик спецшколы такой-то. Но никакому ребенку не по плечу язык, из которого, ломая всю логику, вырастает столь небывалый мир. Он не по плечу никакому взрослому: совершенно справедливо, что автор навсегда отверг имя-отчество.

Книга, написанная поперек всех канонов, так и кончается: одновременно свадьбой и катастрофой, потому что письмоносец Михеев все-таки спустил свои ветры с привязи.

Не безумно ли вообще соваться сюда с предисловием? Самое пылкое пристрастие тщетно, все попытки возвеличить умаляют. Книга кажется заведомо больше, чем можно о ней сказать, толкования отсекают живые куски. Так объясняли когда-то музыку в областных филармониях, утопая в торжественной перхоти. Проще спеть, рассказать наизусть. Иначе выйдет намного длиннее самого предмета.

Ученик такой-то вышел с напарником за бумагой, потому что хотел продолжить, но возвратившись, рассказал совсем не то. «Между собакой и волком» — путеводитель в сумерках.

Может быть, ученик отсутствовал слишком долго, потому что успел за это время вырасти, стать кем-то совершенно

другим. Скорее всего, это на самом деле кто-то другой, Зынзырэла Илья Петрикеевич, вот только фамилия у него все время странно двоится и колеблется. Но мы, разумеется, уже ко всему готовы.

Роман в жанре письма адресован гражданину Сидор Фомичу Пожилых, о котором мы еще раз-другой услышим, но больше так ничего и не узнаем. Вернее, как всегда у Соколова, может быть, и узнаем, да не поймем, о ком идет речь. Письмо не подписано по очевидным в конце причинам. Впрочем, не берусь утверждать, что жанр нельзя определить иначе: это записки, помещенные в чекушку и отправленные из верховьев реки к устью. Записки в стихах. Автор, как явствует, жив-здоров, занят «штопкой мешка, починкой мережи и бочки» и горд своим застекленным шедевром.

Продолжение? Второй том трилогии? Настаивать столь же бессмысленно, сколь и отрицать, потому что никто не наскребет необходимых доказательств и опровержений. Например, мне доподлинно известно, что замысел возник из картины Брейгеля, которую даже нетрудно вычислить. Но в ходе переплавки живописной плоскости в словесный объем образовался мир, которому, во всей его сумеречной гротескности, нет иного образца, кроме до боли знакомого:

«Заберешься на гору хлама передохнуть — дух займется: сторонушка хоть куда. Осмотритесь. На западе ветошница при долине граблями мусор гребет, на севере сучара трехлапая рыщет насчет пожрать, на востоке сержант в запасе в ручье ковыряется — мотоциклетку бредит собрать по частям, а на юге шантрапа радеет по части чинариков. Мир, покойно, никто никому ничего, потому как человек человеку тут человек, не более; и дымки отечества повсеместно, как в то восстание — мусор тлеет по-тихому, панорама — куда ни плюнь. И такая к ней близость внутри щемит, что домой возвращаться — да ну его».

Осмотритесь еще раз: это ведь роза ветров, Роза Ветрова — «могильный цвет». Она умерла в прошлой книге — в этой она похоронена.

В прошлой было раздвоение героя, в этой — раздвоена сама книга, метящая то ли в романы, то ли в стихотворные антологии. Любителям определенности, коль скоро уж они сюда угодили, можно даже предложить подобие сюжета, заранее сняв с себя всякую ответственность. Герой с приблизительной фамилией, бродячий инвалид-точильщик, пишет жалобу на покражу костылей, которые, как можно заключить из невнятного рассказа калеки, были изъяты в отмест-

ку за избиение принятой за волка охотничьей собаки (были сомнения и насчет рашпиля, но он нашелся). Последующее обострение конфликта приводит в конечном счете к гибели жалобщика, очевидной из заключительного абзаца прозаической части, и убитая собака в инобытии лижет ему струпья. С другой стороны, причиной смерти могла быть и трагическая любовь, уже истребившая в округе немало народу — это ведь по ее вине он на ногу короче.

Достоверного родства с персоналом «Школы» Илья Петрикеевич не демонстрирует, но его возлюбленная — дело иное. Вета Акатова уже там обладала опасной амплитудой: от девочки с простой собакой до низменной потаскушки, пугавшей ученика неведомым сексом. Теперь она является в облике соблазненной и соблазнительницы Орины-Марии со всеми своими железнодорожными атрибутами, с полосой отчуждения и оравой похотливых смазчиков и путевых обходчиков, с матросами в увольнительной и просто с сапожником в укор безногому Илье. Вета-ветка сделала окончательный выбор между деревом и железом, дочь репрессированного академика сбросила личину интеллигентности, раздвинула ноги и поработила мир — кто, как не она, заманивает в тростники незадачливых егерей, всех этих «запойных» в обоих смыслах, а затем отсылает обратно, опустошенных и обугленных?

А сами запойные, — кто они, калеки, егеря, копеечные барышники, — статисты якобы из Брейгеля? У них и впрямь нет досуга лучше, чем разогнаться на точеных, — кроме основного, которому они предаются в кубаре. Их имена отсылают к Ветхому Завету и языческому пантеону, но обрывки биографий совершенно сбивают с толку. Взять, к примеру, Петра и его племянника Павла, на которых теперь рассыпался наш старый кумир Павел Петрович Норвегов. Они не только не те, за кого их норовишь принять, но вообще Кирилл и Мефодий — с голубиной перепиской по поводу закупки дрожжей на общеизвестные нужды и с чудесным обретением буквы «ж» из разбитого точильного колеса. «Федором, Егором и Петром» величает Петра на его тризне «змей вещий», волхв Крылобыл, и непонятно, одного человека хоронят или больше — как не было понятно при жизни. Но иногда имена выдаются скупо, одним, как зонтиком, прикрываются несколько. Вот Яков, возникший из простого заклинания от икоты, из последнего в выстроенной там очереди, Яков Ильич Паламахтеров, герой «Автопортрета в мундире», долгое время занятый тем, что не подает виду, но затем разоблаченный как охотничий сторож. Ему разумно приписать авторство

«Записок запойного охотника», стихотворной вышивки романа. Но кто же тогда другой Яков, бегущий с Ильей из лечебного заведения в совместных казенных валенках и возможный плод его нелегкой любви? Якова целых два, но мы не верим, подозреваем подвох — мы настолько готовы быть сбитыми с толку, что сбиваемся наперед, добровольно. Читатель теряет голову и сам постепенно становится персонажем повествования.

Язык — вот единственный секрет обуявшего нас наваждения, вот где рождаются эти химеры. Тавтология здесь мнимая: язык писателя — это бунт против казенщины «литературного», против кубиков, из которых трудовые мастера слова собирают свои мозолистые произведения. Но это и не поза стилизатора: автор покинул собственную речь и снаружи строит из нее вселенную, не считаясь с внутренними законами смысла. Такого абсолютно внешнего взгляда мы еще на себе не ощущали, таких книг в русской литературе не только никогда не было, но и никто не подозревал, что они возможны. Это театр, в котором единственный актер сидит в зале, а зрители неведомо как исполняют на сцене внушенные роли. Это, если угодно, пародия на весь стилистический аппарат, проба художественного письма за пределами литературы. И сказовая скороговорка исповеди, и саркастический анахронизм «Ловчей повести», и, наконец, сами «Записки» — конспект и мозаика полного поэтического наследия, от Державина до Пастернака, с Пушкиным наискось всего. В одном месте в сюжет заподлицо впаяли «Раскинулось море широко», в других повествование страницы подряд идет в повелительном инфинитиве, будто нет ничего естественнее.

Пародия на весь язык, предполагающая внешнюю к нему позицию, не смешит, а напротив: одно дело — куриные косточки в негативе, совсем другое — рентгеновское зрение. Может быть, этот сочиненный мир — не наш, но тогда нашего вообще нет в природе, потому что этот точнее. Убедительность развеществленного языка повергает в трепет. Вот, например, из куда менее сумеречной книги: «Хорошо встречаться с девушкой, мать которой работает на земснаряде». Конечно, хорошо, замечательно, даже тень сомнения не промелькнет. Но на секунду вдуматься: как, почему, с какой стати? Что вообще за постановка вопроса?

Вся эта пристанционная и пойменная гомоза, Мыломукомолово и Малокулебяково, Быдогощи, Итиль с потусторонним Заволчьем (вот куда впадает дачная Лета) — незачем описывать страну и собирать по черепку, когда она поймана

за язык. В своем изощренном косноязычии точильщик доказывает относительность Заволчья: дескать, все зависит от того, с которого берега несешься на точеных. Все правильно, это и есть утопия сумасброда Федорова, заветная ересь России: воскрешение отцов — но в мире, где уже не рождаются дети, а между мертвыми и живыми разницы не больше, чем между собакой и волком в сумерках. Восставшие из гроба ходят и существуют, но не оживают. Нас всех описали, как Гиббон — исчезнувший Рим.

Мы давно привыкли к писательским играм в прятки с персонажами, это стало общим местом модернизма — только ленивый не обнажает прием и другие части тела. Но здесь нас провели вдвойне и спрятали автора, то ли точильщика, то ли сторожа, а может быть, один из них сочинил другого, либо они вообще друг о друге не подозревают. (То есть как это не подозревают, ведь есть чистосердечное признание Якова в убийстве соавтора: «А что мы с Крылобыльчиком к артельщику так отнеслись — так не гневайтесь, мало чего не бывает в быту».) И если только они, откуда взялась «Ловчая повесть»? Так, задавая себе один глупый вопрос за другим, докатываемся до последнего: кто сочинил Россию? То есть как кто? — покойный Илья, конечно, это он ее спел в ответ на «Раскинулось море широко» матросу Альбатросову, соблазнителю своей смертоносной возлюбленной, глядя в вагонное окно:

«А посмотреть за окошко, там тоже веселого мало — хибары, декабрь. И какой-нибудь цыган, сума переметная — копия нас — с котомкой на палке и связками сушек на шее заместо монист — топчет саван родимых пространств, и пусть держится кандибобером, в очах его прочитаем, что положение швах, что брести далеко и всегда, пусть порой и не лично нам, а подохнем — настанет других черед, и поблажек особенных не предвидится».

Но за окном, конечно, не Россия — скорее русская литература, от Поучения Д. Заточника до Повести о семи градоначальницах. Авторский взгляд расположен в полосе отчуждения, автор эмигрировал, но не из пункта А в пункт В, а в общем смысле, он из тех, кому только «в дороге хорошо». И мотало на стрелках.

Палисандр Дальберг вообще уехал за пределы истории, под канонады флотских баталий в походной ванне. Сексуальная одиссея сироты-профессионала внешне пародирует «эмиграцию с миссией», фиктивное бремя русского изгнанника. Но полоса отчуждения, в которой он движется со своими

купальными принадлежностями, проходит по краям не пространства, а времени. Кардинальный хранитель настоящего времени повесился на стрелках часов Спасской башни, и время, естественно, остановилось.

Розыск персонажей «Школы» здесь продолжать бессмысленно — разве что простывший след Веты-Орины в супруге генсека и многих других похотливых бабушках. Всем щедро даны имена и предусмотрены исторические прототипы. Трудно даже придумать прототип, который не предстал бы в «Палисандрии», хотя бы эпизодически, в полуфразе. Это и кремлевский коллектив, дядя Юра Андропов с тетей Катей Фурцевой, и зарубежное руководство с Хуан-Карлосом и Жискар д'Эстеном, писатели Сэмюэль Беккет и Берды Кербабаев, художники Ламбруско и Кампари — ну и конечно же Зигмунд Фрейд с Карлом-Густавом Юнгом (но фальшивым). Если Белинский называл «Онегина» «энциклопедией русской жизни», то тут перед нами — просто энциклопедия жизни. Правда, все, что мы из нее об этой жизни узнаем, — либо заведомая ложь, либо факты, изувеченные до неузнаваемости. Время завершено и остановлено, нам представляют список персонала и опись событий, которые уже некому сверять с подлинником. Подлинников в мире Палисандра не бывает. «Мы живем в восхитительные века», говорит один из множества неутомимых болтунов этого посттемпорального чистилища. «Непрестанно ведутся поиски утраченного времени, ищутся и находятся новые манускрипты, скрижали, бесценные факты отшумевших эпох!» Что за вред, если их здесь несколько больше, чем на самом деле?

Обилие «настоящих» имен навлекает подозрение в нарочитой сенсационности в сугубо рыночных целях, но реальной сенсационности тут не больше, чем в ежедневном урожае газетных карикатур, а пожалуй, и меньше, поскольку меньше правдоподобия. С другой стороны, кажется очевидным, что обойтись без «настоящих» было нельзя, потому что иначе нельзя закрыть и опломбировать историю — после того, как в «Собаке» уже навешен амбарный замок на литературу. В лучших традициях карикатуры роман смешон, порой до пароксизма, но это уже совершенно ледяной юмор, совсем не тот, что согревал самые горькие страницы предыдущего. Гоголевское «над кем смеетесь» здесь везде адресно и нацелено на все роды занятий поименно, но главная мишень — литературовед, будь то Бахтин, чья всепогодная теория выведена далеко за пределы абсурда, или психоаналитики, которым на каждой странице заброшен десяток удочек. Такая при-

цельность приводит на ум булгаковское сведение счетов, может быть не вполне обязательное.

Раздумья над жанром этого фейерверка немедленно уводят в совершенно разные стороны, и первым вспоминается «Барон Мюнхгаузен». Но если передвинуть «Палисандрию» в контекст англоязычной литературы, станут очевидны совсем другие параллели, в первую очередь с параноидальной утопией Томаса Пинчона «Радуга тяготения» — тот же мировой заговор с контрзаговором, даже стилистические особенности сходны: гейзер сарказма и водевильные куплеты. Но роман Пинчона, при всей его гротескности, выглядит рядом с «Палисандрией» почти реалистическим.

Кроме того, «Палисандрия» искажается, если ее не рассматривать в одном ряду с предыдущими книгами, хотя мою попытку свести их в трилогию трудно считать увенчавшейся. Язык, упомянутый выше и, конечно же, русский, по-прежнему служит полем эксперимента (мемуары покойного жеребца Екатерины II, средний род героя в заключении), и это лишь один из элементов единства: трансформация языка, литературы и самой истории во внешние, конечные объекты.

Мой покойный приятель Саша Сопровский предлагал такую версию добровольного роспуска России: закрыть Московский университет и уехать на телеге в Холмогоры. Что-то в этом роде как раз и предпринял Саша Соколов. О Ломоносове поэт сказал, что он сам был нашим первым университетом — так и подмывает навесить на Соколова титул последнего русского писателя. Можно, по крайней мере, утверждать, что он подвел черту под русским модернизмом. Эта теоретическая эпоха на беду совпала с семидесятилетним прозябанием страны в школе для дураков, и по-настоящему значительных имен до недавних пор было только два: Андрей Белый и Андрей Платонов. Теперь их три, и этот круглый счет приходится считать окончательным.

Что еще можно сказать по эту сторону «Палисандрии»? Эффект большого таланта опустошителен: энергия, которую он употребил один, могла бы десятка два лет питать Литературный институт имени Горького и добрую сотню областных писательских организаций. Тем, кто явился после, приходится вручную собирать хворост, но прежде, чем возгорится пламя из искры, надо долго морщить лбы, вспоминая, как добывают огонь.

И потом, пугает эта неотступная тройственность: три писателя, у последнего три книги? Неужели все? Кому же, как не ему, вывести нас из постигшего недоумения?

Последний раз мы виделись все-таки не в Холмогорах, а неожиданно в Мюнхене. Он снова покинул Россию, отбыл поездом в вагоне с экспортными ахалтекинскими конями, пристроившись к сопровождающей партии. В той России, которая осталась после его триптиха, нашлось место для виртуозов ресторанного вокала, для митинговых витий, для мастеров прикупить на рубль червонцев — но не для него. Он поглядел в телекамеры, ответил на несколько заданных с придыханием вопросов, потоптался и вышел. Ветрогон. Старенький глобус учителя Норвегова, которым стращали прежних дачников с туалетного подоконника, вновь завертелся в обратную сторону.

Невольно вспомнишь: с академиком Акатовым все-таки были обходительнее, вернули дачу, дали пенсию.

Уроки географии, начавшиеся для нас обоих четверть века назад, продолжаются. Уже привыкаешь занимать меньше места, а удобство — в конце концов, дело привычки. Я гостил у него когда-то на севере Вермонта, у прекрасного озера Магог, разбросавшего синие лапы меж окрестных холмов. В ясный день нет милее отдыха, чем чинить на берегу прохудившуюся сеть меридианов.

Алексей Цветков

ШКОЛА
ДЛЯ
ДУРАКОВ

**Слабоумному мальчику Вите Пляскину,
моему приятелю и соседу.**

Автор

Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?

Деяния Святых Апостолов, 13, 9–10

Гнать, держать, бежать, обидеть,
слышать, видеть и вертеть, и дышать,
и ненавидеть, и зависеть и терпеть.

Группа глаголов русского языка, составляющих известное исключение из правил; ритмически организована для удобства запоминания.

То же имя! Тот же облик!

Эдгар По, «Вильям Вильсон»

Глава первая
НИМФЕЯ

Так, но с чего же начать, какими словами? Все равно, начни словами: там, на пристанционном пруду. На *пристанционном*? Но это неверно, стилистическая ошибка, Водокачка непременно бы поправила, пристанционным называют буфет или газетный киоск, но не пруд, пруд может быть *околостанционным*. Ну, назови его околостанционным, разве в этом дело. Хорошо, тогда я так и начну: там, на околостанционном пруду. Минутку, а станция, сама станция, пожалуйста, если не трудно, опиши станцию, какая была станция, какая платформа: деревянная или бетонированная, какие дома стояли рядом, вероятно ты запомнил их цвет, или, возможно, ты знаешь людей, которые жили в тех домах на той станции? Да, я знаю, вернее, знал некоторых людей, которые жили на станции, и могу кое-что рассказать о них, но не теперь, потом, когда-нибудь, а сейчас я опишу станцию. Она обыкновенная: будка стрелочника, кусты, будка для кассы, платформа, кстати, деревянная, скрипучая, дощатая, часто вылезали гвозди и босиком там не следовало ходить. Росли вокруг станции деревья: осины, сосны, то есть — разные деревья, разные. Обычная станция — сама станция, но вот то, что за станцией — то представлялось очень хорошим, необыкновенным: пруд, высокая трава, танцплощадка, роща, дом отдыха и другое. На околостанционном пруду купались обычно вечером, после работы, приезжали на электричках и купались. Нет, но сначала расходились, шли по дачам. Устало, отдуваясь, вытирая лица платками, таща портфели, авоськи, екая селезенкой. Ты не помнишь, что лежало в авоськах? Чай,

сахар, масло, колбаса; свежая, бьющая хвостом рыба; макароны, крупа, лук, полуфабрикаты; реже — соль. Шли по дачам, пили чай на верандах, надевали пижамы, гуляли — руки-за-спину — по садам, заглядывали в пожарные бочки с зацветающей водой, удивлялись множеству лягушек — они прыгали всюду в траве,— играли с детьми и собаками, играли в бадминтон, пили квас из холодильников, смотрели телевизор, говорили с соседями. И если еще не успевало стемнеть, направлялись компаниями на пруд — купаться. А почему они не ходили к реке? Они боялись водоворотов и стрежений, ветра и волн, омутов и глубинных трав. А может быть, реки просто не было? Может быть. Но как же она называлась? Река называлась.

К пруду вели, по сути дела, все тропинки и дорожки, все в нашей местности. От самых дальних дач, расположенных у края леса, вели тонкие, слабые, почти ненастоящие тропинки. Они едва светились вечером, мерцая, в то время как тропинки более значительные, протоптанные издавна и навсегда, дорожки настолько убитые, что не могло быть и речи, чтобы на них проросла хоть какая-нибудь трава,— такие дорожки и тропинки светились ясно, бело и ровно. Это на закате, да, естественно, на закате, только сразу после заката, в сумерках. И вот, вливаясь одна в другую, все тропинки вели в сторону пруда. В конце концов за несколько сот метров до берега они соединялись в одну прекрасную дорогу. И эта дорога шла немного покосами, а потом вступала в березовую рощу. Оглянись и признайся: плохо или хорошо было вечером, в сером свете, въезжать в рощу на велосипеде? Хорошо. Потому что велосипед — это всегда хорошо, в любую погоду, в любом возрасте. Взять, к примеру, коллегу Павлова. Он был физиологом, ставил разные опыты с животными и много катался на велосипеде. В одном школьном учебнике — ты, разумеется, помнишь эту книгу — есть специальная глава о Павлове. Сначала идут картинки, где нарисованы собаки с какими-то специальными физиологическими трубочками, вшитыми в горло,

и объясняется, что собаки привыкли получать пищу по звонку, а когда Павлов не давал им пищу, а только зря звенел — тогда животные волновались и у них шла слюна — прямо удивительно. У Павлова был велосипед, и академик много ездил на нем. Одна поездка тоже показана в учебнике. Павлов там уже старый, но бодрый. Он едет, наблюдает природу, а звонок на руле — как на опытах, точно такой же. Кроме того, у Павлова была длинная седая борода, как у Михеева, который жил, а возможно и теперь живет, в нашем дачном поселке. Михеев и Павлов — они оба любили велосипед, но разница тут вот в чем: Павлов ездил на велосипеде ради удовольствия, отдыхал, а для Михеева велосипед всегда был работой, такая была у него работа: развозить корреспонденцию на велосипеде. О нем, о почтальоне Михееве — а может, его фамилия была, есть и будет Медведев? — нужно говорить особо, ему следует уделить несколько особого времени, и кто-нибудь из нас — ты или я — обязательно это сделает. Впрочем, я думаю, ты лучше знаешь почтальона, поскольку жил на даче куда больше моего, хотя, если спросить соседей, они наверняка скажут, будто вопрос очень сложный и что разобраться тут почти невозможно. Мы, скажут соседи, не очень-то следили за вами — то есть за нами, и что это, мол, вообще за вопрос такой странный, зачем вам вдруг понадобилось выяснять какие-то нелепые вещи, не все ли равно, кто сколько жил, просто несерьезно, мол, займитесь-ка лучше делом: у вас в саду май, а деревья по-видимому совсем не окопаны, а яблочки небось кушать нравится, даже ветрогон Норвегов,— заметят,— и тот с утра в палисаднике копается. Да, копается, ответим мы — кто-нибудь из нас — или мы скажем хором: да, копается. У наставника Норвегова есть на это время, есть желание. К тому же у него — сад, дом, а у нас — у нас-то ничего подобного уже нет — ни времени, ни сада, ни дома. Вы просто забыли, мы вообще давно, лет наверное девять, не живем здесь в поселке. Мы ведь продали дачу — взяли и продали. Я подозреваю, что ты, как человек более разговорчивый, общительный, захочешь что-нибудь

добавить, пустишься в пересуды, начнешь объяснять, почему продали и почему, с твоей точки зрения, можно было не продавать, и не то что можно, а нужно было не продавать. Но лучше уйдем от них, уедем на первой же электричке, я не желаю слышать их голоса.

Наш отец продал дачу, когда вышел на пенсию, хотя пенсия оказалась такая большая, что дачный почтальон Михеев, который всю жизнь мечтает о хорошем новом велосипеде, но все не может накопить достаточно денег, потому что человек он не то чтобы щедрый, а просто небережливый, значит, Михеев, когда узнал от одного нашего соседа, товарища прокурора, какую пенсию станет получать наш отец, то едва не упал с велосипеда. Почтальон спокойно проезжал вдоль забора, за которым находилась дача соседа,— кстати, ты не помнишь его фамилию? Нет, так сразу не вспомнишь: плохая память на имена, да и что толку помнить все эти имена, фамилии — правда? Конечно, но если бы мы знали фамилию, то было бы удобнее рассказывать. Но можно придумать условную фамилию, они — как ни крути — все условные, даже если настоящие. Но с другой стороны, если назвать его условной фамилией, подумают, будто мы что-то тут сочиняем, пытаемся кого-то обмануть, ввести в заблуждение, а нам скрывать совершенно нечего, речь идет о человеке-соседе, о соседе, которого все в поселке знают, и знают, что он работает товарищем прокурора, и дача у него обычная, не очень-то шикарная, и зря, пожалуй, болтали, будто дом у него из ворованного кирпича — как ты считаешь? А? о чем ты? Ты что — не слушаешь меня? Нет, слушаю, просто я сейчас подумал, что в тех склянках было наверное пиво. В каких склянках? В тех больших, у соседа в сарае, в них было обыкновенное пиво — как думаешь? Я не знаю, не помню, я давно не думал о том времени. И в тот момент, когда мимо соседского дома проезжал Михеев, хозяин стоял на пороге сарая и рассматривал на свет склянку с пивом. Велосипед Михеева сильно дребезжал, подпрыгивая на выступающих

из-под земли сосновых корнях, и сосед не мог не услышать и не узнать михеевского велосипеда. А услышав и узнав, быстро подошел к забору, чтобы спросить, нету ли писем, а вместо этого — неожиданно для самого себя — сообщил почтальону: прокурора-то,— сказал товарищ прокурора,— слышал? на пенсию ушли. Улыбаясь. Сколько дали? — отозвался Михеев, не останавливаясь, но лишь слегка тормозя,— сколько денег? Он оглянулся в движении своем, и сосед увидел, что загорелое лицо почтальона ничего не выражает. Почтальон, как всегда, выглядел спокойным, только борода его с прилипшими к ней хвойными иглами развевалась по ветру: по ветру, рожденному скоростью, по скоростному велосипедному ветру, и соседу — будь он хоть немного поэтом — непременно показалось бы, что лицо Михеева, овеянное всеми дачными сквозняками, как бы само излучает ветер, и что Михеев и есть тот самый, кого в поселке знали под именем Насылающий Ветер. Точнее сказать, не знали. Никто даже не видел этого человека, его, возможно, и не существовало вовсе. Но вечерами, после купания в пруду, дачники сходились на застекленных верандах, рассаживались в плетеных креслах и рассказывали друг другу разные истории, и одной из них была легенда о Насылающем. Одни утверждали, будто он молод и мудр, другие — будто стар и глуп, третьи настаивали на том, что он средних лет, но неразвит и необразован, четвертые — что стар и умен. Находились и пятые, заявлявшие, что Насылающий молод и дряхл, дурак — но гениален. Говорили, будто он появляется в один из самых солнечных и теплых дней лета, едет на велосипеде, свистит в ореховый свисток и только и делает, что насылает ветер на ту местность, по которой едет. Имелось в виду, что Насылающий насылает ветер только на ту местность, где слишком уж много дач и дачников. Да-да, а там и была как раз такая местность. Если не ошибаюсь, в районе станции три или четыре дачных поселка. А как называлась станция? — я никак не могу рассмотреть издали. Станция называлась.

*

Это пятая зона, стоимость билета тридцать пять копеек, поезд идет час двадцать, северная ветка, ветка акации или, скажем, сирени цветет белыми цветами, пахнет креозотом, пылью тамбура, куревом, маячит вдоль полосы отчуждения, вечером на цыпочках возвращается в сад и вслушивается в движение электрических поездов, вздрагивает от шорохов, потом цветы закрываются и спят, уступая настояниям заботливой птицы по имени Найтингейл; ветка спит, но поезда, симметрично расположенные на ней, воспаленно бегут в темноте цепочками, окликая по имени каждый цветок, обрекая бессоннице желчных станционных старух, безногих и ослепленных войной вагонных гармонистов, сизых путевых обходчиков в оранжевых безрукавках, умных профессоров и безумных поэтов, дачных изгоев и неудачников — удильщиков ранней и поздней рыбы, путающихся в пружинистых сплетениях прозрачной лесы, а также пожилых бакенщиков-островитян, чьи лица, качающиеся над медно-гудящими черными водами фарватера, попеременно бледны или алы, и наконец служащих лодочных пристаней, кому мерещится звон отвязанной лодочной цепи, плеск весел, шорох паруса, и они, набросив на плечи гоголевские шинели без пуговиц, выходят из сторожек и шагают по береговым фарфоровым пескам, по дюнам, по травянистым откосам; тихие слабые тени служащих ложатся на камыши, на вереск, а самодельные трубки их светятся подобно кленовым гнилушкам, приманивая удивленных ночных бабочек; но ветка спит, сомкнув лепестки цветов, и поезда, спотыкаясь на стыках, ни за что не разбудят ее и не стряхнут ни капли росы — спи спи пропахшая креозотом ветка утром проснись и цвети потом отцветай сыпь лепестками в глаза семафорам и пританцовывая в такт своему деревянному сердцу смейся на станциях продавайся проезжим и отъезжающим плачь и кричи обнажаясь в зеркальных купе как твое имя меня называют Веткой я Ветка акации я Ветка железной дороги я Вета беременная от ласковой птицы по имени Найтингейл я беременна будущим летом и крушением товарняка вот берите меня берите я все равно

отцветаю это совсем недорого я на станции стою не больше рубля я продаюсь по билетам а хотите езжайте так бесплатно ревизора не будет он болен погодите я сама расстегну видите я вся белоснежна ну осыпьте меня совсем осыпьте же поцелуями никто не заметит лепестки на белом не видны а мне уж все надоело иногда я кажусь себе просто старухой которая всю жизнь идет по раскаленному паровозному шлаку по насыпи она вся старая страшная я не хочу быть старухой милый нет не хочу я знаю я скоро умру на рельсах я я мне больно мне будет больно отпустите когда умру отпустите эти колеса в мазуте ваши ладони в чем ваши ладони разве это перчатки я сказала неправду я Вета чистая белая ветка цвету не имеете права я обитаю в садах не кричите я не кричу это кричит встречный тра та та в чем дело тра та та что тра кто там та где там там там Вета ветла ветлы ветка там за окном в доме том тра та том о ком о чем о Ветке ветлы о ветре тарарам трамваи т р а м в а и аи вечер добрый билеты би леты чего нет Леты реки Леты ее нету вам аи цвета ц Вета ц Альфа Вета Гамма и так далее чего никто не знает потому что никто не хотел учить нас греческому было непростительной ошибкой с их стороны это из-за них мы не можем перечислить толком ни одного корабля а бегущий Гермес цветку подобен но мы почти не понимаем этого того сего Горн мыс труби головы а барабан естественно бей тра та та вопрос это кондуктор ответ нет констриктор что вы там кричите вам плохо вам показалось мне хорошо это встречный простите теперь я точно знаю что это был встречный а то знаете задремал и слышу вдруг не то поет кто-то не то не та не то не та не то не та нетто брутто Италия итальянский человек Данте человек Бруно человек Леонардо художник архитектор энтомолог е с л и х о ч е ш ь у в и д е т ь л е т а н и е ч е т ы р ь м я к р ы л ь я м и с т у п а й в о р в ы М и л а н с к о й к р е п о с т и и у в и д и ш ь ч е р н ы х с т р е к о з билет до Милана даже два мне и Михееву Медведеву хочу стрекоз летание в ветлах на реках во рвах некошеных вдоль главного рельсового пути созвездия Веты в гущах вереска где Тинберген сам родом

из Голландии женился на коллеге и вскоре им стало ясно что аммофила находит путь домой вовсе не так как филантус а тамбурин конечно же бей кто в тамбуре там та там та там там простая веселая песенка исполняется на тростниковой дурочке на Веточке железной дороги тра та та тра та та вышла кошка за кота за кота Тинбергена приплясывая кошмар ведьма она живет с экскаваторщиком вечно не дает спать в шесть утра поет на кухне готовит ему пищу в котлах горят костры горючие кипят котлы кипучие нужно дать ей какое-то имя если кот Тинберген она будет ведьма Тинберген пляшет в прихожей с самого утра и не дает спать поет про кота и наверное очень кривляется. А почему — наверное? разве ты не видел, как она пляшет. Нет, мне кажется я вообще не видел ее никогда. Я живу в одной с ней квартире уже много лет, но дело в том, что ведьма Тинберген — это совсем не та старая женщина, которая здесь прописана и которую я вижу по утрам и вечерам на кухне. Та старая женщина — другая, ее фамилия Трахтенберг, Шейна Соломоновна Трахтенберг, еврейка, на пенсии, она одинокая пенсионерка, и всякое утро я говорю ей: доброе утро, а вечером: добрый вечер, она отвечает, она очень полная женщина, у нее рыжие с сединой волосы, кудри, ей лет шестьдесят пять, мы почти не разговариваем с ней, нам просто не о чем разговаривать, но время от времени, примерно раз в два месяца, она просит у меня патефон и прокручивает на нем одну и ту же пластинку. Больше она ничего не слушает, у нее нет больше ни одной пластинки. А что за пластинка? Я сейчас расскажу. Предположим, я возвращаюсь домой. Откуда-то. Должен заметить, я заранее знаю, когда Трахтенберг станет просить патефон, я за несколько дней предвижу, что вот скоро, уже совсем скоро она скажет: слушайте, радость моя, сделайте мне удовольствие, что там у вас с патефоном? Я поднимаюсь по лестнице и чувствую: Трахтенберг уже стоит там, за дверью, в прихожей, ожидая меня. Я смело вхожу. Смело. Я вхожу. Добрый вечер. Смело. Вечер добрый, радость моя, сделайте мне удовольствие. Я достаю патефон со шкафа. Довоенный патефон, купленный

тогда-то и там-то. Кем-то. У него красный ящик, он всегда в пыли, потому что я хоть и вытираю пыль в комнате, как учила меня наша добрая терпеливая мать, до патефона руки никогда не доходят. Сам я давно не завожу его. Во-первых, у меня нет пластинок, а во-вторых, патефон не работает, испорчен, пружина давно лопнула и диск не вращается, поверь мне. Шейна Соломоновна,— говорю я,— патефон не работает, вы же знаете. Не важно,— отвечает Трахтенберг,— мне только одну пластиночку. Ах, только одну,— говорю я. Дадада,— улыбается Шейна, зубы у нее в основном золотые, носит очки в черепаховой оправе, лицо пудрит,— одну пластиночку. Она берет патефон, уносит к себе в комнату и запирается на задвижку. А минут через десять я слышу голос Якова Эммануиловича. Но ты не сказал, кто это — Яков Эммануилович. А разве ты не помнишь его? Он был ее муж, он умер, когда нам с тобой было лет десять, и мы жили с родителями в той комнате, где теперь живу один я, или живешь один ты, короче — кто-то из нас. А все же — кто именно? Какая разница! Я рассказываю тебе такую интересную историю, а ты опять начинаешь приставать ко мне, я ведь не пристаю к тебе, по-моему мы раз и навсегда договорились, что между нами нет никакой разницы, или ты снова хочешь т у д а? Извини, впредь я постараюсь не причинять тебе неприятностей, понимаешь, у меня не все хорошо с памятью. А думаешь, у меня хорошо? Ну извини, пожалуйста, извини, я не хотел огорчать тебя. Так вот, Яков умер от лекарства, он чем-то отравился. Шейна очень мучила его, требовала каких-то денег, она полагала, что муж скрывает от нее несколько тысяч, а он был обыкновенный аптекарь, провизор, и я уверен, что у него не было ни гроша. Я думаю, Шейна просто издевалась над ним, требуя денег. Она была моложе Якова лет на пятнадцать и, как говорили во дворе на скамейках, изменяла ему с управляющим домами Сорокиным, у которого была одна рука, и который потом, год спустя после смерти Якова, повесился в пустом гараже. За неделю до этого он продал немецкую трофейную машину, которую привез из Германии.

Если помнишь, на скамейках любили поговорить о том, зачем Сорокину машина, он все равно не может водить, не станет же он шофера нанимать. А потом все выяснилось. Когда Яков уезжал в командировку или по суткам дежурил в аптеке, Сорокин уводил Шейну в гараж, и там, в машине, она и изменяла Якову. Вот благо-то, говорили на скамейках, вот благо-то — собственная машина, мол, даже и ездить, оказывается, не обязательно на ней: явился в гараж, заперся изнутри, фары включил, сиденья откинул — и пожалуйста, развлекайся на здоровье. Ну и Сорокин, говорили во дворе, даром что безрукий. Опиши наш двор, как он выглядел тогда, столько-то лет назад. Я бы сказал, то была скорее свалка, чем двор. Росли чахлые деревья липы, стояли два или три гаража, а за гаражами — горы битого кирпича и вообще всякого мусора. Но главное — там валялись старые газовые плиты, сотни три или четыре, их свезли к нам во двор из всех соседних домов сразу после войны. Из-за этих газовых плит у нас во дворе всегда пахло кухней. Когда мы открывали им духовки, дверки духовок, они ужасно скрипели. А зачем мы открывали дверки, зачем? Мне странно, что ты не понимаешь этого. Мы открывали дверки, ч т о б ы тут же с размаху захлопывать их. Но не возвратиться ли нам к людям, которые жили в нашем дворе, мы знали многих. Нет-нет, с ними так скучно, я хотел бы поговорить теперь о другом. Видишь ли, у нас вообще что-то не так со временем, мы неверно понимаем время. Ты не забыл, как однажды, много лет назад, мы повстречали на станции нашего учителя Норвегова? Нет, не забыл, мы встретили его на станции. Он сказал, что покинул час назад берега водоема, где производил ужение на мотыля. У него и правда была с собою удочка и ведро, и я успел заметить, что в ведре плавали какие-то животные, но только не рыбы. Наш географ Норвегов построил дачу тоже в районе той станции, только за рекой, и нередко мы навещали его. Но что еще сказал нам в тот день учитель? Географ Норвегов сказал нам примерно следующее: молодой человек, вы, должно быть, заметили, какая прекрасная погода удерживается в на-

шей местности вот уже много дней кряду; не считаете ли вы, что наши уважаемые дачники не заслуживают подобной роскоши? не кажется ли вам, мой юный товарищ, что пора бы уже, как говорится, грянуть буре, грозе? Норвегов посмотрел в небо, рукой глаза свои заслонив от солнца. И ведь грянет, милый вы мой, да еще как грянет — полетят клочки по закоулочкам! И не когда-нибудь, а не сегодня-завтра. Кстати, вы-то задумываетесь над этим, вы в это верите?

Павел Петрович стоял посреди платформы, станционные часы показывали два часа пятнадцать минут, на нем была его обычная светлая шляпа, вся в небольших дырочках, будто изъеденная молью или многократно пробитая ревизорским компостером, а на самом деле дырочки были пробиты на фабрике, чтобы у покупателя, а в данном случае у Павла Петровича, в жаркие времена года не потела голова. А кроме того, думали на фабрике, темные дырочки на светлом фоне — это все-таки что-нибудь да значит, чего-нибудь да стоит, это лучше, чем ничего, то есть лучше с дырочками, чем без них, решили на фабрике. Хорошо, но что еще носил наш учитель в то лето, да и вообще в лучшие месяцы тех незабываемых лет, когда мы жили с ним на одной станции, причем его дача находилась в поселке за рекой, а наша — в одном из тех поселков, которые были на том же берегу, что и станция? Довольно трудно ответить на этот вопрос, я не припомню в точности, что носил Павел Петрович. Проще сказать, чего он не носил. Норвегов никогда не носил обуви. Во всяком случае летом. И в тот жаркий день на платформе, на старой деревянной платформе, он легко мог бы занозить себе ногу, или сразу обе. Да, это могло произойти с каждым, но только не с нашим учителем, понимаешь, он был такой небольшой, хрупкий, и когда ты видел его бегущим по дачной тропинке или по школьному коридору, тебе казалось, будто его босые ноги совсем не касаются земли, пола, а когда он стоял в тот день посреди деревянной платформы, казалось, он не стоит вовсе, но как бы висит над ней, над ее щербатыми досками,

над всеми ее окурками, отгоревшими спичками, тщательно обсосанными палочками от эскимо, использованными билетами и высохшими, а потому невидимыми, пассажирскими плевками разных достоинств. Позволь мне перебить тебя, возможно я что-то не так понял. Разве Павел Петрович ходил босиком даже в школу? Нет, я очевидно оговорился, я хотел сказать, что он ходил босиком на даче, но, может быть, он не надевал обуви и в городе, когда шел на работу, а мы и не замечали. А может и замечали, но это не слишком бросалось в глаза. Да, почему-то не слишком, в таких случаях многое зависит от самого человека, а не от тех, кто на него смотрит, да, я вспоминаю, не слишком. Но как бы там ни было в школьные сезоны, ты определенно знаешь, что уж летом-то Норвегов ходил без обуви. Вот именно. Как заметил однажды наш отец, лежа в гамаке с газетой в руках, на кой хрен сдалась Павлу обувь, да еще в такую жару! Это только мы, бедолаги казенные,— продолжал отец,— все никак отдохнуть ногам не даем: не сапоги так галоши, не галоши так сапоги — так и мучаешься весь век. Дождь на улице — суши, значит, ботинки, солнце — смотри, значит, чтоб не потрескались. А главное — всякий день с утра возишься с гуталином. А Павел — человек вольный, мечтательный, он и умирать-то на босу ногу станет. Бездельник он, твой Павел,— сказал нам отец,— потому и босяк. Все деньги, небось, на дачу извел, в долгах сплошь, а все туда же — рыбу ловить, на берегу прохлаждаться, тоже мне — дачник фиговый. У него и дом-то нашего сарая плоше, а он еще и флюгер на крышу поставил, подумать только — флюгер! Я его, дурака, спрашиваю: зачем, мол, флюгер-то, трещит только напрасно. А он мне оттуда, с крыши: да мало ли, гражданин прокурор, что случиться может, например, говорит, ветер дует-дует в одну сторону да и переменится вдруг. Вам-то, говорит, хорошо, вы, смотрю, все газеты читаете, там, конечно, про это пишут, про погоду то есть, а я, знаете, не выписываю ничего, так что для меня флюгер — вещь абсолютно необходимая. Вы-то, говорит, из газет сразу узнаете, если что не так, а я по флюгеру ориенти-

роваться буду, куда уж точнее, точнее и быть не может,— рассказывал наш отец, лежа в гамаке с газетой в руках. Потом отец вылез из гамака, пошагал — руки-за-спину — среди сосен, переполненных горячей смолой и земляными соками, сорвал на грядке и съел несколько клубник, посмотрел на небо, где в тот момент не оказалось ни облаков, ни самолетов, ни птиц, зевнул, помотал головой и сказал, имея в виду Норвегова: ну, пусть Бога благодарит, что не я его директор, попрыгал бы он у меня, поизучал бы он у меня ветер кое-где, балбес малохольный, босяк, флюгер несчастный. Бедняга географ, наш отец не испытывал к нему ни малейшего уважения, вот что значит не носить обуви. Правда, к тому времени, когда мы встретились с Норвеговым на платформе, ему, Павлу Петровичу, было, по всей видимости, уже безразлично, уважает его наш отец или не уважает, поскольку к тому времени его, нашего наставника, не существовало, он умер весной такого-то, то есть за два с лишним года до нашей с ним встречи на этой самой платформе. Вот я и говорю, у нас что-то не так со временем, давай разберемся. Он долго болел, у него была тяжелая продолжительная болезнь, и он прекрасно знал, что скоро умрет, но не подавал виду. Он оставался самым веселым, а точнее — единственным веселым человеком в школе, и без конца шутил. Он говорил, что ощущает себя настолько худым, что боится, как бы его не унес какой-нибудь случайный ветер. Врачи,— смеялся Норвегов,— запретили мне подходить к ветряным мельницам ближе, чем на километр, но запретный плод сладок: меня ужасно к ним тянет, они совсем рядом с моим домом, на полынных холмах, и когда-нибудь я не выдержу. В дачном поселке, где я живу, меня называют ветрогоном и флюгером, но скажите, разве так уж плохо слыть ветрогоном, особенно если ты — географ. Географ даже обязан быть ветрогоном, это его специальность,— как вы считаете, мои молодые друзья? Не поддаваться унынию,— задорно кричал он, размахивая руками,— не так ли, жить на полной велосипедной скорости, загорать и купаться, ловить бабочек и стрекоз, самых разноцветных, особенно

тех великолепных траурниц и желтушек, каких так много у меня на даче! Что же еще,— спрашивал учитель, похлопывая себя по карманам, чтобы найти спички, папиросы и закурить,— что же еще? Знайте, други, на свете счастья нет, ничего подобного, ничего похожего, но зато — Господи! — есть же в конце концов покой и воля. Современный географ, как впрочем и монтер, и водопроводчик, и генерал, живет всего однажды. Так живите по ветру, молодежь, побольше комплиментов дамам, больше музыки, улыбок, лодочных прогулок, домов отдыха, рыцарских турниров, дуэлей, шахматных матчей, дыхательных упражнений и прочей чепухи. А если вас когда-нибудь назовут ветрогоном,— говорил Норвегов, гремя на всю школу найденным коробком спичек,— не обижайтесь: это не так уж плохо. Ибо чего убоюсь перед лицом вечности, если сегодня ветер шевелит мои волосы, освежает лицо, задувает за ворот рубашки, продувает карманы и рвет пуговицы пиджака, а завтра — ломает ненужные ветхие постройки, вырывает с корнем дубы, возмущает и вздувает водоемы и разносит семена моего сада по всему свету,— убоюсь ли чего я, географ Павел Норвегов, честный загорелый человек из пятой пригородной зоны, скромный, но знающий дело педагог, чья худая, но все еще царственная рука с утра до вечера вращает пустопорожнюю планету, сотворенную из обманного папье-маше! Дайте мне время — я докажу вам, кто из нас прав, я когда-нибудь так крутану ваш скрипучий ленивый эллипсоид, что реки ваши потекут вспять, вы забудете ваши фальшивые книжки и газетенки, вас будет тошнить от собственных голосов, фамилий и званий, вы разучитесь читать и писать, вам захочется лепетать, подобно августовской осинке. Гневный сквозняк сдует названия ваших улиц и закоулков и надоевшие вывески, вам захочется правды. Завшивевшее тараканье племя! Безмозглое панургово стадо, обделанное мухами и клопами! Великой правды захочется вам. И тогда приду я. Я приду и приведу с собой убиенных и униженных вами и скажу: вот вам ваша правда и возмездие вам. И от ужаса и печали в лед обратится ваш рабский гной,

текущий у вас в жилах вместо крови. Бойтесь Насылающего Ветер, господа городов и дач, страшитесь бризов и сквозняков, они порождают ураганы и смерчи. Это говорю вам я, географ пятой пригородной зоны, человек, вращающий пустотелый картонный шар. И говоря это, я беру в свидетели вечность — не так ли, мои юные помощники, мои милые современники и коллеги,— не так ли?

Он умер весной такого-то в своем домике с флюгером. В тот день мы должны были сдавать последний экзамен за такой-то класс, как раз его экзамен, географию. Норвегов обещал подъехать к девяти, мы собрались в коридоре и ждали учителя до одиннадцати, но он все не приходил. Директор школы Перилло сказал, что экзамен переносится на завтра, поскольку Норвегов, по-видимому, заболел. Мы решили навестить его, но никто из нас не знал городской адрес наставника, и мы спустились в учительскую к завучу Тинберген, которая тайком живет в нашей квартире и пляшет по утрам в прихожей, но которую ни ты, ни я ни разу не видели, ибо стоит только смело распахнуть дверь из комнаты в прихожую, как оказываешься — распахнуть смело! — во рву Миланской крепости и наблюдаешь летание на четырех крыльях. День чрезвычайно солнечный, причем Леонардо в старом неглаженом хитоне стоит у кульмана с рейсфедером в одной руке и с баночкой красной туши — в другой, и наносит на ватманский лист кое-какие чертежи, срисовывает побеги осоки, которой сплошь поросло илистое и сырое дно рва (осока доходит Леонардо до пояса), делает один за другим наброски баллистических приборов, а когда немного устает, то берет белый энтомологический сачок и ловит черных стрекоз, чтобы подробно изучить строение их глазной сетчатки. Художник смотрит на тебя хмуро, он как будто всегда чем-то недоволен. Ты хочешь покинуть ров, вернуться назад, в комнату, ты уже поворачиваешься и пытаешься отыскать в отвесной стене рва дверь, обитую дерматином, но мастер успевает удержать тебя за руку и, глядя тебе в глаза, говорит: домашнее

задание: опиши челюсть крокодила, язык колибри, колокольню Новодевичьего монастыря, опиши стебель черемухи, излучину Леты, хвост любой поселковой собаки, ночь любви, миражи над горячим асфальтом, ясный полдень в Березове, лицо вертопраха, адские кущи, сравни колонию термитов с лесным муравейником, грустную судьбу листьев — с серенадой венецианского гондольера, а цикаду обрати в бабочку; преврати дождь в град, день — в ночь, хлеб наш насущный дай нам днесь, гласный звук сделай шипящим, предотврати крушение поезда, машинист которого спит, повтори тринадцатый подвиг Геракла, дай закурить прохожему, объясни юность и старость, спой мне песню, как синица за водой поутру шла, обрати лицо свое на север, к новгородским высоким дворам, а потом расскажи, как узнает дворник, что на улице идет снег, если дворник целый день сидит в вестибюле, беседует с лифтером и не смотрит в окно, потому что окна нет, да, расскажи, как именно; а кроме того, посади у себя в саду белую розу ветров, покажи учителю Павлу, и если она понравится ему — подари учителю Павлу белую розу, приколи цветок ему на ковбойку или на дачную шляпу, сделай приятное ушедшему в никуда человеку, порадуй своего старого педагога — весельчака, балагура и ветрогона. О Роза, скажет учитель, белая Роза Ветрова, милая девушка, могильный цвет, как хочу я нетронутого тела твоего! В одну из ночей смущенного своею красотой лета жду тебя в домике с флюгером, за синей рекой, адрес: дачная местность, пятая зона, найти почтальона Михеева, спросить Павла Норвегова, звонить многократно велосипедным звонком, ждать лодку с туманного берега, жечь сигнальный костер, не унывать. Лежа над крутым песчаным обрывом в стоге сена, считать звезды и плакать от счастья и ожидания, вспоминать детство, похожее на можжевеловый куст в светлячках, на елку, увешанную немыслимой чепухой, и думать о том, что совершится под утро, когда минует станцию первая электричка, когда проснутся с похмельными головами люди заводов и фабрик и, отплевываясь и проклиная детали машин и механизмов, нетрезво

зашагают мимо околостанционных прудов к пристанционным пивным ларькам — зеленым и синим. Да, Роза, да, скажет учитель Павел, то, что случится с нами в ту ночь, будет похоже на пламя, пожирающее ледяную пустыню, на звездопад, отраженный в осколке зеркала, которое вдруг выпало во тьме из оправы, дабы предупредить владельца о близкой смерти. Это будет похоже на свирель пастуха и на музыку, что еще не написана. Приди ко мне, Роза Ветрова, неужели тебе не дорог твой старый учитель, шагающий по долинам небытия и по взгорьям страданий. Приди, чтобы унять трепет чресел твоих и утолить печали мои. И если наставник Павел скажет так,— говорит тебе Леонардо,— то известишь меня об этом в ту же ночь, и я докажу всем на свете, что во времени ничто находится в прошлом и будущем и ничего не имеет от настоящего, и в природе сближает с невозможным, отчего, по сказанному, не имеет существования, поскольку там, где было бы ничто, должна была бы налицо быть пустота, но тем не менее,— продолжает художник,— при помощи мельниц произведу я ветер в любое время. А тебе последнее задание: этот прибор, похожий на гигантскую черную стрекозу,— видишь? он стоит на пологом травянистом холме — испытаешь завтра над озером и наденешь в виде пояса длинный мех, чтобы при падении не утонул ты. И тогда ты отвечаешь художнику: дорогой Леонардо, боюсь, я не смогу выполнить ваших интересных заданий, разве что задание, связанное с узнаванием дворником того факта, что на улице идет снег. На этот вопрос я могу ответить любой экзаменационной комиссии в любое время столь же легко, сколь вы можете произвести ветер. Но мне, в отличие от вас, не понадобится ни одной мельницы. Если дворник с утра до вечера сидит в вестибюле и беседует с лифтером, а окна в вестибюле йок, что по-татарски значит нет, то дворник узнает, что на улице, а точнее сказать — над улицей, или на улицу, идет снег, по снежинкам на шапках и воротниках,

которые спешно входят с улицы в вестибюль, торопясь на встречу с начальством. Они, несущие на одежде своей снежинки, делятся обычно на два типа: хорошо одетые и плохо, но справедливость торжествует — снег делится на всех поровну. Я заметил это, когда работал дворником в Министерстве Тревог. Я получал всего шестьдесят рублей в месяц, зато прекрасно изучил такие хорошие явления, как снегопад, листопад, дождепад и даже градобой, чего не может, конечно же, сказать о себе никто из министров или их помощников, хотя все они и получали в несколько раз больше моего. Вот я и делаю простой вывод: если ты министр, ты не можешь как следует узнать и понять, что делается на улице и в небе, поскольку, хоть у тебя и есть в кабинете окно, ты не имеешь времени посмотреть в него: у тебя слишком много приемов, встреч и телефонных звонков. И если дворник легко может узнать о снегопаде по снежинкам на шапках посетителей, то ты, министр, не можешь, ибо посетители оставляют верхнюю одежду в гардеробе, а если и не оставляют, то пока они дожидаются лифта и едут в нем, снежинки успевают растаять. Вот почему тебе, министру, кажется, будто на дворе всегда лето, а это не так. Поэтому, если ты хочешь быть умным министром, спроси о погоде у дворника, позвони ему по телефону в вестибюль. Когда я служил дворником в Министерстве Тревог, я подолгу сидел в вестибюле и беседовал с лифтером, а Министр Тревог, зная меня как честного, исполнительного сотрудника, время от времени позванивал мне и спрашивал: это дворник такой-то? Да, отвечал я, такой-то, работаю у вас с такого-то года. А это Министр Тревог такой-то, говорил он, работаю на пятом этаже, кабинет номер три, третий направо по коридору, у меня к вам дело, зайдите на пару минут, если не заняты, очень нужно, поговорим о погоде.

Да, кстати, мало того, что я служил с ним в одном министерстве, мы еще были, а возможно являемся и сейчас, соседями по даче, то есть по дачному поселку, дача Министра наискосок от нашей. Я из осторож-

ности употребил здесь два слова: были и являемся, что означает есть, поскольку — хотя врачи утверждают, будто я давно выздоровел — до сих пор не могу с точностью и определенно судить ни о чем таком, что хоть в малейшей степени связано с понятием время. Мне представляется, у нас с ним, со временем, какая-то неразбериха, путаница, все не столь хорошо, как могло бы быть. Наши календари слишком условны, и цифры, которые там написаны, ничего не означают и ничем не обеспечены, подобно фальшивым деньгам. Почему, например, принято думать, будто за первым января следует второе, а не сразу двадцать восьмое. Да и могут ли вообще дни следовать друг за другом, это какая-то поэтическая ерунда — череда дней. Никакой череды нет, дни приходят когда какому вздумается, а бывает, что и несколько сразу. А бывает, что день долго не приходит. Тогда живешь в пустоте, ничего не понимаешь и сильно болеешь. И другие тоже, тоже болеют, но молчат. Еще я хотел бы сказать, что у каждого человека есть свой особый, не похожий ни на чей, календарь жизни. Дорогой Леонардо, если бы вы попросили меня составить календарь м о е й жизни, я принес бы листочек бумаги со множеством точек: весь листок был бы в точках, одни точки, и каждая точка означала бы день. Тысячи дней — тысячи точек. Но не спрашивайте меня, какой день соответствует той или иной точке: я ничего про это не знаю. Не спрашивайте также, на какой год, месяц или век жизни составил я свой календарь, ибо я не знаю, что означают упомянутые слова, и вы сам, произнося их, тоже не знаете этого, как не знаете и такого определения времени, в истинности которого я бы не усомнился. Смиритесь! ни вы, ни я и никто из наших приятелей не можем объяснить, что мы разумеем, рассуждая о времени, спрягая глагол е с т ь и разлагая жизнь на вчера, сегодня и завтра, будто эти слова отличаются друг от друга по смыслу, будто не сказано: завтра — это лишь другое имя сегодня, будто нам дано осознать хоть малую долю того, что происходит с нами здесь, в замкнутом пространстве необъяснимой песчинки, будто все, что здесь происходит, есть,

является, существует — действительно, на самом деле есть, является, существует. Дорогой Леонардо, недавно (сию минуту, в скором времени) я плыл (плыву, буду плыть) на весельной лодке по большой реке. До этого (после этого) я много раз бывал (буду бывать) там и хорошо знаком с окрестностями. Была (есть, будет) очень хорошая погода, а река — тихая и широкая, а на берегу, на одном из берегов, куковала кукушка (кукует, будет куковать), и она, когда я бросил (брошу) весла, чтобы отдохнуть, напела (напоет) мне много лет жизни. Но это было (есть, будет) глупо с ее стороны, потому что я был совершенно уверен (уверен, буду уверен), что умру очень скоро, если уже не умер. Но кукушка не знала об этом, и, надо полагать, моя жизнь интересовала ее в гораздо меньшей степени, чем ее жизнь — меня. Итак, я бросил весла и, считая якобы свои годы, задал себе несколько вопросов: как называется эта влекущая меня к дельте река, кто есть я, влекомый, сколько мне лет, как мое имя, какой день нынче и какого, в сущности, года, а также: лодка, вот лодка, обычная лодка — но чья? и отчего именно лодка? Уважаемый мастер, то были простые, но такие мучительные вопросы, что я не смог ответить ни на один и решил, что у меня приступ той самой наследственной болезни, которой страдала моя бабушка, бывшая бабушка. Не поправляйте, я умышленно употребляю тут слово бывшая вместо покойная, согласитесь, первое звучит лучше, мягче и не так безнадежно. Видите ли, когда бабушка еще была с нами, она иногда теряла память, так обычно случалось, если она долго смотрела на что-нибудь необыкновенно красивое. И вот тогда на реке я подумал: вокруг, наверное, слишком красиво и поэтому я, как бабушка, потерял память и не в состоянии ответить себе на самые обычные вопросы. Спустя несколько дней я поехал к лечащему доктору Заузе и посоветовался, спросил совета. Доктор сказал мне: знаете, дружок, у вас без сомнения было то самое, бабушкино. Плюньте вы на этот загород, сказал он, перестаньте туда ездить, что вы там потеряли, в самом-то деле. Но, доктор,— сказал я,— там красиво, красиво,

я хочу туда. В таком случае,— сказал он, снимая, а может надевая очки,— я запрещаю вам туда ездить. Но я не послушал его. По-моему, он из той категории жадных людей, что сами любят бывать в хороших местах и желали бы, чтобы никто кроме них туда не ездил. Я, конечно, пообещал ему никуда из города не уезжать, а сам уехал, как только меня выписали, и жил на даче все оставшееся лето и даже кусочек осени, пока на участках не начали жечь костры из опавших листьев, а часть опавших листьев не поплыла по нашей реке. В те дни вокруг стало настолько красиво, что я не мог выходить даже на веранду: стоило мне посмотреть на реку и увидеть, какие разноцветные леса на том, норвеговском, берегу, как я начинал плакать и ничего не мог с собой поделать. Слезы текли сами собой, и я не мог сказать им — нет, а внутри было неспокойно и горячо (отец потребовал, чтобы мы с матерью вернулись в город — и мы вернулись), но то, что произошло тогда, на реке, в лодке, больше не повторялось — ни летом, ни осенью, и вообще с тех пор никогда. Ясное дело, я могу что-нибудь забыть: вещь, слово, фамилию, дату, но только тогда, на реке, в лодке, я забыл все сразу. Но, как я сейчас понимаю, то состояние было все же не бабушкино, а какое-то другое, мое собственное, может не изученное пока врачами. Да, я не мог ответить себе на поставленные вопросы, но поймите: это вовсе не означало потерю памяти, это бы еще куда ни шло. Дорогой Леонардо, все было гораздо серьезнее, а именно: я находился в одной из стадий исчезновения. Видите ли, человек не может исчезнуть моментально и полностью, прежде он превращается в нечто отличное от себя по форме и по сути — например, в вальс, в отдаленный, звучащий чуть слышно вечерний вальс, то есть исчезает частично, а уж потом исчезает полностью.

Где-то на поляне расположился духовой оркестр. Музыканты уселись на свежих еловых пнях, а ноты положили перед собой, но не на пюпитры, а на траву. Трава высокая и густая и сильная, как озерный камыш, и без труда держит нотные тетради, и музыканты

без труда различают все знаки. Ты не знаешь это наверное, возможно, что никакого оркестра на поляне нет, но из-за леса слышится музыка, и тебе хорошо. Хочется снять обувь свою, носки, встать на цыпочки и танцевать под эту далекую музыку, глядя в небо, хочется, чтобы она никогда не переставала. Вета, милая, вы танцуете? Конечно, дорогой, я так люблю танцевать. Так позвольте же пригласить вас на тур. С удовольствием, с удовольствием, с удовольствием! Но вот на поляну являются косари. Их инструменты, их двенадцатиручные косы, тоже блестят на солнце, но не золотом, как у музыкантов, а серебром. И косари начинают косить. Первый косарь приближается к трубачу и, наладив косу,— музыка играет — резким махом срезает те травяные стебли, на которых лежит нотная тетрадь трубача. Тетрадь падает и закрывается. Трубач захлебывается на полуноте и тихо уходит в чащу, где много родников и поют всевозможные птицы. Второй косарь направляется к валторнисту и делает то же самое — музыка играет — что сделал первый: срезает. Тетрадь валторниста падает. Он встает и уходит следом за трубачем. Третий косарь широко шагает к фаготу: и его тетрадь — музыка играет, но становится тише — тоже падает. И вот уже трое музыкантов бесшумно, гуськом, идут слушать птиц и пить родниковую воду. Скоро следом — музыка играет пиано — идут: корнет, ударные, вторая и третья труба, а также флейтисты, и все они несут инструменты — каждый несет свой, весь оркестр скрывается в чаще, никто не дотрагивается губами до мундштуков, но музыка все равно играет. Она, звучащая теперь пианиссимо, осталась на поляне, и косари, посрамленные чудом, плачут и утирают мокрые лица рукавами своих красных косовороток. Косари не могут работать — их руки трясутся, а сердца их подобны унылым болотным жабам, а музыка — играет. Она живет сама по себе, это — вальс, который только вчера был кем-нибудь из нашего числа: человек исчез, перешел в звуки, а мы никогда не узнаем об этом. Дорогой Леонардо, что касается моего случая с лодкой, рекой, веслами и кукушкой, то я, очевидно, тоже исчез. Я пре-

вратился тогда в нимфею, в белую речную лилию с длинным золотисто-коричневым стеблем, а точнее сказать так: я частично исчез в белую речную лилию. Так лучше, точнее. Хорошо помню, я сидел в лодке, бросив весла. На одном из берегов кукушка считала мои годы. Я задал себе несколько вопросов и собрался уже отвечать, но не смог и удивился. А потом что-то случилось во мне, там, внутри, в сердце и в голове, будто меня выключили. И тут я почувствовал, что исчез, но сначала решил не верить, не хотелось. И сказал себе: это неправда, это кажется, ты немного устал, сегодня очень жарко, бери гре́би и греби́ домой. И попытался взять весла, протянул к ним руки, но ничего не получилось: я видел рукояти, но ладони мои не ощущали их, дерево гребей протекало через мои пальцы, через их фаланги, как песок, как воздух. Нет, наоборот, я, мои бывшие, а теперь не существовавшие ладони обтекали дерево подобно воде. Это было хуже, чем если бы я стал призраком, потому что призрак, по крайней мере, может пройти сквозь стену, а я не прошел бы, мне было бы нечем пройти, от меня ведь ничего не осталось. И опять неверно: что-то осталось. Осталось желание себя прежнего, и пусть я не сумел вспомнить, кем я жил до исчезновения, я чувствовал, что тогда, то есть до, жизнь моя текла интересней, полнее, и хотелось стать снова тем самым неизвестным, забытым таким-то. Лодку прибило волнами к берегу в пустынном месте. Пройдя по пляжу несколько шагов, я оглянулся: на песке не осталось ничего похожего на мои следы. И все-таки я еще не хотел верить. Мало ли, как бывает, во-первых, может оказаться, что все это сон, во-вторых, возможно, что песок здесь необычайно плотный и я, весящий всего столько-то килограммов, не оставил на нем следов из-за своей легкости, и в-третьих, вполне вероятно, что я и не выходил еще из лодки на берег, а до сих пор сижу в ней и, естественно, не мог оставить следов там, где еще не был. Но затем, когда я посмотрел вокруг и увидел, какая красивая у нас река, какие замечательные старые ветлы и цветы растут на том и на этом берегу, я сказал себе: ты — несчастный

изолгавшийся трус, ты испугался, что исчез, и решил обмануть себя, придумываешь нелепости и прочее, ты должен, наконец, стать честным, как Павел, он же и Савл. То, что произошло с тобой,— никакой не сон, это ясно. Дальше: если бы ты весил даже не столько-то, а в сто раз меньше, то и в таком случае твои следы остались бы на песке. Но ты не весишь отныне и грамма, ибо тебя нет, ты просто исчез, и если хочешь убедиться в этом, оглянись еще раз и посмотри в лодку: ты увидишь, что и в лодке тебя тоже нет. Да, нет, отвечал я другому себе (хотя доктор Заузе пытался доказать мне, будто никакого другого меня не существует, я не склонен доверять его ни на чем не основанным утверждениям), да, в лодке меня нету, но зато там, в лодке, лежит белая речная лилия с золотисто-коричневым стеблем и желтыми слабоароматными тычинками. Я сорвал ее час тому у западных берегов острова, в заводи, где подобных лилий, а также желтых кувшинок столь много, что их не хочется трогать, лучше сидеть в лодке просто так, смотреть на них, на каждую в отдельности или на все вместе. Можно увидеть там и синих стрекоз, называемых по-латыни симпетрум, быстрых и нервных жуков-водомеров, похожих на пауков-косиножек, а в осоке плавают утки, честное слово, дикие утки. Они какие-то пестрые, с перламутровым отливом. Там есть и чайки: они спрятали свои гнезда на острове, среди так называемых плакучих ив, плакучих и серебристых, и нам ни разу не удавалось найти ни одного гнезда, мы даже не представляем себе, как оно выглядит — гнездо речной чайки. Зато мы знаем, как чайка ловит рыбу. Птица летит довольно высоко над водой и глядит в глубину, где рыбы. Птица хорошо видит рыбу, но рыба не видит птицу, а видит только мошку и комара, которым нравится летать над самой водой (пьют сладкий сок кувшинок), рыба питается ими. Она время от времени выпрыгивает из воды и глотает одного-двух комаров, а в этот момент птица, сложив крылья, падает с высоты и ловит рыбу и уносит ее в своем клюве в свое гнездо, гнездо чайки. Правда, иногда птице не удается схватить рыбу, тогда

птица опять набирает нужную высоту и продолжает лететь, глядя в воду. Там она видит рыбу и свое отражение. Это другая птица, думает чайка, очень похожая на меня, но другая, она живет по ту сторону реки и всегда вылетает на охоту вместе со мной, она тоже ловит рыбу, а гнездо этой птицы — где-то на обратной стороне острова, прямо под нашим гнездом. Она — хорошая птица, размышляет чайка. Да, чайки, стрекозы, водомеры и тому подобное — вот что есть у западных берегов острова, в заводи, где я сорвал нимфею, которая лежит теперь в лодке, увядая.

Но для чего ты сорвал ее, разве была какая-то необходимость, ты же не любишь — я знаю,— не любишь собирать цветы, а любишь только наблюдать их или осторожно трогать рукой. Конечно, я не должен был, я не хотел, поверь мне, сначала не хотел, никогда не хотел, мне казалось, что если я когда-нибудь сорву ее, то случится что-то неприятное — со мной или с тобой, или с другими людьми, или с нашей рекой, например, разве она не может иссякнуть? Ты произнес сейчас странное слово, что ты сказал, что это за слово — сяку. Нет, тебе показалось, послышалось, было не такое слово, похожее на это, но не такое, я уже не могу вспомнить. А о чем я вообще говорил только что, ты не мог бы помочь мне восстановить нить моего рассуждения, она оборвана. Мы беседовали о том, как однажды Трахтенберг отвинтила кран в ванной и куда-то его спрятала, а когда пришел смотритель, он долго стоял в ванной и смотрел. Он долго молчал, потому что ничего не понимал. Вода текла, шумела и ванна постепенно наполнялась, и вот смотритель спросил Трахтенберг: где кран? И старая женщина отвечала ему: у меня есть патефон (неправда, патефон есть только у меня), а крана нет. Но ведь крана нет и у ванной, сказал смотритель. Об этом, гражданин, судить вам, я же вам не ответчик,— и ушла в комнату. А смотритель подошел к двери и начал стучать, но ни Трахтенберг, ни Тинберген не открывала ему. Я же стоял в прихожей и думал, и когда смотритель обернулся ко мне и спросил, что

делать, я сказал: стучите, и вам откроют. Он опять стал стучать, и Трахтенберг вскоре открыла ему, и он опять поинтересовался: где кран? Я не знаю, возражала ему старая Тинберген, спросите у молодого человека. И она указала своим костлявым пальцем в мою сторону. Смотритель заметил: возможно, у паренька не все дома, но, сдается мне, он не настолько глуп, чтобы отвинчивать краны, это сделали вы, и я пожалуюсь домоуправу Сорокину. Тинберген расхохоталась смотрителю в лицо. Зловеще. И смотритель ушел жаловаться. Я же стоял в прихожей и размышлял. Здесь, на вешалке, висели пальто и головные уборы, здесь стояли два контейнера для перевозки мебели. Эти вещи принадлежали соседям, то есть Трахтенберг-Тинберген и ее экскаваторщику. Во всяком случае замасленная кепка-восьмиклинка была точно его, потому что сама старуха носила только шляпы. Я нередко стою в прихожей и рассматриваю всякие предметы на вешалке. Мне кажется, что они добрые и с ними уютно, и я совсем не боюсь их, когда в них никто не одет. Еще я думаю о контейнерах, из какого они дерева, сколько сто́ят и на каком поезде и по какой ветке их привезли в наш город.

Дорогой ученик такой-то, я, автор книги, довольно ясно представляю себе тот поезд — товарный и длинный. Его вагоны, по преимуществу коричневые, были исписаны мелом — буквы, цифры, слова, целые фразы. Видимо, на некоторых вагонах работники в специальных железнодорожных костюмах и фуражках с оловянными кокардами делали выкладки, заметки, расчеты. Предположим, поезд уже несколько суток стоит в тупике и еще неизвестно — никто не знает этого,— когда он снова поедет, и никто не знает — куда. И вот в тупик приходит комиссия, смотрит на пломбы, бьет молотками по колесам, заглядывает в буксы, проверяя, нет ли трещин в металле и не подмешал ли кто песок в масло. Комиссия спорит, ругается, ей давно надоела ее однообразная работа, и она с удовольствием ушла бы на пенсию. А сколько же лет до пенсии? — размышляет комиссия. Она берет кусок мела и пишет на чем попало,

обычно на одном из вагонов: год рождения — такой-то, трудовой стаж — такой-то, значит, до пенсии столько-то. Потом на работу выходит следующая комиссия, она очень задолжала своим коллегам из первой комиссии, вот отчего вторая комиссия не спорит и не ругается, а старается делать все тихо и даже не пользуется молотками. Этой комиссии грустно, она тоже достает из кармана мел (здесь я должен в скобках заметить, что станция, где происходит действие, никогда, даже во времена мировых войн, не могла пожаловаться на нехватку мела. Ей, случалось, недоставало шпал, дрезин, спичек, молибденовой руды, стрелочников, гаечных ключей, шлангов, шлагбаумов, цветов для украшения откосов, красных транспарантов с необходимыми лозунгами в честь того или совершенно иного события, запасных тормозов, сифонов и поддувал, стали и шлаков, бухгалтерских отчетов, амбарных книг, пепла и алмаза, паровозных труб, скорости, патронов и марихуаны, рычагов и будильников, развлечений и дров, граммофонов и грузчиков, опытных письмоводителей, окрестных лесов, ритмичных расписаний, сонных мух, щей, каши, хлеба, воды. Но мела на этой станции всегда было столько, что, как указывалось в заявлении телеграфного агентства, понадобится составить столько-то составов такой-то грузоподъемностью каждый, чтобы вывезти со станции весь потенциальный мел. Вернее, не со станции, а из меловых карьеров в районе станции. А сама станция называлась Мел, и река — туманная белая река с меловыми берегами — не могла называться иначе как Мел. Короче, все здесь, на станции и в поселке, было построено на этом мягком белом камне: люди работали в меловых карьерах и шахтах, получали меловые, перепачканные мелом рубли, из мела строили дома, улицы, устраивали меловые побелки, в школах детей учили писать мелом, мелом мыли руки, умывались, чистили кастрюли и зубы и, наконец, умирая, завещали похоронить себя на поселковом кладбище, где вместо земли был мел и каждую могилу украшала меловая плита. Надо думать, поселок Мел был на редкость чистый, весь белый и прибранный, и над ним постоянно

висели облака и тучи, беременные меловыми дождями, и когда они выпадали, поселок становился еще белее и чище, то есть совсем белым, как свежая простыня в хорошей больнице. Что же касается больницы, то она и была тут хорошая и большая. В ней болели и умирали шахтеры, больные особой болезнью, которую в разговоре друг с другом называли меловой. Пыль мела попадала рабочим в легкие, проникала в кровь, и кровь становилась слабой и жидкой. Люди бледнели, лица светились в сумраке ночных смен бело и призрачно, в часы передач и свиданий светились в окнах больницы на фоне изумительно чистых занавесок, прощально светились на фоне предсмертных подушек, а потом лица светились только на фотографиях в семейных альбомах. Снимок наклеивался на отдельной странице, и кто-нибудь из домашних старательно обводил его черным карандашом. Рамка получалась неровной, но торжественной. Однако вернемся ко второй железнодорожной комиссии, которая достает из кармана мел, и — закроем скобки) и пишет на вагоне: Петрову — столько-то, Иванову — столько-то, Сидорову — столько-то, итого — столько-то меловых рублей. Комиссия идет дальше и на каких-то вагонах и платформах пишет слово *проверено*, а на других — проверить, ибо нельзя же проверить все сразу, есть же, в самом-то деле, и третья комиссия: пусть она и проверит оставшиеся вагоны. Но кроме комиссий на станции есть *некомиссии*, иначе говоря, люди, не являющиеся членами комиссий, они стоят вне этого, заняты на других работах или вообще не служат. Тем не менее они тоже не могут побороть в себе желание взять кусочек мела и что-нибудь написать на стенке вагона — деревянной и теплой от солнца. Вот идет солдат в пилотке, направляется к вагону: *до дембеля два месяца*. Появляется шахтер, белая рука выводит лаконичное *гады*. Двоечник пятого класса, кому, быть может, жить труднее, чем нам всем вместе взятым: *Марья Степанна — сука*. Станционная рабочая в оранжевой безрукавке, которая обязана подвинчивать гайки и подметать виадуки, сбрасывая мусор вниз, на рельсы,

умеет рисовать море. Она рисует на вагоне волнистую линию, и правда — получается море, а старик-нищий, что не умеет ни петь, ни играть на гармони, а купить шарманку до сих пор не собрался, пишет два слова: в а м с п а с и б о. Какой-то парень, пьяный и кудлатый, узнавший стороной об измене подружки, в отчаянии: В а л ю л ю б и л и т р о е. Наконец поезд выходит из тупика и движется по перегонам России. Он составлен из проверенных комиссиями вагонов, из чистых и бранных слов, кусочков чьих-то сердечных болей, памятных замет, деловых записок, бездельных графических упражнений, из смеха и клятв, из воплей и слез, из крови и мела, из белым по черному и коричневому, из страха смерти, из жалости к дальним и ближним, из нервотрепки, из добрых побуждений и розовых мечтаний, из хамства, нежности, тупости и холуйства. Поезд идет, на нем едут контейнеры Шейны Соломоновны Трахтенберг, и вся Россия, выходя на проветренные перроны, смотрит ему в глаза и читает начертанное — мимолетную книгу собственной жизни, книгу бестолковую, бездарную, скучную, созданную руками некомпетентных комиссий и жалких, оглупленных людей. Спустя сколько-то дней поезд прибывает в наш город, на товарную станцию. Сотрудники железнодорожной почты озабочены: им нужно сообщить Шейне Трахтенберг, что контейнеры с мебелью наконец-то получены. На дворе дождь, небо все в тучах. В специальной почтовой конторе у так называемой границы станции горит стосвечовая лампочка, она рассеивает полумрак и создает уют. В помещении конторы — несколько озабоченных конторщиков в голубой форме. Они озабоченно греют чай на электрической плитке и озабоченно пьют его. Пахнет бечевкой, сургучом, оберточной бумагой. Окно смотрит на ржавые запасные пути, меж шпал пробивается трава и растут какие-то мелкие, но прекрасные цветы. Глядеть на них из окна очень приятно. Форточка открыта, поэтому хорошо слышны некоторые характерные для узловой станции звуки: рожок сцепщика, лязг фаркопфов и буферов, шипение пневматических тормозов, команды диспетчера, а также разного рода

гудки. Слышать все это тоже приятно, особенно если ты профессионал и можешь объяснить природу любого из звуков, его смысл и значение. А ведь конторщики почтовой железнодорожной конторы и есть профессионалы, у них за плечами масса путевых километров, все они в свое время служили начальниками почтовых вагонов или работали проводниками тех же вагонов, а кое-кто даже на международных линиях и, как принято говорить, повидали свет и знают что к чему. И если явиться и спросить их начальника, так ли это...

Да, дорогой автор, именно так: прийти к нему домой, позвонить звучным велосипедным звонком у дверей — пусть он услышит и откроет. Кто там? Там-там, здесь живет Начальник такой-то? Здесь. Открывайте, пришли, чтобы спросить и получить правдивый ответ. Кто? Те Кто Пришли. Приходите завтра, сегодня уже поздно, мы с женой спим. Проснитесь, ибо наступила пора сказать правду. О ком, о чем? О ребятах вашей конторы. Почему ночью? Ночью все звуки слышнее: крик младенца, стон умирающего, полет Найтингейла, кашель трамвайного констриктора: проснитесь, откройте и отвечайте. Подождите, я надену пижаму. Надевайте, она вам очень к лицу, симпатичная клеточка, шили или покупали? Не помню, не знаю, следует поинтересоваться у жены, мама, пришли Те Кто Пришли, они хотели бы знать про пижаму, шили или покупали, а если да, то где и почем. Да шили нет покупали шел снег было холодно мы возвращались из кино и я подумала что вот у мужа и в эту зиму не будет теплой пижамы заглянула в универмаг а ты остался на улице купить бананов за ними очередь была и я не особенно торопилась посмотрела сначала ковры и записалась на полтора метра на метр семьдесят пять на через три года потому что фабрику закрыли на ремонт а потом в мужском нижнем белье увидела сразу эту пижаму и китайские кальсоны с сорочкой лохматые такие и все не решу что лучше вообще-то мне больше нравились кальсоны и недорогие и цвет хороший в них и спать можно и на работу поддеть и дома ходить но ведь мы с соседями живем

значит в прихожую или на кухню уже не выйдешь а в пижаме все-таки и прилично и мило даже вот и выписала пижаму на улицу возвращаюсь а ты еще за бананами стоишь и говорю тебе дай мол деньги я пижаму выписала а ты говоришь да не надо зачем барахло наверно какое-нибудь нет говорю не барахло вовсе а очень приличная вещь импортная с деревянными пуговицами ступай сам погляди а впереди тебя какая-то дама пожилая в жакетке стояла с клипсами полная такая седоватая она обернулась и говорит вы идите идите не бойтесь я все время буду стоять если что так я скажу что вы тут были за мной а насчет пижамы говорит вы зря с супругой спорите я эту пижаму знаю очень стоящая покупка будет я на прошлой неделе всей семье такие купила отцу купила брату купила мужу купила а одну зятю в Гомель отправила он теперь на курсах там учится так что и не думайте даже покупайте и дело с концом потому что иной раз приспичит ищешь эту самую пижаму по всему городу а тебе говорят зайдите в конце месяца зайдите в конце месяца заходишь в конце месяца а тебе говорят вчера были продали так что и не думайте даже жене после спасибо скажете а очередь я подержу не бойтесь и ты говоришь тогда ну ладно пойдем посмотрим мы в универмаг заходим и я спрашиваю ну как нравится а ты плечами как-то так пожимаешь и отвечаешь не знаю черт его знает ничего вроде пижама только странная почему-то в клетку и брюки по-моему узковатые это ты говоришь а продавщица услышала молоденькая симпатичная и предлагает да вы говорит померяйте прикиньте кабина-то у нас для чего поставлена не для меня же я взяла пижаму она на плечиках на деревянных висела пошли за занавеску там три зеркала больших ты когда раздеваться стал то снежинки все то есть не снежинки уже а капельки они прямо все зеркала забрызгали я из-за занавески высунулась и кричу продавщице девушка у вас тряпочка есть какая-нибудь а она а для чего вам а я да зеркало протереть нужно а она а что забрызгали да немножко на улице же снег идет а у вас в магазине так тепло что растаяло все она тогда достала из-под прилавка фланельку желтенькую

нате говорит и спрашивает потом ну что примерили а я говорю да нет еще примеряем пока я вам скажу когда все готово будет вы уж загляните тогда посоветуйте может брюки правда узковатые потом я смотрю а ты уже в пижаме весь и вертишься в разные стороны даже присел два раза чтобы в паху проверить ну как спрашиваю а ты да все вроде толком вот брюки узковатые разве немного да и клетка тревожная какая-то не наша еще бы говорю импортная же вещь и продавщицу зову посоветоваться у нее покупателей как раз полно она сейчас сейчас отзывается а сама не идет и не идет тогда ты говоришь я сам к ней пойду а я не пускаю ты что неудобно народ кругом а ты отвечаешь ну и что народ что они пижамы что ли не видели у них у самих у каждого по десять пар что страшного-то говоришь что мы сами не народ что ли и выходишь из кабины и девушку спрашиваешь как мол ничего сидит а она как на вас шили очень даже берите не пожалеете такого размера всего полтора комплекта осталось к вечеру ничего не будет берут очень тогда ты спрашиваешь мне кажется брюки немного узковатые а вам как кажется девушка отвечает а это фасон такой самый теперь модный куртка длинная и широковатая а брюки наоборот но если захотите так перешить же можно где расставить а вот тут например на куртке я бы наоборот в оборку взяла потому что куртка в талии действительно чуть широкая да вам жена сделает или в ателье снесите и меня спрашивает у вас машинка есть дома есть только неважная она раньше у меня зингеровская ножная была материна еще а когда дочь замуж выходила я ей подарила не жалею конечно но немного все же жалко но дочке тоже ведь необходимо у них теперь маленький растет ему то да се пошить иногда требуется пусть конечно шьет дочка на зингеровской а мы себе другую купили новая совсем электрическая но трудно на ней работать то ли она плохая то ли я не привыкла строчка на ней неровная выходит нитку рвет но уж лучше на ней чем в ателье нести в ателье же долго да и дорого так что дома подошьем разумеется а девушка говорит конечно подшейте дома один вечер посидеть и все зато хорошая получит-

ся не на один год хватит и тебя спрашивает а вам-то самому нравится ты улыбнулся даже застеснялся по-моему да нормальная пижама говоришь чего там тогда девушка тебе а вы на железной дороге небось работаете мы с тобой переглянулись откуда мол она догадалась и я вопрос ей задаю вы как узнали интересуюсь очень просто отвечает у вашего мужа фуражка на голове форменная с молотком и ключом разводным а у меня брат тоже на поездах пригородные линии обслуживает придет иногда вечером и все рассказывает про работу где какое крушение произошло где что интересно я даже завидую ему каждый день что-то новое а здесь одно и то же деться некуда брать-то будете говорит я тогда прошу ее вы пижаму пожалуйста заверните нам а я сейчас выбью пойду а она да вы сначала выбейте я и заверну сразу я пошла выбила в кассе очередь была а ты пижаму снял в кабине и смотрю несешь уже ей на плечиках она стала заворачивать ленточкой даже перевязала неправда мама неправда я все вспомнил это была бечевка я еще подумал как у нас на работе мы пакуем бандероли и перевязываем посылки у нас ее целые мотки и катушки всегда есть никогда не кончается сколько угодно хорошей бечевки это была бечевка там в магазине там у девушки там там работаем с превышением графика не беспокойтесь заходите заглядывайте проверяйте звоните велосипедным звонком в любое время посмотрим бечевку почитаем японских поэтов Николаев Семен знает их наизусть и вообще умница много читает.

Горит стосвечовая лампочка, пахнет сургучом, веревкой, бумагой. За окном — ржавые рельсы, мелкие цветы, дождь и звуки узловой станции. Действующие лица. Начальник Такой-то — человек с видами на повышение. Семен Николаев — человек с умным видом. Федор Муромцев — человек обычного вида. Эти, а также Остальные Железнодорожники сидят за общим столом и пьют чай с баранками. Те Кто Пришли стоят в дверях. Говорит Начальник Такой-то: Николаев, пришли Те Кто Пришли, они желали бы послушать стихи

или прозу японских классиков. С. Николаев, открывая книгу: у меня с собой совершенно случайно Ясунари Кавабата, он пишет: «Неужели здесь такие холода? Очень уж вы все закутаны. Да, господин. Мы все уже в зимнем. Особенно морозно по вечерам, когда после снегопада наступит ясная погода. Сейчас, должно быть, ниже нуля. Уже ниже нуля? Н-да, холодно. До чего ни дотронешься, все холодное. В прошлом году тоже стояли большие холода. До двадцати с чем-то градусов ниже нуля доходило. А снегу много? В среднем снежный покров — семь-восемь сяку, а при сильных снегопадах более одного дзе. Теперь, наверное, начнет сыпать. Да, сейчас самое время снегопадов, ждем. Вообще-то снег выпал недавно, покрыл землю, а потом подтаял, опустился чуть ли не на сяку. Разве сейчас тает? Да, но теперь только и жди снегопадов». Ф. Муромцев: вот так история, Семен Данилович, вот так рассказец. С. Николаев: это не рассказец, Федор, это отрывок из романа. Начальник Такой-то: Николаев, Те Кто Пришли хотели бы еще. С. Николаев: пожалуйста, вот наугад: «Девушка сидела и била в барабан. Я видел ее спину. Казалось, она совсем близко — в соседней комнате. Мое сердце забилось в такт барабану. Как барабан оживляет застолье! — сказала сорокалетняя, тоже смотревшая на танцовщицу». Ф. Муромцев: подумать только, а? С. Николаев: я прочту еще, это стихи одного японского поэта, это дзенский поэт Доген. Ф. Муромцев: дзенский? понятно, Семен Данилович, но вы не назвали даты его рождения и смерти, назовите, если не секрет. С. Николаев: извините, я сейчас вспомню, вот они: 1200–1253. Начальник Такой-то: всего пятьдесят три года? С. Николаев: но каких! Ф. Муромцев: каких? С. Николаев, вставая с табуретки: «Цветы весной, кукушка летом. И осенью — луна. Холодный чистый снег зимой». (Садится.) Все. Ф. Муромцев: все? С. Николаев: все. Ф. Муромцев: почему-то немного, Семен Данилович, а? Маловато. Может там еще что-то есть, возможно, оборвано? С. Николаев: нет, все, это такая специальная форма стихотворения, есть стихи длинные, поэмы, например, есть короче, а есть совсем

короткие, в несколько строк, или даже в одну. Ф. Муромцев: а почему, зачем? С. Николаев: да как тебе сказать,— лаконизм. Ф. Муромцев: вот оно что, значит, я так понимаю, если сравнительно брать: идут по дистанции составы — идут или не идут? С. Николаев: ну, идут. Ф. Муромцев: а ведь они тоже разные. Есть такие длинные, что конца не дождешься, чтобы полотно перейти, а есть короткие (загибает пальцы на руке), раз, два, три, четыре, пять, да, пять, скажем, вагонов или платформ — годится? тоже, стало быть, лаконизм? С. Николаев: в общем-то, да. Ф. Муромцев: ну вот, разобрались. Как вы говорите: холодный чистый снег зимой? С. Николаев: зимой. Ф. Муромцев: это уж точно, Цунео Данилович, у нас зимой всегда снегу хватает, в январе не меньше девяти сяку, а в конце сезона на два дзе тянет. Ц. Николаев: два не два, а полтора-то уж точно будет. Ф. Муромацу: чего там полтора, Цунео-сан, когда два сплошь да рядом. Ц. Накамура: это как сказать, смотря где, если у насыпи с наветренной стороны, то конечно. А в полях гораздо меньше, полтора. Ф. Муромацу: ну, полтора так полтора, Цунео-сан, зачем спорить. Ц. Накамура: смотри-ка, дождь все не кончается. Ф. Муромацу: да, дождит, неважная погода. Ц. Накамура: вся станция мокрая, одни лужи кругом, и когда только высохнет. Ф. Муромацу: в такую слякоть без зонтика лучше и не появляйся на улицу — насквозь промочит. Ц. Накамура: в прошлом году в это время была точно такая погода, у меня в доме протекла крыша, промокли все татами, и я никак не мог повесить их во дворе посушить. Ф. Муромацу: беда, Цунео-сан, такой дождь никому не идет на пользу, он только мешает. Правда, говорят, что это очень хорошо для риса, но человеку, особенно городскому, такой дождь приносит одни неприятности. Ц. Накамура: мой сосед из-за этого дождя уже неделю не встает, болеет, кашляет. Врач сказал, что если будет лить еще какое-то время, то соседа придется отправить в больницу, иначе он никогда не выздоровеет. Ф. Муромацу: для больного нет ничего хуже дождя, воздух становится влажным и болезнь усиливается. Ц. Накамура: сегодня

утром жена хотела пойти в лавку босиком, но я попросил ее надеть гета, ведь здоровье не купишь ни на какие деньги, а заболеть проще всего. Ф. Муромацу: правильно, господин, дождь холодный, без обуви и думать нельзя выходить, в эти дни нам всем следует поберечь себя. Ц. Накамура: немного саке не повредило бы нам, как ты думаешь? Ф. Муромацу: да, только совсем немного, одна-две порции, это оживило бы застолье не хуже барабана. Начальник Такой-то: Те Кто Пришли интересуются судьбой некоторых контейнеров. С. Николаев: каких именно? Начальник Такой-то: Шейны Трахтенберг. Ф. Муромцев: пришли, мы озабочены, нужно писать открытку, они стоят под открытым небом, дождь, они промокнут насквозь, ей нужно писать, вот бланк, вот адрес. Семен Данилович, пишите.

Уважаемая Шейна Соломоновна,— читал я, стоя в прихожей, которая казалась в то время почти огромной, потому что контейнеров еще не было,— уважаемая Шейна Соломоновна, мы, сотрудники почтовой железнодорожной конторы, имеем сообщить Вам, что над всем нашим городом, а также над его окрестными местами, наблюдается затяжной предосенний дождь. Везде мокро, проселочные дороги развезло, листья деревьев пропитались влагой и пожелтели, а колеса паровозов, вагонов, дрезин сильно поржавели. В такие дни всем трудно, особенно нам, людям железной дороги. И все-таки мы решили не сбиваться с хорошего рабочего ритма, план свой выполняем, стараемся строго придерживаться обычного графика. И результаты налицо: несмотря на то, что глубина некоторых луж у нас на станции достигла двух-трех сяку, мы отправили за последнее время не меньше писем и бандеролей, чем это было сделано за тот же период прошлого года. В заключение спешим уведомить Вас, что на станцию прибыли два контейнера на Ваше имя, и просим в срочном порядке организовать их отгрузку со двора нашей конторы. С уважением. Зачем ты рассказал мне об этом, я не хотел бы думать, что ты способен читать чужие письма, ты огорчил меня, скажи мне правду, может

быть, ты придумал этот случай, я же знаю — ты любишь сочинять разные истории, в разговорах с тобой я тоже многое выдумываю. Там, в больнице, Заузе ужасно смеялся над нами, что мы такие фантазеры. Больной такой-то, смеялся он, честно говоря, я не встречал человека здоровее вас, но ваша беда вот в чем: вы невероятный фантазер. И тогда мы отвечали ему: в таком случае вы не можете столь долго держать нас, мы требуем скорейшей выписки из вверенного вам здесь. Тут он сразу становился серьезным и спрашивал: ну хорошо, предположим, я завтра вас выпишу, но что вы собираетесь делать, чем будете заниматься, пойдете работать или вернетесь в школу? А мы отвечали: в школу? о нет, мы поедем за город, ибо у нас есть дача, вернее, не столько у нас, сколько у наших родителей, там немыслимо великолепно, час двадцать, ожидание ветра, песок и вереск, река и лодка, весна и лето, чтение в травах, легкий завтрак, кегли и оглушительно много птиц. Потом — осень, весь поселок в дымке, но — не подумайте — не туман и не дым, а прекрасная летучая паутина. Утром — роса на страницах оставленной в саду книги, прогулка за керосином на станцию. Но, доктор, мы даем вам честное слово, что не будем пить пиво в зеленом ларьке у пруда, где плотина. Нет, доктор, мы не любим пиво. Знаете, мы подумали и о вас, вы, наверное, тоже смогли бы убыть туда на несколько дней. Мы договоримся с отцом, и он не откажет. Вот, вы приедете на семичасовом, а мы встретим вас на специальном велосипеде с коляской. Понимаете, старый велосипед, а сбоку — коляска от небольшого мотоцикла. Но вероятно, что коляски не будет: еще не известно, как достать такую коляску. Но велосипед — есть. Он стоит в сарае, там же находится бочка с керосином и две пустые, мы иногда кричим в них. Там есть и доски, есть разные садовые инструментарии и бабушкино кресло, то есть, нет, простите, не так, отец всегда просил нас говорить наоборот: кресло бабушки. Так почтительнее, объяснял он. Однажды он сидел в этом самом кресле, а мы сидели рядом, на траве, и читали разные книги, да доктор, вы же в курсе, нам

трудно читать долго одну книгу, мы читаем сначала одну страницу одной книги, а потом одну страницу другой. Затем можно взять третью книгу и тоже прочитать одну страницу, а уже потом снова вернуться к первой книге. Так легче, меньше устаешь. И вот мы сидели на траве с разными книгами, и в одной какой-то книге было кое-что написано, мы сначала не поняли ничего, о чем это, потому что древняя довольно книга, сейчас таким языком никто не пишет, и мы сказали: папа, объясни нам, пожалуйста, мы не понимаем, что здесь написано. И тогда отец оторвался от газеты и спросил: ну, что там у тебя, снова ерунда какая-нибудь? И вот мы прочитали вслух: *выпросил у Бога светлую Русь сатона, да же очервленит ю кровию мученическою. Добро, ты, диавол, вздумал, и нам то любо — Христа ради, нашего света, пострадать.* Мы почему-то запомнили эти слова, у нас память вообще-то плохая, вы знаете, но если что-нибудь понравится, то сразу запоминаем. А отцу не понравилось. Он вскочил с кресла, выхватил у нас ту книгу и закричал: откуда, откуда, черт бы тебя взял, что за галиматья дурацкая! А мы отвечали: вчера мы ездили на ту сторону, там живет наш учитель, и он поинтересовался, чем мы заняты и что читаем. Мы сказали, что ты дал нам несколько томов такого-то современного классика. Учитель засмеялся и побежал к реке. Потом вернулся, и с его больших веснушчатых ушей капала вода. Павел Петрович сказал нам: дорогой коллега, как славно, что имя, произнесенное вами не далее как минуту назад, растворилось, рассеялось в воздухе, будто дорожная пыль, и звуки эти не услышит тот, кого мы называем Насылающим, как хорошо, дорогой коллега, не так ли, иначе что было бы с этим замечательным стариком, он наверняка упал бы от ярости со своего велосипеда, а затем не оставил бы от наших уважаемых поселков камня на камне, и, впрочем, недурно бы сделал, потому что время. Что же касается моих влажных ушей, которые вы так внимательно изучаете, то они оттого мокры, что я умыл их в водах зримого вами водоема, дабы очистить от сквер-

ны упомянутого имени и встретить грядущее небытие в белизне души, тела, помыслов, языка и ушей. Мой молодой друг, ученик и товарищ,— сказал нам учитель,— в горьких ли кладезях народной мудрости, в сладких ли речениях и речах, в прахе отверженных и в страхе приближенных, в скитальческих сумах и иудиных суммах, в движении от и в стоянии над, во лжи обманутых и в правде оболганных, в войне и мире, в мареве и мураве, в стадиях и студиях, в стыде и страданиях, во тьме и свете, в ненависти и жалости, в жизни и вне ее — во всем этом и в прочем следует хорошенько разобраться, в этом что-то есть, может быть, немного, но есть. Там и сям, там и сям что-то произошло, мы не можем сказать с уверенностью, что именно, ибо пока не знаем ни сути, ни имени явления, но, дорогой ученик и товарищ такой-то, когда мы выясним и вместе обсудим это, выясним причину и определим следствие, тогда придет наша пора, пора сказать некое слово — и скажем. И если случится, что вы разберетесь во всем этом первый, немедленно сообщите, адрес вы знаете: стоя над рекой на закате дня, когда умирают укушенные змеей, звонить велосипедным звонком, а лучше — звенеть деревенской косой, приговаривая: коси, коса, пока роса, или: коси-коси, ножка, где твоя дорожка, и так далее, пока загорелый учитель Павел не услышит и, приплясывая, не выйдет из дома, не отвяжет лодку, не прыгнет в нее, не возьмет в руки самодельные греби, не перегребет Лету, не сойдет на твоем берегу, не обнимет, не поцелует, не скажет добрых загадочных слов, не получит, нет, не прочитает отправленного письма, ибо его, вашего учителя, нету в живых, вот беда, вот незадача, нету в живых, а вы — живите, пока не умрете, качайте пиво из бочек и детей в колясках, дышите воздухом сосновых боров, бегайте в лугах и собирайте букеты — о цветы! как ненаглядны вы мне, как ненаглядны. Покидая сей мир, жаждал увидеть букет одуванчиков, но не дано было. Что принесли в дом мой в последний час мой, что принесли? Шелк и креп принесли, одели в ненавистный двубортный пиджак, отняли летнюю шляпу, многократно

пробитую ревизорским компостером, надели какие-то брюки, дрянные — не спорьте — дрянные брюки за пятьдесят потных рублей, я никогда не носил таких, это мерзко, липнут, тело мое не дышит, не спится, а галстук, о! они нацепили мне галстук в горошек, снимите немедленно, откройте меня и снимите хотя бы галстук, я вам не какая-нибудь канцелярская крыса, я никогда — поймите же — не ваш, не ваш — никогда не носил никаких галстуков. Неразумные, неразумные бедняги, оставшиеся жить, больные бледной немочью и мертвее меня, вы, знаю, сложились на похороны и купили весь этот шутовской наряд, да как вы посмели надеть на меня жилетку и кожаные полуботинки с металлическими полузаклепками, каких я никогда не носил при жизни, ах, вы не знали, вы полагали, будто я получаю пятьсот потных рублей в месяц и покупаю те же непотребные тряпки, что и вы. Нет, проходимцы, вам не удалось оболгать меня живого, а мертвого тем паче не удастся. Нет, я не ваш, и никогда не получал больше восьмидесяти, но то были другие, не ваши, то были ветрогоновы чистые деньги, не запятнанные ложью ваших мерзостных теорий и догм, лучше избейте меня, мертвого, но снимите это, верните мне шляпу, пробитую компостером констриктора, верните все, что изъяли, мертвому положены его вещи, дайте ковбойку, сандалии в стиле римской империи эпохи строительства акведука, их я положу под мою лысеющую голову, потому что все равно, назло вам — даже и в долинах небытия — стану ходить босой, и брюки, мои залатанные брюки — вы не имеете права, мне жарко в вашем дерьме, сдайте на комиссию ваше ничто, раздайте деньги тем, кто отдавал их, я не хочу ни копейки от вас, нет, не хочу, и не навязывайте мне галстук, иначе я плюну в ваши изъеденные червями хари своей отравленной жгучей слюной, оставьте в покое учителя географии Павла Петровича! Да, я кричу и буду кричать бессонно-всегда, я кричу о великом бессмертии великого учителя Савла, я желаю быть вам неистово-отвратительным, я буду врываться в ваши сны и явь, как хулиган врывается в класс во время урока, врываться с окровав-

ленным языком, и, неумолимый, буду кричать вам о своей недостижимой и прекрасной бедности, вы же не пытайтесь задобрить меня подарками, мне не нужны ваши потные тряпки и гнойные рубли, и прекратите музыку, или я сведу вас с ума криком честнейшего из умерших. Слушайте мой приказ, мой вопль: дайте же мне одуванчиков и принесите мои одежды! И к черту вашу сопливую похоронную музыку, гоните пинками в зад проспиртованных оркестрантов. Вонючие дряни, могильные жуки! Заткните глотки любителям панихид, прочь от тела моего, или я восстану и сам прогоню всех поганой школьной указкой, я — Павел Петрович, учитель географии, крупнейший вращатель картонного шара, я ухожу от вас, чтобы прийти, пустите!

Так говорил учитель Павел, стоя на берегу Леты. С умытых ушей его капала вода реки, а сама река медленно струилась мимо него и мимо нас вместе со всеми своими рыбами, плоскодонками, древними парусными судами, с отраженными облаками, невидимыми и грядущими утопленниками, лягушачьей икрой, ряской, с неустанными водомерами, с оборванными кусками сетей, с потерянными кем-то песчинками и золотыми браслетами, с пустыми консервными банками и тяжелыми шапками мономахов, пятнами мазута, с почти неразличимыми лицами паромщиков, с яблоками раздора и грушами печали и с маленькими обрезками ниппельных шлангов, не имея которых нельзя кататься на велосипеде, ибо ты не можешь накачать камеру, если не наденешь такую резиновую трубочку на вентильный стержень, а тогда все пропало, ведь если велосипедом невозможно пользоваться, то его как бы не существует, он почти исчезает, а без велосипеда на даче нечего делать: не съездишь за керосином, не прокатишься до пруда и обратно, не встретишь на станции доктора Заузе, прибывшего семичасовой электричкой: он стоит на платформе, оглядывается, смотрит во все стороны, а тебя нет, хотя вы договорились, что непременно встретишь его, и вот он стоит, ждет, а ты все не едешь,

поскольку не можешь найти хороший шланг, но доктор не знает об этом, впрочем, уже смутно догадывается: наверное, предполагает он, у больного такого-то что-нибудь не в порядке с веломашиной, скорее всего с ниппелем, обычная история, с этими шлангами сплошное наказание, жаль, что я не догадался купить в городе метра два-три, ему хватило бы на все лето,— размышляет доктор. Извини, пожалуйста, а что сказал нам Павел Петрович, давая книгу, которая так не понравилась отцу? Ничего, учитель не сказал ничего. А по-моему, он сказал: книга. Даже так: вот книга. И даже больше того: вот вам книга, сказал учитель. А что сказал отец по поводу книги, когда мы передали ему наш разговор с Павлом? Отец не поверил ни одному из слов сказанных. Почему, разве мы говорили неправду? Нет, правду, но ты же знаешь отца нашего, он не верит никому, и когда я однажды заметил ему об этом, он ответил, что весь свет состоит из негодяев и только негодяев, и если бы он верил людям, то никогда бы не стал ведущим прокурором города, а работал бы в лучшем случае домоуправом, подобно Сорокину, или дачным стекольщиком. И тогда я спросил отца про газеты. А что — газеты? — отозвался отец. И я сказал: ты все время читаешь газеты. Да, читаю,— отвечал он,— газеты читаю, ну и что же. А разве там ничего не написано? — спросил я. Почему ж,— сказал отец,— там все написано, что нужно — то и написано. А если,— спросил я,— там что-то написано, то зачем же читать: негодяи же пишут. И тогда отец сказал: кто негодяи? И я ответил: те, кто пишут. Отец спросил: что пишут? И я ответил: газеты. Отец молчал и смотрел на меня, я же смотрел на него, и мне было немного жаль его, потому что я видел, как он растерялся, и как по большому белому лицу его, как две черные слезы, ползли две большие мухи, а он даже не мог смахнуть их, поскольку очень растерялся. Затем он тихо сказал мне: убирайся, я не желаю тебя видеть, сукин ты сын, убирайся куда хочешь. Дело было на даче. Я выкатил из сарая велосипед, привязал к раме сачок и поехал по дорожке нашего сада. В саду уже зрели первые

яблоки, и мне казалось, я видел, что в каждом из них сидят черви и без устали грызут наши, то есть отцовы, плоды. И я думал: явится осень, а собирать в саду будет нечего, останется одна гниль. Я ехал, а сад все не кончался, ибо ему все не было конца, а когда конец наступил, я увидел перед собой забор и калитку, и у калитки стояла мама. Добрый день, мама,— крикнул я,— как ты сегодня рано с работы! Бог с тобой, с какой работы,— возражала она,— я не работаю с тех пор, как ты пошел в школу, скоро четырнадцать лет. А, вот как,— сказал я,— значит, я просто-напросто забыл, я слишком долго мчался по саду, наверное, все эти годы, и многое вылетело из головы. Знаешь, в зябликах, вернее, в яблоках нашего вертограда сидят черви, надо что-нибудь придумать, какое-нибудь средство, а то останется сплошная труха и есть будет совершенно нечего, не сваришь даже варенья. Мать глянула на мой сачок и спросила: ты что, опять поссорился с отцом? Я не хотел огорчать ее и ответил так: немного, мама, мы беседовали о первопечатнике Федорове Иоанне, я высказал убеждение, что он — аз, буки, веди, глаголь, добро, есть, живете, земля, ижица и так далее, а отец не поверил и посоветовал мне поехать половить бабочек, и вот я еду. До свидания, мама,— закричал я,— еду себе, еду за луговыми желтушками, да здравствует лето, весна и цветы, величие мысли, могущество страсти, а также любви, доброты, красоты! Дин-дон, бим-бом, тик-так, тук-тук, скрип-скряп. Я недаром перечислил эти звуки, это мои любимые звуки, звуки летящего по дачной тропинке веселого велосипеда, а весь поселок уже запутался в паутине маленьких пауков, пусть до настоящей осени и было еще далеко. Но паукам все равно, до свидания, мама, не горюй, мы еще встретимся. Она крикнула: вернись! — и я оглянулся: мать тревожно стояла у калитки, и я подумал: если вернусь, ничего хорошего из этого не выйдет: мать непременно станет плакать, заставит покинуть седло велосипеда, возьмет под руку, и мы через сад возвратимся на дачу, и мать начнет мирить меня с отцом, на что потребуется еще несколько лет, а жизнь, которую в нашем и в соседних поселках

принято измерять сроками так называемого в р е м е н и, днями лета и годами зимы, жизнь моя остановится и будет стоять, как сломанный велосипед в сарае, где полно старых выцветших газет, деревянных чурок и лежат ржавые плоскогубцы. Да, ты не хотел примирения с отцом нашим. Вот почему, когда мать крикнула тебе вослед в е р н и с ь! — ты не вернулся, хотя тебе было чуточку жаль ее, нашу терпеливую мать. Оглянувшись, ты увидел ее большие глаза цвета пожухлой травы, в них медленно оживали слезы и отражались какие-то высокие деревья с удивительной белой корой, тропинка, по которой ты ехал, и ты сам со своими длинными худыми руками и тонкой шеей, и ты — в своем неостановимом движении от. Человеку со стороны, замученному химерами знаменитого математика Н. Рыбкина, составителя многих учебников и сборников задач и упражнений, человеку без воображения, без фантазии, ты показался бы в те минуты скучным велосипедистом имярек, держащим путь свой из пункта А в пункт Б, чтобы преодолеть положенное количество километров, а потом навсегда исчезнуть в облаке горячей дорожной пыли. Но я, посвященный в высокие помыслы твои и стремления, знаю, что в упомянутый день, отмеченный незаурядной солнечной погодой, ты являл собою иной, непреходящий во времени и пространстве тип велосипедиста. Непримиримость с окружающей действительностью, стойкость в борьбе с лицемерием и ханжеством, несгибаемая воля, твердость в достижении поставленной цели, исключительная принципиальность и честность в отношениях с товарищами — эти и многие другие замечательные качества ставили тебя вне обычного ряда велосипедистов. Ты был не только и не столько велосипедистом, сколько велосипедистом-человеком, веломашинистом-гражданином. Право, мне как-то неловко, что ты так хвалишь меня. Я уверен, что совсем не сто́ю этих красивых слов. Мне представляется даже, я неправильно поступил в упомянутый день, я, наверное, должен был вернуться на зов матери и успокоить ее, но я ехал и ехал со своим сачком, и мне было безразлично, как и куда ехать, мне

было просто хорошо ехать, и как это обычно бывает со мной, когда мне никто не мешает мыслить, я просто мыслил обо всем, что видел.

Помню, я обратил внимание на чью-то дачу и подумал: вот дача, в ней два этажа, здесь кто-то живет, какая-нибудь семья. Часть семьи живет всю неделю, а часть только в субботу и в воскресенье. Потом я увидел небольшую двухколесную тележку, она стояла на опушке рощи, возле сенного стога, и я сказал себе: вот тележка, на ней можно возить разные вещи, как-то: землю, гравий, чемоданы, карандаши фабрики имени Сакко и Ванцетти, дикий мед, плоды манговых деревьев, альпенштоки, поделки из слоновой кости, дранку, собрания сочинений, клетки с кроликами, урны избирательные и для мусора, пуховики и наоборот — ядра, краденые умывальники, табели о рангах и мануфактуру периода Парижской коммуны. А сейчас вернется некто и станет возить на тележке сено, тележка очень удобная. Я увидел маленькую девочку, она вела на веревке собаку — обыкновенную, простую собаку,— они шли в сторону станции. Я знал, сейчас девочка идет на пруд, она будет купаться и купать свою простую собаку, а затем минует сколько-то лет, девочка станет взрослой и начнет жить взрослой жизнью: выйдет замуж, будет читать серьезные книги, спешить и опаздывать на работу, покупать мебель, часами говорить по телефону, стирать чулки, готовить есть себе и другим, ходить в гости и пьянеть от вина, завидовать соседям и птицам, следить за метеосводками, вытирать пыль, считать копейки, ждать ребенка, ходить к зубному, отдавать туфли в ремонт, нравиться мужчинам, смотреть в окно на проезжающие автомобили, посещать концерты и музеи, смеяться, когда не смешно, краснеть, когда стыдно, плакать, когда плачется, кричать от боли, стонать от прикосновений любимого, постепенно седеть, красить ресницы и волосы, мыть руки перед обедом, а ноги — перед сном, платить пени, расписываться в получении переводов, листать журналы, встречать на улицах старых знакомых, выступать на

собраниях, хоронить родственников, греметь посудой на кухне, пробовать курить, пересказывать сюжеты фильмов, дерзить начальству, жаловаться, что опять мигрень, выезжать за город и собирать грибы, изменять мужу, бегать по магазинам, смотреть салюты, любить Шопена, нести вздор, бояться пополнеть, мечтать о поездке за границу, думать о самоубийстве, ругать неисправные лифты, копить на черный день, петь романсы, ждать ребенка, хранить давние фотографии, продвигаться по службе, визжать от ужаса, осуждающе качать головой, сетовать на бесконечные дожди, сожалеть об утраченном, слушать последние известия по радио, ловить такси, ездить на юг, воспитывать детей, часами простаивать в очередях, непоправимо стареть, одеваться по моде, ругать правительство, жить по инерции, пить корвалол, проклинать мужа, сидеть на диете, уходить и возвращаться, красить губы, не желать ничего больше, навещать родителей, считать, что все кончено, а также — что вельвет (драпбатистшелкситецсафьян) очень практичный, сидеть на бюллетене, лгать подругам и родственникам, забывать обо всем на свете, занимать деньги, жить, как живут все, и вспоминать дачу, пруд и простую собаку. Я увидел сосну, опаленную молнией: желтые иглы. Я представил себе июльскую грозовую ночь. Сначала в поселке было тихо и душно, и все спали с открытыми окнами. Потом тайно явилась туча, она заволокла звезды и привела с собой ветер. Ветер дунул — по всему поселку захлопали рамы, двери, и зазвенели разбитые стекла. Затем в полной темноте загудел дождь: он намочил крыши, сады, оставленные в садах раскладушки, матрацы, гамаки, простыни, детские игрушки, буквари — и все остальное. В дачах проснулись. Зажигали, но тут же гасили свет, ходили по комнатам, смотрели в окна и говорили друг другу: ну и гроза, ну и льет. Били молнии, яблоки дозревали и падали в траву. Одна молния ударила совсем рядом, никто не знал, где именно, однако сходились на том, что где-то прямо в поселке, и те, у кого на крыше не было громоотводов, давали себе слово, что завтра же поставят. А молния попала в сосну, которая жила на

краю леса, но не сожгла, а лишь опалила ее, причем осветила весь лес, поселок, станцию, участок железнодорожной ветки. Молния ослепила идущие поезда, посеребрила рельсы, выбелила шпалы. А потом — о, я знаю,— потом ты увидел дом, где жила та женщина, и ты оставил велосипед у забора и постучал в ворота: тук-тук, милая, тук-тук, вот пришел я, твой робкий, твой нежный, открой и прими меня, открой и прими, мне ничего от тебя не нужно, я только взгляну на тебя и уеду, не прогоняй меня, только не прогоняй, милая, думаю о тебе, плачу и молюсь о тебе.

Нет-нет, я ничего не скажу тебе, ты не имеешь права расспрашивать меня о моих личных делах, тебе не должно быть до той женщины никакого дела, не приставай, ты дурак, ты больной человек, я не хочу тебя знать, я позвоню доктору Заузе, пусть он отвезет тебя снова туда, потому что ты надоел и противен мне, кто ты такой, почему ты лезешь ко мне с расспросами, перестань, лучше перестань или я что-нибудь с тобой сделаю, что-нибудь нехорошее. Не притворяйся, будто ты не знаешь, кто я такой; если ты называешь меня сумасшедшим, то ты сам точно такой же сумасшедший, потому что я — это ты сам, но ты до сих пор не хочешь понять этого, и если ты позвонишь доктору Заузе, тебя отправят туда вместе со мной, и ты не сможешь видеть ту женщину два или три месяца, а когда мы выпишемся, я приду к той женщине и скажу о тебе всю правду, я скажу ей, что тебе вовсе не столько-то лет, как ты утверждаешь, а всего столько-то, и что ты учишься в школе для дураков не по собственному желанию, а потому, что в нормальную школу тебя не приняли, ты болен, как и я, ужасно болен, ты почти идиот, ты не можешь выучить ни одного стихотворения, и пусть женщина немедленно бросит тебя, навсегда оставит стоять одного на темном пригородном перроне, да, снежной ночью, когда все фонари разбиты и все электрические поезда ушли, и я скажу ей: тот человек, который хочет вам понравиться, недостоин вас, и вы не можете

быть с ним, поскольку он никогда не сможет быть с вами как с женщиной, он обманывает вас, он сумасшедший сопляк, плохой ученик спецшколы и не в состоянии выучить ничего наизусть, и вы, тридцатилетняя серьезная женщина, вы должны забыть, оставить его на заснеженном перроне ночью и отдать предпочтение мне, настоящему человеку, взрослому мужчине, честному и здоровому, ибо я очень хотел бы этого и без труда выучиваю наизусть любое стихотворение и решаю любую задачу жизни. Врешь, это подлость, ты не скажешь ей так, потому что ничем не отличаешься от меня, ты такой же, такой же глупый и неспособный и учишься вместе со мной в одном классе, ты просто решил избавиться от меня, ты любишь ту женщину, а я мешаю тебе, но у тебя ничего не получится, я сам приду к ней и расскажу всю правду — о себе и о тебе, я признаюсь, что люблю ее и хотел бы всегда, целую жизнь быть с ней, хотя ни разу, никогда не пробовал быть ни с одной женщиной, но, наверное, да, конечно, для нее, для той женщины, это не имеет значения, ведь она так красива, так умна — нет, не имеет значения! — и если я даже не сумею быть с ней как с женщиной, она простит мне, ведь это не нужно, не обязательно, а про тебя я скажу ей так: скоро к вам явится человек, чем-то похожий на меня, он постучит в дверь: тук-тук, он попросит, чтобы вы бросили меня одного на заснеженном перроне, потому что я больной, но, пожалуйста, пожалуйста, скажу я, не верьте ему, ничему не верьте, он сам рассчитывает быть с вами, но он не имеет на это никакого права, потому что гораздо хуже меня, вы поймете это сразу, как только он явится и заговорит, так не верьте же ему, не верьте, в связи с тем, что его нет на свете, не существует, не имеет места, не есть, нет его, нет, милая, один я, один пришел к тебе, тихий и светлый, добрый и чистый, так скажу я ей, а ты, ты, которого нет, запомни: у тебя ничего не выйдет: ты любишь ту женщину, но не знаешь ее, не знаешь, где она живет, не знаешь ее имени, как же ты придешь к ней, безмозглый дурак, ничтожество, несчастный

ученик спецшколы! Да, я люблю, я наверное люблю ту женщину, но ты в заблуждении, ты уверен, что я не знаю ее, и где она живет, а я — знаю! ты понял меня? я знаю о ней все, даже ее имя. Ты не можешь, ты не должен знать это имя, ее имя знаю только я — один на всем свете. Ты просчитался: Вета, ее зовут Вета, я люблю женщину по имени Вета Акатова.

Когда наши дачи окутает сумрак, и небесный ковш, опрокинувшись над землей, прольет свои росы на берега восхитительной Леты, я выхожу из дома отца моего и тихо иду по саду — тихо, чтобы не разбудить тебя, странного человека, живущего рядом со мной. Я крадусь по своему старому следу, по травам и по песку, стараясь не наступать на пылающих светляков и на спящих стрекоз симпетрум. Я спускаюсь к реке, и мое отражение улыбается мне, когда я отвязываю от корявой ветлы отцовскую лодку. Я смазываю уключины густой и темной водой, почерпнутой из реки,— и путь мой лежит за вторую излучину, в Край Одинокого Козодоя, птицы хорошего лета. Путь мой ни мал, ни велик, я сравню его с ходом тусклой швейной иглы, сшивающей облако, ветром разъятое на куски. Вот я плыву, качаясь на волнах призрачных пароходов, вот я миную первую излучину и вторую и, бросив весла, гляжу на берег: он плывет мне навстречу, шурша камышами и покрякивая добрым утиным голосом. Доброй ночи, Берег Одинокого Козодоя, это я, каникулярный ученик специальной школы — такой-то, разреши мне, разреши мне оставить у твоих замечательных камышовых котов лодку отца моего, позволь мне пройти по тропинкам твоим, я хотел бы навестить женщину по имени Вета. Я поднимаюсь на высокий холмистый берег и шагаю в сторону высокого глухого забора, за которым угадывается дом с веселыми деревянными башенками по углам, но только угадывается, на самом деле в такую темную ночь среди тугих сплетений акаций и других высоких кустарников и дерев не различишь ни самого дома, ни башенок. Лишь на втором

этаже, в мансарде, ясно и зелено горит и светит идущему мне лампа Веты Аркадьевны, моей загадочной женщины Веты. Я знаю место, где можно легко перелезть через забор, я перелезаю через него и слышу, как по высоким газонам парка мне навстречу бежит ее простая собака. Я достаю из кармана кусок колотого сахару и даю собаке,— лохматая, желтая, она машет хвостом и смеется, она знает, как я люблю мою Вету, и никогда меня не укусит. И вот я подхожу к самому дому. Это очень большая дача, в ней много комнат, ее построил отец Веты, натуралист, старый ученый с мировым именем, который в молодости пытался доказать, что так называемые галлы — вздутия на различных частях растений — не что иное, как жилища вредных личинок насекомых, и что вызываются они, галлы, главным образом, уколами различных ос, комаров и жуков-слоников, которые откладывают в эти растения свои яйца. Но ему, академику Акатову, мало кто верил, и однажды к нему в дом пришли какие-то люди в заснеженных пальто, и академика куда-то надолго увели, и где-то там, неизвестно где, били по лицу и в живот, чтобы Акатов никогда больше не смел утверждать всю эту чепуху. А когда его отпустили, выяснилось, что прошло уже много лет, и он состарился и плохо стал видеть и слышать, зато вздутия на различных частях растений остались, и все эти годы, как убедились люди в заснеженных пальто, во вздутиях действительно жили вредные личинки, вот почему они, личинки, то есть нет, люди, а может быть те и другие вместе, решили отпустить академика, а также выдать ему поощрительную премию, чтобы он построил себе дачу и спокойно, без помех, исследовал галлы. Акатов так и поступил: построил дачу, посадил на участке цветы, завел собаку, развел пчел и исследует галлы. А сейчас, в ночь моего прихода в Край Одинокого Козодоя, академик затерялся в одной из спален особняка и спит, не зная, что я пришел и стою под окном его дочери Веты и шепчу ей: Вета Вета Вета это я ученик специальной школы такой-то отзовись я люблю тебя.

Глава вторая
ТЕПЕРЬ
рассказы, написанные на веранде

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ. Он уезжал в армию. Он понимал, что три года не пройдут для него быстро: они будут похожи на три северные зимы. И не важно, куда его пошлют служить, пусть даже на юг,— все равно любой год из трех окажется невероятно длинной снежной зимой. Он думал так сейчас, когда шел к ней. Она не любила его. Она была слишком хороша, чтобы любить его. Он знал это, но ему недавно исполнилось восемнадцать, и он не мог не думать о ней каждую минуту. Он замечал, что думает о ней постоянно, и радовался, что ничего не хочет от нее, и значит действительно любит. Эта история продолжалась два года; он удивлялся, что не хочет думать больше ни о чем, и это не надоедает. А вообще-то, размышлял он, с этим надо кончать. Сегодня его провожают в армию, а завтра он уедет куда-нибудь далеко, в три зимы, и все там забудет. Он ей не напишет ни одного письма: она все равно не ответит. Вот он придет к ней и все расскажет. Он вел себя страшно глупо. Вечерами он гулял под ее окнами допоздна, а когда окна гасли, зачем-то еще стоял и стоял, глядя на черные стекла. Потом шел домой, там курил на кухне до утренних сумерек, стряхивая пепел на обшарпанный пол. Из окна виден был ночной дворик с беседкой. На беседке всегда светил фонарь, под которым прибили доску с надписью: «Летняя читальня». На рассвете взлетали голуби. Шагая в знобящих утрах призывной осени, он ощущал странную невесомость тела, которая сплеталась в его сознании с необъяснимостью всего, что он знал и чувствовал. В такое время он задавал себе много разных вопросов, но обычно не находил ответа ни на один — он шел к дому, где жила она. Она выходила из подъезда в половине восьмого и всегда миновала двор торопясь, а он наблюдал за ней из фанерной беседки, на которой тоже висел фонарь и такая же доска — «Летняя читальня». Глупая

вывеска, думал он, глупая, летом никто не читает в беседке. Думая так, он следовал за девушкой на таком расстоянии, чтобы она не слышала и не чувствовала его за собой. Сейчас он вспоминал все это и понимал, что сегодня последний день, когда он сможет увидеть: девушку, двор, где она живет, «Летнюю читальню» в ее дворе. Он поднимается на второй этаж и стучит в ее дверь.

ТРИ ЛЕТА ПОДРЯД. Ее отец и я — мы работали в одном театре. Ее отец был актер, а я работал рабочим сцены. Однажды после спектакля он повез меня к себе домой, угостил заграничным вином и познакомил с ней. Они жили вдвоем на втором этаже желтого двухэтажного барака. Из окна их комнаты можно было увидеть другой такой же барак и маленькое кладбище с церковью посредине. Я забыл, как звали дочку актера. Но даже если бы я помнил сейчас ее имя, то не стал бы называть: какое вам дело. Так вот, она жила в желтом бараке на окраине города и была дочерью актера. Очень может быть, что вам нет до нее никакого дела. Но тогда вы можете не слушать. Никто никого не заставляет. А если говорить серьезно, то вы можете вообще ничего не делать — и я не скажу вам ни слова. Только не старайтесь узнать ее имя, а то я вообще не буду рассказывать. Мы встречались три года: три зимы и три лета подряд. Она часто приезжала в театр и просиживала целые спектакли в полупустом зале. Я смотрел на нее, стоя за дырявой кулисой — моя девушка сидела всегда в третьем ряду. Ее отец играл маленькие эпизодические роли и появлялся не больше трех раз за все представление. Я знал, что она мечтает, чтобы отец хоть раз получил большую роль. Но я догадывался, что он не получит хорошей роли. Потому что если актер за двадцать лет не получил стоящей роли, он никогда ее не получит. Но я не говорил ей об этом. Я не говорил ей об этом ни тогда, когда мы гуляли по очень вечерним и очень зимним улицам города после спектаклей и бегали за скрипящими на поворотах трамваями, чтобы согреться; ни тогда, когда мы в дождливые дни

ходили в планетарий и целовались в пустом темном зале под искусственным звездным небом. Я не говорил ей об этом ни в первое лето, ни во второе, ни в третье, когда ее отец уехал на гастроли, и мы торопливыми ночами бродили на маленьком кладбище вокруг церкви, где росли сирень, бузина и верба. Я не говорил ей об этом. И еще я не говорил ей о том, что она некрасива и что я, наверное, когда-нибудь не буду гулять с ней. И еще я не говорил ей о других девушках, с которыми я встречался раньше или в другие дни того же времени. Я только говорил, что люблю ее — и любил. А может, вы думаете, что можно любить только красивых девушек, или думаете, когда любишь одну, то нельзя гулять с другими? Так ведь я уже сказал вам — вы можете вообще ничего не делать в своей жизни, в том числе не гулять ни с одной девушкой на свете — и я не скажу вам ни слова. Но не в этом дело. Речь идет не о вас, а о ней. Это ей я говорил, что люблю ее. И сейчас, если я когда-нибудь встречу ее, мы пойдем с ней в планетарий или на заросшее бузиной кладбище, и там, как и много лет назад, я снова скажу ей об этом. Не верите?

КАК ВСЕГДА В ВОСКРЕСЕНЬЕ. А прокурор терпеть не мог родственников. Я вставлял ему стекла, а тут понаехала на дачу родня, и он ходил по участку весь какой-то белый с газетой под мышкой. Он был белый, как те места в газете, где ничего не написано. А все в дачном поселке и в деревне за лугом знали, что он терпеть не может ни родственников, ни беспорядка, потому что где родственники — там беспорядок, а где беспорядок — там и пьянка. Это он так говорит. Я сам слышал. Я вставлял ему стекла, а он в это время говорил так жене. И жена у него тоже интересная. Я ей и стекла сколько раз вставлял, и печь перекладывал, и сарай мастерил, а ни разу не угостила. Деньги дает, а насчет этого всегда ноль. Я за любую работу берусь. Я у людей гальюны чищу, а вот у прокурора не приходилось. Мне жена его не разрешает. Нечего, говорит, вам пачкаться — я сама. И правда. Раз весной я им стекла

вставляю, а она берет в сарае лопату специальную — и давай дерьмо под деревья таскать. Потом она с этим делом покончила и попросила, чтобы я замок в гальюне врезал, чтобы можно было на зиму запирать, чтобы соседи ничего зря не таскали. А то таскают, говорит, почем зря: с удобрениями, мол, сейчас тяжело. Замок я, конечно, врезал, а потом сосед ихний, товарищ прокурора, попросил меня ключ к замку прокурорскому подобрать. Ну, угостил, все как следует быть. Ну и подобрал я ему, конечно, ключ. Только потом разговор такой в комендатуре слышу, что вроде бы у прокурора гальюн обчистили, когда прокурор в городе был. А мне-то что — я в комендатуре стекла вставляю, да и все. Мне в этом поселке работы на всю жизнь хватит. Зимой шпана всякая на дачах живет — стекла бьют, печки рушат, а мне и лучше. Как снег сошел — так и у меня работа пошла. Вот и позвал меня прокурор стекла чинить. Ему наши деревенские все стекла за зиму выбили. Даже на чердаке. И еще крышу на веранде проломили. Тоже моя забота. Будет время — и крышу починю. А в тот день с утра стекла вставляю. Прокурор в гамаке газету читает — то заснет, то проснется. Жена его в то же самое время яму огромную копает посреди участка. Зачем, спрашиваю. Я, отвечает, к яме по всему участку канавки проведу, чтобы все дожди мои были. Ладно, думаю, копай, а я стекла буду вставлять. А прокурор, говорю, то заснет, то проснется, а то уйдет из гамака, подойдет к забору и переговаривается с соседом, с товарищем прокурора. Что это, товарищ прокурор, говорит товарищ прокурора, у вас стекол-то совсем ноль? Да вот, прокурор отвечает, зимой здесь ветры, наверное, сильные — ветром и выдавило. Да, товарищ прокурора говорит, я слышал, у вас недавно и гальюн обчистили? Да, прокурор говорит, обчистили — хулиганье проклятое. Жаль, товарищ прокурора говорит, неприятно. А ведь сам же, сукин кот, и обчистил. А забавный человек этот товарищ прокурора. На дачу едет — одет как человек, а только приехал — это сразу на голову колпак какой-то, на себя рвань всякую натягивает, на ноги — галоши, и веревкой подпо-

ясывается, а галоши веревочками подвязывает. Ладно, думаю, подвязывай, а я стекла стану вставлять. А вечером я с тебя, дерьмокрада, трехрублевку сдеру. А не дашь — товарищу прокурору обо всем доложить придется. Прокурор, он ведь беспорядка терпеть не может. И родственников. А они как раз к обеду и подъехали. Прокурор — он побелел весь, говорю, даже газету перестал читать. Ходит по участку — ногами одуванчики топчет. Он и сам на одуванчика похож — круглый и как пустая газета белый, а родственников у него полно — человек девять подъехало к обеду. Все веселые, игры сразу на траве затеяли, мальчишку прокурорского в ларек сразу послали. Ну и выступили мы в тот раз с ними. Славные же люди. Кто кондуктором в городе, кто шоферит, а двое лифтеры. Еще один тренер, и еще — экскаваторщик. И с ним дочка его была. У нас с ней все хорошо получилось, в самую тютельку. И погода как раз сухая оказалась — как всегда в воскресенье.

РЕПЕТИТОР. Учитель физики жил в переулке. Он был моим репетитором, и я на троллейбусе два раза в неделю приезжала к нему, чтобы заниматься. Мы занимались в маленькой комнате в полуподвале, где учитель жил вместе с несколькими родственниками, но я никогда не видела их и ничего о них не знаю. Я сейчас расскажу о самом учителе и еще о том, как и чем мы с ним занимались тем душным летом, и какой запах был в том переулке. В этом переулке постоянно и сильно пахло рыбой, потому что где-то рядом был магазин «Рыба». Сквозняк гнал запах по переулку, и запах проникал через открытое окно к нам в комнату, где мы рассматривали неприличные открытки. У репетитора была большая коллекция этих открыток — шесть или семь альбомов. Он специально бывал на разных вокзалах города и покупал у каких-то людей целые комплекты таких фотографий. Учитель был толстый, но красивый, и лет ему было не слишком много. В жару он потел и включал настольный вентилятор, но это не особенно помогало, и он все равно потел. Я всегда

смеялась над этим. Когда нам надоедало смотреть открытки, он рассказывал мне анекдоты, и нам было спокойно и весело вдвоем в комнате с вентилятором. И еще он рассказывал мне про своих женщин. Он говорил, что у него в разное время было много разных женщин: большие, маленькие и разного возраста, но он до сих пор не решил, какие все-таки лучше — маленькие или большие. Когда как, говорил он, когда как, все зависит от настроения. Он рассказывал, что был на войне пулеметчиком и там, в семнадцать лет, стал мужчиной. В то лето, когда он был моим репетитором, мне тоже исполнилось семнадцать лет. В институт я не поступила, и за это мне здорово досталось от родителей. Я завалила физику и пошла медсестрой в больницу. На следующий год я поступала в другой институт, где не нужно было сдавать физику,— и поступила. Правда, потом меня отчислили со второго курса, потому что застали в общежитии с одним парнем. У нас с ним ничего не было, просто мы сидели и курили, и он целовал меня, а дверь комнаты была закрыта. А когда стали стучаться, мы долго не открывали, а когда открыли, нам никто не поверил. Теперь я работаю телеграфисткой на станции. Но это неважно. Своего репетитора я не видела почти десять лет. Сколько раз я пробегала или проезжала на троллейбусе мимо его переулка, но ни разу не зашла. Я не знаю, почему так происходит в жизни, что никак не можешь сделать чего-то несложного, но важного. Несколько лет я проходила совсем близко от того дома и всегда думала о моем физике, вспоминала его смешные открытки, вентилятор, его корявую деревянную трость, с которой он для важности выходил даже на кухню посмотреть чайник. И все-таки недавно, когда мне было грустно, я зашла. Я позвонила два раза, как раньше. Он вышел, я поздоровалась, он тоже поздоровался, но почему-то не узнал меня и даже не пригласил в комнату. Я просила, чтобы он постарался вспомнить меня, напоминала, как мы смотрели открытки, говорила о вентиляторе, о том лете — он ничего не помнил. Он сказал, что когда-то у него действительно было много учеников и учениц, но теперь он

не помнит почти никого. Идут, говорит, годы, идут. Он немного постарел, мой физик.

БОЛЬНАЯ ДЕВУШКА. В июле ночи можно проводить на веранде — не холодно. А печальные и большие ночные бабочки почти не мешают: их легко отогнать дымом сигареты. В этом рассказе, который я пишу июльской ночью на веранде, речь пойдет о больной девушке. Она очень больна. Она живет на соседней даче вместе с человеком, которого считает своим дедушкой. Дедушка сильно пьет, он стекольщик, он вставляет стекла, ему не больше пятидесяти лет, и я не верю, что он ее дедушка. Однажды, когда я, как обычно, проводил ночь на веранде, ко мне постучалась больная девушка. Она пришла через калитку в заборе, который разделяет наши небольшие участки. Пришла через сад и постучалась. Я включил свет и отворил дверь. Лицо и руки ее были в крови — это стекольщик избил ее, и она пришла ко мне через сад, чтобы я помог ей. Я умыл ее, смазал ссадины зеленкой и напоил чаем. Она до утра просидела у меня на веранде, и мне казалось, что мы о многом успели поговорить. Но на самом деле мы молчали всю ночь, потому что она почти не умеет говорить и очень плохо слышит из-за своей болезни. Утром, как всегда, рассвело, и я проводил девушку домой по садовой тропинке. За городом, да и в Москве, я предпочитаю жить один, и тропинки вокруг моего дома едва намечены. В то утро трава в саду была белой от росы, и я пожалел, что не надел галоши. У калитки мы немного постояли. Она попыталась сказать мне что-то, но не смогла и заплакала от горечи и болезни. Девушка повернула вертушку, которая, как и весь забор, была мокрая от осеннего тумана, и побежала к своему дому. А калитка осталась открытой. С тех пор мы подружились. Она иногда приходит ко мне, и я что-нибудь рисую или пишу для нее на ватманских листках. Ей нравятся мои рисунки. Она рассматривает их и улыбается, а потом уходит домой через сад. Она идет, задевая головой ветки яблонь, оглядывается, улыбается мне или смеется. И я замечаю, что после каждого

ее прихода мои тропинки обозначаются, как будто, все лучше. Пожалуй и все. Больше мне нечего сказать о больной девушке из соседнего дома. Да, это небольшой рассказ. Даже совсем небольшой. Даже ночные мотыльки на веранде кажутся больше.

В ДЮНАХ. Хорошо встречаться с девушкой, мать которой работает на земснаряде: если кто-нибудь спросит, ты прямо так и скажешь — она работает на земснаряде. И каждый позавидует. Они углубляли фарватер, и круглые сутки по специльным трубам шла на берег жидкая песчаная каша со дна. Эта жижа шла на берег, и постепенно вокруг залива образовались песчаные дюны. Тут можно было загорать даже в самую ветреную погоду — лишь бы светило солнце. Я приезжал на остров на мотоцикле каждый день с утра и, стоя на самой высокой дюне, крутил над головой выцветшую ковбойку. Как только она с земснаряда замечала меня, она садилась в большую дырявую лодку, привязанную к барже, и быстро гребла к берегу. Здесь были наши, только наши дюны — потому что именно мать моей девушки намыла эти веселые сыпучие холмы. А лето было — как на цветных открытках, и пахло речной водой, ивой и смолой соснового бора. Бор был на другой стороне залива, и в конце недели там отдыхали люди с наборами бадминтона. А по заливу катались и беседовали в голубых лодках воскресные парочки. Но никто не высаживался на нашем берегу, и никто, кроме нас, не загорал в наших дюнах. Мы лежали на горячем, очень горячем песке и купались или бегали наперегонки, а земснаряд постоянно гудел, и плотная женщина в синем комбинезоне ходила по палубе, осматривая механизмы. Я глядел на нее издали, с берега, и всегда думал, что мне здорово повезло — я встречаюсь с девушкой, мать которой живет и работает на этой замечательной штуке. В августе начались дожди, и мы построили в дюнах шалаш из ивовых веток, хотя, понимаете, дело было не только в дождях. Шалаш стоял прямо у воды. Вечерами мы жгли костер — он отражался в заливе и высвечивал разные плывущие деревяшки.

Ну вот, а в самом конце лета мы поссорились, и с тех пор я ни разу не приезжал к ней. Осенью было чертовски грустно, и листья носились по всему городу как сумасшедшие. Ну что, еще по маленькой?

ДИССЕРТАЦИЯ. Творческий отпуск доцент проводил за городом. Он писал докторскую диссертацию по химии: делал выписки из книг, возился с пробирками, а между тем стоял удивительно теплый сентябрь. Кроме того, доцент любил пиво и перед обедом ходил в сарай, который стоял в глубине сада. Там, в сарае, в углу, в прохладе, была пивная бочка. С помощью резинового шланга доцент отсасывал немного пива в пятилитровый бидон и возвращался в дом, стараясь не расплескать влагу. Обед ему готовила дальняя родственница жены, явившаяся откуда-то издалека месяц назад как снег на голову, или как родственница жены, а сама жена у доцента давно умерла, и другой пока не было. Надо сказать, что завтрак и ужин готовила та же родственница жены, но обычно это бывало соответственно по утрам и вечерам, а в полдень она готовила именно обед. Во второй половине дня доцент гулял по дачному поселку или удил рыбу в пруду за березовой рощей. Рыбы в пруду не было и, как правило, доценту ничего не удавалось поймать. Но это не огорчало его, а чтобы не возвращаться домой с пустыми руками, он рвал на опушках поздние полевые цветы и составлял неплохие букеты. Вернувшись на дачу, он молча дарил цветы дальней родственнице, имя которой никак не мог вспомнить, а спросить забывал. Этой женщине было около сорока лет, но она любила знаки внимания как в двадцать, а по утрам делала зарядку за сараем. Доцент не знал об этом, но даже если бы сосед-стекольщик, который прекрасно знал об этом и не раз видал это из-за забора, даже если бы стекольщик сказал об этом доценту, тот бы ни за что не поверил, и уж во всяком случае никогда бы не стал подсматривать. Впрочем, однажды на заре ему неожиданно захотелось пива, и он на цыпочках, чтобы не шуметь, пошел в сарай, и пока пиво по шлангу лилось из бочки в бидон, доцент стоял

у запаутиненного пауками окошечка и смотрел, как родственница жены в легком купальном костюме скачет, приседает и машет руками на садовой лужайке. После завтрака доцент не работал, а занимался какой-то ерундой: достал с чердака два ржавых велосипеда, починил и накачал их, а потом погладил костюм и съездил на станцию за вином. Кроме вина, он купил шпроты и виноград и помог родственнице готовить обед. За обедом доцент говорил о том, какая замечательная погода стоит вот уже две недели, какие синие васильки растут в роще и какие замечательные ржавые велосипеды он достал с чердака. Вечером они катались. По шоссе. На велосипедах. Возвратились поздно — с цветами на рулях. На голове у родственницы был венок. Это доцент сам сплел ей венок. Это был сюрприз для нее, ведь она же не знала раньше, что он умеет плести венки и ремонтировать велосипеды. Да ведь и доцент не знал, что его, в сущности, родственница скачет на садовой лужайке. Каждое утро. В легком купальнике. И машет руками.

МЕСТНОСТЬ. Рядом проходит железная дорога, и желтые электрические поезда идут мимо озера. Одни поезда идут в город, а другие за город. А здесь — пригород. И поэтому даже в самую солнечную погоду все тут кажется ненастоящим. За линией железной дороги, за полосой отчуждения, большими домами начинается город, а в другой стороне, за озером, растет сосновый бор. Одни называют его парком, другие — лесом. Но на самом деле это — лесопарк. Здесь пригород, и, кажется, ничего определенного вокруг не увидишь. Когда-то местность эта считалась дачной, а теперь дачи стали просто старыми деревянными домами пригорода. Дома пахнут керосином, а живут в них пожилые тихие люди. Близко к лесопарку подходит одноколейная ветка железной дороги. Ветка ведет в тупик — поезда сюда не заходят. Рельсы заржавели, а шпалы сгнили. В тупике, на опушке лесопарка, стоят коричневые вагоны. В этих вагонах живут ремонтные рабочие. У них временная пригородная прописка, и у каждого большая

семья. Любой ремонтник знает, что в заболоченном озере рядом рыба не водится, но в выходные часы все они идут с удочками на берег и пытаются что-нибудь поймать. У одного рабочего, который живет в третьем от лесопарка вагоне, дочка восемнадцати лет. Она родилась здесь, в вагоне, и ей нравится все, что связано с железной дорогой, ей нравится вся эта пригородная местность. И еще ей нравится молодой человек из города, который нередко приезжает с приятелями в лесопарк поиграть в футбол на замусоренных полянах. Он хороший парень, ухаживает за дочкой ремонтника и уже не раз заходил к ним в гости на чай. Ему тоже нравятся эти вагончики в тупике. Знаете, пожалуй, он скоро женится на дочке ремонтника и станет бывать здесь еще чаще. Свадьба состоится в воскресный день, танцы устроят на берегу озера, а танцевать будут все — все, кто живет в коричневых вагончиках тупика.

СРЕДИ ПУСТЫРЕЙ. Наверху, на третьем, захлопнулась дверь, и я остался один. Через распахнутые окна в подъезд задувал ветер с пустырей, и здесь, на лестнице, было немногим теплее, чем на улице. Я закурил и вышел во двор, где на веревках сушилось белье жителей этого дома. Наволочки, простыни, пододеяльники надувались ветром. Я сел на влажную от росы скамейку: передо мной стоял невероятно длинный пятиэтажный дом: я никогда еще не видел такого длинного дома; тень от дома кончалась у моих ног. Я был освещен беспомощным солнцем сентября. По небу шли дряблые, похожие на мускулы стариков облака, а за спиной у меня зияли бесконечные окраинные пустыри, такие бесконечные, что даже городская свалка терялась среди них, и о ней напоминал только неприятный запах. Сигарета, которую я курил, быстро кончилась на ветру, а больше у меня не было, и я решил сходить в магазин. Но я не знал, где магазин. Я вообще ничего не знал здесь, у меня не было здесь ни знакомых людей, ни улиц, и я не знал, не хотел знать, что делает с моей невестой та женщина, которая согласилась помочь нам. Та женщина жила и лечила в этом длинном

однообразном доме. Пройдя по затененному двору, я обошел дом слева и выбрался на асфальтовую дорогу. Вокруг стояли новые здания, похожие на тот дом. Пожалуй, я немного боялся этих однообразных домов. Но я хотел курить и шел в магазин, делая вид, будто мне нет до них никакого дела. Да так оно и было, я только немного боялся их: они издали смотрели мне в спину и в глаза, а рядом никого не было. Но скоро я догнал девушку. Она несла две авоськи с продуктами, и я решил, что она знает, где можно купить сигарет. Я окликнул ее и спросил. Она сказала, что проводит меня до магазина, чтобы я не заблудился. Дул ветер. Зияли пустыри с домами. Возле домов на веревках болталось надутое постельное белье. На пустырях, поедая семена трав, шелестели огромные стаи воробьев. Девушка казалась очень худой, у нее что-то было с глазами, но я никак не мог разобрать, что именно, а потом понял: она была косая. Она вела меня и все объясняла, что и где находится в этом районе, но это было совершенно неинтересно и не нужно мне. Она зашла со мной в магазин, подождала, пока я куплю сигарет, и сказала, что хочет проводить меня до станции, где работает телеграфисткой. Мне не нужно на электричку, сказал я, не нужно. Девушка ушла. Недалеко от магазина торговала молочная цистерна на колесах. В очереди стояли пожилые, но болтливые женщины в старомодных пальто. У каждой был бидон, и все они, несмотря на холодный ветер, говорили не переставая. Одна толстуха, которая уже купила молока, отошла от цистерны, и я увидел, как она оступилась и выронила бидон. Бидон упал на асфальт, молоко выплеснулось, старуха тоже упала, покатилась. У нее было черное пальто, она сидела вся в молоке и пыталась подняться. Очередь перестала болтать и глядела на нее. Я тоже стоял и смотрел. Я, наверное, помог бы ей, но руки у меня были заняты: в одной сигареты, а в другой спички. Я закурил и пошел обратно, к тому дому, в котором что-то делали с моей невестой и который издали пристально смотрел мне в глаза.

*

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Гроб повис на зубце ковша и болтался над траншеей, и все было нормально. Но потом крышка открылась и все высыпалось на дно ямы. Тогда экскаваторщик вылез из кабины и осмотрел гроб и увидел, что в изголовье гроба было застекленное окошечко, а в гробу лежали кирзовые сапоги. И экскаваторщик очень жалел, что сапоги уже никак не починишь, иначе бы он взялся за это дело. Но сапоги оказались очень худыми, и у одного подошва сразу отлетела, как только он примерил сапог. Нитки сгнили, и подошва с подковками сразу отлетела, да и голенище худое оказалось. И машинист экскаватора выбросил сапоги, хотя ему позарез нужна была новая обувь. Но больше экскаваторщик огорчился из-за другого. Машинисту хотелось полюбоваться на череп, потому что настоящего черепа ему ни разу в жизни не приходилось видеть, а тем более трогать руками. Правда, он время от времени трогал свою собственную голову или голову жены и представлял, что если снять кожу со своей или с жениной головы, то и получится настоящий череп. Но этого нужно было ждать еще неизвестно сколько, а экскаваторщик ненавидел ждать чего-нибудь слишком долго. Он любил делать сразу все, что придет в голову. Поэтому теперь, когда машинист откопал гроб, он сразу решил вытряхнуть из него все и найти череп. Ему хотелось посмотреть, что стало с черепом человека, который давно умер и много лет лежал и смотрел в гробовое окошечко. Да,— размышлял машинист, спускаясь в могилу по стремянке,— да, теперь-то мне будет хороший череп, а то живешь-живешь, а ничего такого не имеешь. Конечно, у меня-то худая голова, но ведь не так уж часто выпадает свободное время, чтобы ощупать ее как следует. К тому же, когда трогаешь свою голову, не получаешь почти никакого удовольствия — тут нужен чистый чужой череп, без всякой там кожи, чтобы можно было хоть вешать его на палку, хоть насаживать куда будет нужно. Вот везуха! разберу сейчас тряпье, выкину кости и возьму чистенький череп — как есть. Такие моменты в жизни не упускай, иначе, того и гляди, кто-нибудь наденет на палку твой

череп и будет ходить по улицам и пугать кого вздумается. Машинист заглянул под крышку, лежавшую на песке, потом вылез из траншеи и заглянул через окошечко в гроб, а затем посмотрел не через окошечко, а просто в гроб, как смотрят обычно в гроб, когда гроб висит на зубце ковша, а тот, кто смотрит, стоит на краю могилы. Но в гробу и под крышкой на песке черепа тоже не было. Черепа нету,— сказал себе экскаваторщик,— черепа просто-напросто нету, череп пропал, а может, его никогда и не было — хоронили одним туловищем, а? Но как ни крути, черепа нету, и я не смогу насадить его на палку и пугать кого захочу. Наоборот, теперь каждый сможет пугать меня самого настоящим или своим собственным черепом. Вот невезуха! — сказал себе экскаваторщик.

СТОРОЖ. Ночь. Всегда эта холодная ночь. Его работа — ночь. Ночь — его ненависть и средство жить. Днем он спит и курит. Винтовку он никогда не заряжает. Какой резон заряжать, если зимой вокруг — никого. Никого — зимой, осенью и весной. И в домах артистов тоже никого. Это дачи артистов, а он — сторож дач. Он никогда не бывал в театре, но ему однажды рассказывал напарник, что сын его учится в городе и ходит в театр. Сын напарника: он приезжает к отцу в конце недели. А к нему — никто не приезжает. Он живет один и курит. Винтовку он берет в сторожке перед сменой и ходит по аллеям дачного поселка всю ночь. Сегодня и вчера шел большой снег. Аллеи белы. Деревья, особенно сосны,— тоже. Они белы. Луна смутная. Луна не может пробить тучи. Он курит. Он смотрит по сторонам. Подолгу стоит на перекрестках. Очень темно. Никогда не будет светло в этом поселке зимой. Летом лучше. По вечерам на верандах актеры пьют вино. Но когда лета нет, веранды с тусклыми витражами закрыты и пусты. Они промерзают насквозь, их засыпает снегом. А он через два вечера на третий берет незаряженную винтовку, идет. Вдоль застекленных дач. Идет без тропинок, без патронов, без курева. Идет за куревом, на окраину поселка, где магазин. В магазине всегда

пусто. Там на двери сильная пружина. Там работает пожилая женщина. Она добрая, потому что дает в долг. На морозе он не помнит ее имени. Зачем она, эта женщина, думает он. Я могу без нее, думает он, или не могу? Нет, не могу. Без нее у меня не было бы чего курить. Он тихо смеется. Холодно, продолжает думать он, холодно. Темно. Он видит, как женщина закрывает ставни своего магазина и отправляется спать. Вот она идет. Я стою, говорит он себе, курю, а она идет мимо. Я хочу курить? Нет. Я курю, потому что она уходит. Все, ушла. Теперь до утра один. Кошка бежит. Когда-то их было много в поселке. Они жили в цоколях домов. Напарник перебил их из этой винтовки. Холодно. Кошек нету. Он снова идет, глядя на дома актеров. Сверху — снег. Значит, будет тепло. Лишь бы не ветер. На одной веранде — свет. Актеры не приезжают зимой, думает он. Следы на участке. Забор в одном месте поломан. Две штакетины лежат на снегу крест-на-крест. Он никогда не заряжал и сейчас тоже не будет. Он пойдет и посмотрит, в чем дело. Он подходит. Выстрел. Как будто далеко, в лесу. Нет, гораздо ближе. А, это из витража стреляли. Больно очень, голова болит. Покурить бы. Он падает лицом в снег. Ему уже не холодно.

ТЕПЕРЬ. Из армии он вернулся раньше срока, после госпиталя. Он служил в ракетных частях и однажды ночью попал под сильное облучение, ночью, во время учебной тревоги. Ему было двадцать лет. В полупустом поезде, возвращаясь домой, он подолгу сидел в ресторане, пил вино и курил. Красивая молодая женщина, которая ехала с ним в купе, совсем не стеснялась его и перед сном раздевалась, стоя перед дверным зеркалом, и он видел ее отражение, и она знала, что он видит, и улыбалась ему. В последнюю ночь пути она позвала его к себе, вниз, но он притворился, что спит, и она догадалась об этом и тихо смеялась над ним в темноте узкого и душного купе, а тем временем поезд кричал и летел сквозь черную пургу, и пригородные уже полустанки растерянно кивали ему вослед тусклыми фонарями. Первые две недели он сидел дома —

перелистывал книги, просматривал прежние, школьные еще, фотографии, пытался что-нибудь решить для себя и без конца ссорился с отцом, который жил на большую военную пенсию и не верил ни одному его слову и считал симулянтом. Выходное пособие, которое выдал полковой бухгалтер, кончилось, и нужно было искать работу. Он хотел пойти шофером в соседнюю больницу, но там, в больнице, ему предложили другое. Теперь, после армии, в конце снежной зимы, он стал санитаром в больничном морге. Ему платили семьдесят рублей в месяц, и этих денег ему хватало, потому что с девушками он не встречался, а только иногда ездил в парк, катался на чертовом колесе и смотрел, как в танцевальном зале с прозрачными стенами танцуют незнакомые люди. Однажды он заметил здесь девушку, с которой учился когда-то в одной школе. Она приехала в парк с каким-то парнем на спортивной машине, и санитар, укрывшись в сумраке больших деревьев, наблюдал, как они танцуют. Они танцевали с полчаса, потом хлопнули дверками и покатили в глубь парка по освещенным аллеям. А через несколько недель, в мае, в морг привезли мужчину и женщину, которые разбились на машине где-то за городом, и он не сразу узнал их, а затем узнал, но почему-то никак не мог вспомнить ее фамилию, и все смотрел на нее и думал о том, что три или четыре года назад, еще до армии, он любил эту девушку и хотел, очень хотел постоянно быть с ней, а она не любила его, она была слишком хороша, чтобы любить его. И теперь, думал санитар, все это кончилось, кончилось, и непонятно, что будет дальше...

Глава третья
САВЛ

Но Вета не слышит. В ночь твоего прихода в Край Одинокого Козодоя тридцатилетняя учительница нашей школы Вета Аркадьевна, строгая учительница по ботанике, биологии, анатомии, танцует в лучшем

ресторане города и пьет вино с каким-то молодым, да, молодым сравнительно человеком, веселым, умным и щедрым. Скоро музыка кончится — пьяные скрипачи и барабанщики, пианисты и трубачи покинут эстраду. Ресторан с приглушенными огнями рассчитает последних гостей, и тот сравнительно молодой человек, которого ты никогда в жизни не видел и не увидишь, увезет твою Вету к себе на квартиру и там сделает с ней все, что захочет. Не продолжай, я уже понял, я знаю, там, на квартире, он поцелует ей руку и потом сразу проводит домой, и утром она приедет сюда на дачу, и мы сможем увидеться, я знаю: мы увидимся с ней завтра. Нет, не так, ты, наверное, ничего не понимаешь или притворяешься, или ты просто трус, ты боишься думать о том, что случится с твоей Ветой там, на квартире человека, которого ты никогда не увидишь, а ведь тебе, конечно, хотелось бы взглянуть на него, разве я говорю неправду? Ясное дело, мне хотелось бы познакомиться с ним, мы пошли бы куда-нибудь все вместе, втроем: Вета, он и я, в какой-нибудь парк города, в старый городской парк с чертовым колесом, мы бы катались и беседовали, все-таки интересно, я говорю: интересно, нам было бы интересно втроем. Но может быть тот человек не такой умный, как ты рассказываешь, и тогда было бы не так интересно, и мы бы зря потратили вечер, был бы неудачный вечер, только и всего, вот и все, но по крайней мере Вета поняла бы, что со мной гораздо интереснее, чем с ним, и никогда больше не встречалась бы с ним, а в ночь моего прихода в Край Одинокого Козодя всегда выходила бы на мой зов: Вета Вета Вета это я ученик специальной школы такой-то выходи я люблю тебя,— как раньше. Поверь мне: она всегда выходила на мой зов, и мы до утра бывали вместе у нее в мансарде, а после, когда начинало светать, я осторожно, чтобы не разбудить Аркадия Аркадьевича, спускался в сад по наружной винтовой лестнице и возвращался домой. Знаешь, перед тем как уйти, я обычно гладил ее простую собаку, и вообще немного играл с ней, чтобы она не забывала меня. Это ерунда, зачем ты придумываешь всю эту ерунду, наша

учительница Вета Аркадьевна никогда не выходила на твой зов, и ты ни разу не был у нее в мансарде — ни днем, ни ночью. Ведь я слежу за каждым твоим шагом — так советовал мне доктор Заузе. Когда нас выписывали оттуда, он советовал: если вы заметите, что тот, кого вы называете он, и кто живет и учится вместе с вами, уходит куда-нибудь, стараясь быть незамеченным, или просто убегает, следуйте за ним, постарайтесь не упускать его из виду, по возможности будьте ближе к нему, как можно ближе, ищите случай приблизиться к нему настолько, чтобы почти слиться с ним в общем деле, в общем поступке, сделайте так, чтобы однажды — такой момент непременно настанет — навсегда соединиться с ним в одно целое, единое существо с неделимыми мыслями и стремлениями, привычками и вкусами. Только в таком случае,— утверждал Заузе,— вы обретете покой и волю. И вот я, куда бы ты ни пошел, следовал за тобой, и время от времени мне удавалось слиться с тобой в общем поступке, но ты сразу прогонял меня, как только замечал это, и мне опять становилось тревожно, даже страшно. Я боялся и боюсь вообще многого, лишь стараюсь не подавать вида, и мне кажется, ты боишься не меньше моего. Вот, например, ты боишься, вдруг я стану рассказывать тебе правду о том, что делал с твоей Ветой в ночь твоего прихода тот сравнительно молодой человек у себя на квартире. Но я все-таки расскажу об этом, потому что не люблю тебя за то, что ты не хочешь слиться со мной в общем поступке, как советовал доктор. Я расскажу тебе и о том, как и что делали другие молодые и немолодые люди с твоей Ветой у себя на квартирах и в гостиничных номерах в те ночи, когда ты спал на даче отца твоего или же в городе, или там, после вечерних уколов. Но прежде я должен убедить тебя в том, что ты никогда не был в мансарде акатовской дачи, хотя и убегал поздними вечерами в Край Козодоя. Ты смотрел на освещенные окна особняка через щели в заборе и мечтал войти в парк, прошагать по дорожке — от калитки к парадному крыльцу, я понимаю тебя, прошагать по дорожке, легко, непринужденно, а шагая, поддеть

ногой две или три прошлогодние шишки, сорвать цветок на клумбе, понюхать его, постоять у беседки — просто так, оглядывая все кругом с легким прищуром всепонимающих глубоких глаз, затем постоять под высоким деревом, где скворечник, послушать птиц — о, я хорошо понимаю тебя, я сам с удовольствием сделал бы то же самое и даже больше: шагая по дорожке акатовского сада (или парка — никто не знает, как лучше называть их участок, и всякий называет как кому вздумается), я поиграл бы с их прекрасной простой собакой и постучал бы в парадную дверь: тук-тук; но сейчас я признаюсь тебе: я, как, впрочем, и ты,— мы боимся этой большой собаки. А если бы мы не боялись ее, если бы, предположим, ее вообще не было,— разве мы смогли бы позволить себе все это, разве только из-за собаки мы не можем постучать в дверь? — вот мой вопрос к тебе, я хотел бы поговорить об этом еще немного, меня страшно занимает эта тема. Мне кажется, ты снова притворяешься, неужели все это так интересно, ты заговариваешь мне зубы, ты не желаешь, чтобы я рассказал тебе всю правду о Вете, о том, что делали с ней в своих квартирах и номерах те молодые люди, которых ты никогда не увидишь ну почему скажи мне наконец почему ты или почему я почему мы боимся говорить про это друг другу или каждый себе во всем этом так много правды почему почему почему да много знаешь но знаешь если не знаю я же ничего и ты ничего мы ничего про это не знаем мы пока или уже не знаем что ты можешь рассказать мне или себе если у тебя как и у меня не было ни одной женщины мы не знаем как это вообще как бывает мы только догадываемся мы можем догадываться мы только читали только слышали от других но и другие тоже толком ничего не знают мы однажды спросили у Павла Петровича были ли у него женщины дело происходило у нас в школе там в конце коридора за узкой дверью где всегда пахнет куревом и хлоркой да в уборной да в туалете Савл Петрович курил он сидел на подоконнике то была перемена нет после уроков я остался после уроков делать уроки на завтра нет нас оставили после уроков делать уроки

на завтра по математике плохо учимся маме сказали особенно по математике очень трудно устаешь очень болезненно нехорошо какие-то задачи почему-то слишком много задают уроков надо чертить и думать слишком заставляют Савл Петрович зачем-то мучают примерами говорят будто кто-то из нас когда закончит школу пойдет в институт и станет кто-то из нас некоторые из нас часть из нас кое-кто из нас инженерами а мы не верим ничего подобного не случится ибо Савл Петрович вы же сами догадываетесь вы и другие учителя мы никогда не станем никакими инженерами потому что мы все ужасные дураки разве не так разве эта школа не специальная то есть не специально для нас зачем вы обманываете нас с этими самыми инженерами кому это все нужно но дорогой Савл Петрович даже если бы мы и стали вдруг инженерами то не надо нет не следует не согласен я заявил бы в комиссию не желаю быть инженером я стану продавать на улице цветы и открытки и петушков на палочке или научусь тачать сапоги выпиливать лобзиком по фанере но не соглашусь работать инженером пока у нас не образуется самая главная самая большая комиссия которая разберется со временем не так ли Савл Петрович у нас непорядок со временем и есть ли смысл заниматься каким-то серьезным делом например чертить чертежи черными чернилами когда со временем не очень хорошо то есть совсем неважно очень странно и глупо вы же знаете сами вы и другие учителя.

Савл Петрович сидел на подоконнике и курил. Босые ступни ног его покоились на радиаторе парового отопления или, как еще называют этот прибор, на батарее. За окном была осень, и если бы окно не замазали специальной белой краской, мы могли бы увидеть часть улицы, вдоль нее дул умеренный северо-западный ветер. По ветру летели листья, лужи морщились, прохожие, мечтая превратиться в птиц, старательно торопились домой, чтобы при встрече с соседями поговорить о дурной погоде. Короче — была обычная осень, середина ее, когда на школьный двор уже привезли и выгру-

зили из машин уголь, и старый человек, наш истопник и сторож, которого никто из нас не звал по имени, так как никто из нас не знал этого имени, поскольку узнавать и помнить это имя не имело смысла, потому что наш истопник ни за что не услышал бы и не отозвался на это имя, поскольку был глухой и немой,— и вот он уже затопил котлы. В школе стало теплее, хотя от полов, как замечали, ежась и поводя плечами, некоторые учителя, по-прежнему несло, и — думается — Савл Петрович правильно делал, что заходил иногда в уборную погреть босые ступни ног своих. Он мог бы греть их и в учительской, и в классе во время уроков, но, по-видимому, не хотел делать этого слишком на виду, на людях, он все-таки был немного застенчив, учитель Норвегов. Пожалуй. Он сидел на подоконнике спиной к закрашенному стеклу, а лицом к кабинкам. Босые ступни ног его стояли на радиаторе и колени были высоко подняты, так что учитель мог удобно опереть на них подбородок. И вот мы посмотрели на него, сидящего таким образом, сбоку, в профиль: издательский знак, экслибрис, серия книга за книгой, силуэт юноши, сидящего на траве или на голой земле с книгой в руках, темный юноша на фоне белой зари, мечтательно, юноша, мечтающий стать инженером, юноша-инженер, если угодно, кудрявый, довольно кудрявый, книга за книгой, читает книгу за книгой на фоне, бесплатно, экслибрис, за счет издательства, один и тот же, все книги подряд, очень начитан, он очень начитан, ваш мальчик — нашей доброй любимой матери — Водокачка, учительница по предметам литература и русский язык письменно и устно, маме сказала, даже слишком, мы бы не рекомендовали все подряд, особенно западных классиков, отвлекает, перегрузка воображения, дерзит, заприте на ключ, не больше пятидесяти страниц в день, для среднего школьного возраста, Мальчик из Уржума, Детство Темы, Детство, Дом на горе, Витя Малеев, и вот это: жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы. И еще: бороться и искать, найти и не сдаваться, вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе, штыками и картечью проложим путь себе — песни русских

революций и гражданских войн, вихри враждебные, во саду ли, как у наших у ворот, ах вы, сени, и потом мы рекомендовали бы занятия музыкой, на любом инструменте, умеренно, терапия, чтобы не было мучительно больно, а то, знаете, время становления, такой возраст, ну да, баян, ну да, аккордеон, скрипка, фортепьяно, скорее даже форте, чем пьяно, начали: и-и-и баркаролла три четверти бемоль скрипичный ключ не путать с грибом скрипица полуядовит отваривать и-и-и под стук вагонных на станцию которая по той же ветке что и-и-и по Вете ветлы сонных пассажиров тревожа плачешь в вагоне от любви от ненужностей жизни мама за окнами дождь неужели мы должны ехать в такую слякоть да дорогой немного музыки не повредит тебе мы же договорились маэстро будет сегодня ждать неудобно, воскресенье, потом зайдем к бабушке. Станция, кусты, полдень, очень сыро. Впрочем, вот и зима: платформа заснежена, снег сухой, рассыпчатый и искристый. Мимо рынка. Нет, прежде виадук с обледенелыми скрипучими ступенями. Скрипучими, мама. Осторожно, путь наверх и-и-и когда увидишь внизу проходящий состав исписанный мелом товарный или чистый с накрахмаленными воротничками штор курьерский постарайся не смотреть иначе закружится голова и ты упадешь раскинув руки ничком или навзничь и участливые прохожие не успевшие обратиться в птиц окружат тело твое и кто-то приподнимет голову твою и станет бить по щекам бедный мальчик наверное у него сердце нет это авитаминоз б о л е к р о в и е женщина в крестьянском платке торговка корзины подержите аккордеон а мама где его мама он наверное один занимается музыкой смотрите у него на голове кровь он конечно один Боже что с ним ничего он сейчас я сейчас Вета я один я прошу простить меня твой мальчик твой ласковый ученик засмотрелся на товарный исписанный мелом состав его исписали комиссии но через годы через расстояния твой робкий такой-то придет к тебе преодолевая метели бьющие в человека кинжальным огнем серебра и сыграет на баркаролле неистовый чардаш и да поможет нам Бог не сойти с ума от испепеляющей

внешкольной страсти тук-тук здравствуйте Вета Аркадьевна и-и-и вот хризантемы пусть отцвели увяли пусть но то что случится окупит все сполна когда это будет? Лет десять, возможно. Ей — сорок, она еще молода, летом живет на даче, много купается — и настольный теннис, пинг-понг. А мне, а мне? Сейчас мы подсчитаем. Мне — столько-то, я давно закончил спецшколу, институт и стал инженером. У меня много друзей, я совершенно здоров и коплю деньги на машину — нет, уже купил, накопил и купил, сберкасса, сберкасса, пользуйтесь. Да, вот именно, ты давно инженер и читаешь книгу за книгой, сидя целыми днями на траве. Много книг. Ты стал очень умным, и приходит день, когда ты понимаешь, что медлить больше нельзя. Ты поднимаешься с травы, отряхиваешь брюки — они прекрасно отглажены,— потом наклоняешься, собираешь все книги в стопку и несешь в машину. Там, в машине, лежит пиджак, хороший и синий. И ты надеваешь его. Затем ты осматриваешь себя. Ты высокого роста, гораздо выше, чем теперь, примерно на столько-то сяку. Кроме того, ты широк в плечах, а лицом почти красив. Именно п о ч т и, потому что некоторые женщины не любят слишком красивых мужчин, не так ли? У тебя прямой нос, синие глаза с поволокой, упрямый волевой подбородок и крепко сжатые губы. Что касается лба, то он необыкновенно высок, как, впрочем, и сейчас, и на него густыми прядями ниспадают темные волосы. Лицом чист, бороду бреешь. Осмотрев себя, ты садишься за руль, хлопаешь дверцей и покидаешь те травянистые места, где столь долго читал книги. Теперь ты едешь прямо к ее дому. А хризантемы! ведь нужно же купить их, нужно куда-то заехать, купить на рынке. Но у меня с собой ни сентаво, нужно попросить у матери: мама, дело в том, что у нас в классе умерла девочка, нет, конечно, не прямо в классе, она умерла дома, она долго болела, несколько лет, и совсем не ходила на занятия, никто из учеников даже не видел ее, только на фотографии, она просто числилась, у нее был менингит, как у многих, так вот, она умерла, да, ужасно, мама, ужасно, как у многих, так вот, она умерла

и ее следует похоронить, нет, естественно, нет, мама, ты права, у нее есть свои собственные родители, никто никого не может заставить хоронить чужих детей, я говорю просто так: ее следует похоронить, но без цветов не принято, неудобно, помнишь, даже у Савла Петровича, которого так не любили учителя и родительский комитет, даже у него было много цветов, и вот наш класс решил собрать на венок этой девочке, по нескольку рублей с человека, вернее так: кто живет с мамой и папой, с тех по десять рублей, а кто только с мамой или только с папой, с тех по пять, значит, с меня десять, дай мне, пожалуйста, скорее, меня ждет машина. Какая машина? — спросит мама. И тогда я отвечу: понимаешь, так получилось, что я купил машину, заплатил недорого, да и то пришлось залезть в долги. В какие долги,— всплеснет мама руками,— откуда у тебя вообще деньги! И подбежит к окну, чтобы посмотреть во двор, где будет стоять мой автомобиль. Видишь ли, спокойно отвечу я, пока я сидел на траве и читал книгу за книгой, мои обстоятельства сложились таким образом, что мне удалось закончить школу, а потом институт, извини, пожалуйста, мама, не знаю, отчего, но мне казалось, для тебя будет приятным сюрпризом, если я скажу об этом не сразу, а как-нибудь позже, время спустя, и вот время спустилось, и я сообщаю: да, я стал инженером, мама, и моя машина ждет меня. Так сколько же прошло,— скажет мать,— разве не ты еще сегодня утром уходил с портфелем в свою школу, и разве не сегодня я провожала тебя и бежала за тобой по лестнице почти до первого этажа, чтобы сунуть бутерброды в карман пальто, а ты прыгал через три ступеньки и кричал, что не голоден и что если я буду приставать к тебе с бутербродами, ты зашьешь себе рот суровой ниткой,— разве все это случилось не сегодня? — удивится наша бедная мать. А мы, что мы ответим нашей бедной матери? Надо сказать ей так: увы, мама, увы. Верно, здесь необходимо употребить полузабытое слово увы. Увы, мама, день, когда ты хотела положить бутерброды в карман моего пальто, а я отказывался, потому что был не совсем здоров,— тот день

давно миновал, теперь я стал инженером, и машина ждет меня. Тогда наша мать расплачется: как летят годы, скажет, как быстро взрослеют дети, не успеешь оглянуться, а сын уж инженер, кто бы мог подумать: мой сын такой-то — инженер! А после она успокоится, сядет на табуретку, и зеленые глаза ее посуровеют, и морщины, особенно две глубокие вертикальные морщины, вырезанные у самого рта, станут еще глубже, и она спросит: зачем ты обманывешь меня, ты только что просил деньги на венок девочке, с которой учился в одном классе, а теперь утверждаешь, будто давно закончил школу и даже институт, разве можно быть инженером и школьником одновременно. А кроме того, строго заметит мама, никакой машины во дворе нет, не считая той мусорной, что стоит у помойки, ты все придумал, никакая машина не ждет тебя. Дорогая мама, я не знаю, можно ли быть инженером и школьником вместе, может, кому-то и нельзя, кто-то не может, кому-то не дано, но я, выбравший свободу, одну из ее форм, я волен поступать как хочу и являться кем угодно вместе и порознь, неужели ты не понимаешь этого? а если не веришь мне, то спроси у Савла Петровича, и хотя его давно нет с нами, он все объяснит тебе: у нас плохо со временем — вот что скажет географ, человек пятой пригородной зоны. А насчет машины — не беспокойся, я немного пофантазировал, ее действительно нет и никогда не будет, но зато всегда с семи до восьми утра — всякий день и всякий год — в шторм и в ведро — в нашем дворе у помойки будет стоять грузовик мусорного треста, клопообразный, зеленый как муха. А девочка,— поинтересуется мама,— девочка действительно умерла? Не знаю,— должен ответить ты,— про девочку я ничего не знаю. Затем ты должен быстро пройти в прихожую, где на вешалке висят пальто, куртки и шляпы твоих родственников — не бойся этих вещей, они пустые, в них никто не одет — и висит твое пальто. Надень его, надень шапку твою и распахни дверь на лестницу. Беги из дома отца твоего и не оглядывайся, ибо, оглянувшись, узришь ты горе в глазах матери твоей, и горько станет тебе, бегущему по

мерзлой земле во вторую школьную смену. Бегущий во вторую смену, ты и сегодня не сделал уроков, но будучи спрошен с пристрастием, отчего так случилось, глядя за окно на гаснущую зарю — фонари города зажглись и болтаются над улицами, как немые, с вырванными языками, колокола,— отвечай любому учителю с достоинством и не смущаясь. Отвечай: считая себя ревностным участником энтомологического конкурса, объявленного нашей уважаемой Академией, я отдаю мой досуг коллекционированию редких и полуредких бабочек. Ну и что же, возразит тебе педагог. Смею надеяться, продолжаешь ты, что моя коллекция представит в будущем немалый научный интерес, отчего, не страшась ни материальных, ни временных затрат, я полагаю своим долгом пополнять ее новыми уникальными экземплярами: так не спрашивайте же, почему я не сделал уроков. О каких бабочках может идти речь зимой, притворно удивляется педагог, вы что — с ума сошли? И возражаешь с полным достоинством: зимой речь может идти о зимних бабочках, называемых снежными, я ловлю их за городом — в лесу и в поле, преимущественно по утрам,— на второй поставленный вами вопрос отвечаю: факт моего сумасшествия ни у кого не вызывает сомнения, иначе меня не держали бы в этой проклятой школе вместе с другими такими же дураками. Вы дерзите, мне придется говорить с вашими родителями. На что должен последовать ответ: вы вправе говорить с кем угодно, в том числе и с моими родителями, только не высказывайте никому своих сомнений относительно зимних бабочек, вас подымут на смех и заставят учиться здесь вместе с нами: зимних бабочек не меньше, чем летних, запомните это. Теперь сложить все свои фолианты и рукописные труды в портфель и медленно, усталой походкой стареющего ученого-энтомолога, покашливая, покинуть аудиторию.

Я знаю: ты, как и я,— мы никогда не любили школу, особенно с того дня, когда наш директор Николай Горимирович Перилло ввел тапочную систему. Так, если ты не запамятовал, назывался порядок, при кото-

ром ученики были обязаны приносить с собою тапочки, причем нести их следовало не просто в руках и не в портфелях, а в специально сшитых матерчатых мешочках. Верно, в белых мешочках с лямочками, и на каждом мешочке китайской тушью была написана фамилия ученика, кому принадлежал мешочек. Требовалось писать, скажем: ученик такой-то, 5 «у» класс, и обязательно ниже, но более крупными буквами: тапочки. И еще ниже, но еще более крупно: спецшкола. Ну как же, я хорошо помню то время, оно началось сразу, в один из дней. К нам в класс во время урока пришел Н. Г. Перилло, он пришел угрюмо. Он всегда приходил угрюмо, потому что, как объяснял нам отец, зарплата у директора была небольшая, а пил он много. Перилло жил в одноэтажном флигеле, который стоял во дворе школы, и если хочешь, я опишу тебе и флигель, и двор. Опиши только двор, флигель я помню. Нашу школу из красного кирпича окружал забор из такого же кирпича. От ворот к парадному подъезду шла асфальтированная аллея — по сторонам ее росли какие-то деревья, и были клумбы с цветами. Перед фасадом ты мог видеть некоторые скульптуры: в центре — два небольших меловых старика, один в кепке, а другой в военной фуражке. Старики стояли спиной к школе, а лицом к тебе, бегущему по аллее во вторую смену, и у того и другого одна из рук была вытянута вперед, словно они указывали на что-то важное, происходившее там, на каменистом пустыре перед школой, где нас заставляли раз в месяц бегать укрепляющие кроссы. По левую сторону от стариков коротала время скульптура девочки с небольшой ланью. И девочка, и лань тоже светились бело, как чистый мел, и тоже глядели на пустырь. А по правую сторону от стариков стоял мальчик-горнист, и он хотел бы играть на горне, он умел играть, он мог бы играть все, даже внешкольный чардаш, но беда в том, что горна у него не было, горн выбили у него из рук, вернее, белый гипсовый горн разбился при перевозке, и у мальчика из губ торчал лишь стержень горна, кусок ржавой проволоки. Разреши мне поправить тебя, насколько я помню, белая

девочка действительно стояла во дворе школы, но то была девочка не с ланью, а с собакой, меловая девочка с простой собакой; когда мы ехали на велосипеде из пункта А в пункт Б, эта девочка в коротком платье и с одуванчиком в волосах шла купаться; ты говоришь, что меловая девочка у нас перед школой стоит (стояла) и смотрит (смотрела) на пустырь, где мы бегаем (бегали) укрепляющие кроссы, а я говорю тебе: она смотрит на пруд, где скоро станет купаться. Ты говоришь: она гладит лань, а я говорю тебе: эта девочка гладит свою простую собаку. И про белого мальчика ты рассказал неправду: он не стоит и не играет на горне, и хотя у него изо рта торчит какая-то железка, он не умеет играть на горне, я не знаю, что это за железка, возможно, это игла, которой он зашивает себе рот, дабы не есть бутербродов матери своей, завернутых в газеты отца своего. Но главное в следующем: я утверждаю, что белый мальчик не стоит, а сидит — это темный мальчик, сидящий на фоне белой зари, книга за книгой, на траве, это мальчик-инженер, которого ждет машина, и он сидит на своем постаменте точно так же, как Савл Петрович — на подоконнике в уборной, грея ступни ног, когда мы идем и входим разгневанно, неся в портфелях наших энтомологические заметки, планы преобразования времени, разноцветные сачки для ловли снежных бабочек, причем длинные, почти двухметровые древки этих прекрасных снастей торчат из портфелей и задевают углы и самодовольные портреты ученых на стенах. Мы входим разгневанно: дорогой Савл Петрович, в нашей ужасной школе стало невозможно учиться, много задают на дом, учителя почти все дураки, они ничуть не умнее нас, понимаете, надо что-то делать, необходим какой-то решительный шаг — может быть, письма туда и сюда, может быть — бойкоты и голодовки, баррикады и барракуды, барабаны и тамбурины, сожжение журналов и дневников, аутодафе в масштабе всех специальных школ мира, взгляните, вот, в наших портфелях — сачки для ловли бабочек. Мы отломаем древки от собственно сачков, поймаем всех по-настоящему глупых и наденем эти сачки им на головы на манер шутовских

колпаков, а древками будем бить по их ненавистным лицам. Мы устроим грандиозную массовую гражданскую казнь, и пусть все те, кто так долго мучил нас в наших идиотских спецшколах, сами бегают укрепляющие кроссы на каменистых пустырях и сами решают задачи про велосипедистов, а мы, бывшие ученики, освобожденные от чернильного и мелового рабства, мы сядем на свои дачные велосипеды и помчимся по шоссе и проселкам, то и дело приветствуя на ходу знакомых девчонок в коротких юбочках, девчонок с простыми собаками, мы станем загородными велосипедистами пунктов А, Б, В, и пусть те проклятые дураки, дураки проклятые решают задачи про нас и за нас, велосипедистов. Мы будем велосипедистами и почтальонами, как Михеев (Медведев), или как тот, кого вы, Савл Петрович, называете Насылающим. Мы все, бывшие идиоты, станем Насылающими, и это будет прекрасно. Помните, вы когда-то спрашивали нас, верим ли мы в этого человека, а мы говорили, что не знаем, что и думать по этому поводу, но теперь, когда испепеляющее лето сменилось промозглой осенью, и прохожие, спрятав головы в воротники, мечтают обратиться в птиц, теперь мы спешим заявить вам лично, дорогой Савл Петрович, и всем другим прогрессивным педагогам, что не сомневаемся в существовании Насылающего, как не сомневаемся, что грядущее, полное велосипедов и велонасылающих,— грядет. И отсюда, из нашей отвратительной мужской уборной с испачканными окнами и никогда не просыхающими полами, мы кричим сегодня на весь белый свет: да здравствует Насылающий Ветер! Разгневанно.

Между тем наш худой и босоногий учитель Савл сидит на подоконнике и растроганно смотрит на нас, орущих эту величайшую из ораторий, и когда последнее эхо ее прокатится по пустым, но еще вонючим после занятий классам и коридорам и улетит на осенние улицы, учитель Савл достанет из нагрудного кармана ковбойки маленькие ножницы, пострижет ногти на ногах,

посмотрит на двери кабинок, исписанные хулиганскими словами и изрисованные дурацкими рисунками, и: как много неприличного,— скажет,— сколь некрасиво у нас в уборной, о Боже,— заметит,— как бедны наши чувства к женщине, как циничны мы, люди спецшколы. Ужели не подберем слов высоких, сильных и нежных взамен этих — чужих и мерзких. О люди, учители и ученики, как неразумны и грязны вы в помыслах своих и поступках! Но мы ли виновны в идиотизме и животной похоти наших, наши ли руки исписали двери кабинок? Нет, нет! — закричит,— мы только слабые и немощные слуги и неслухи директора нашего Коли Перилло, и это он попустил нам разврат наш и слабоумие наше, и это он не научил нас любить нежно и сильно, и это его руки водили нашими, когда мы рисовали здесь на стенах, и он виноват в идиотизме и похоти наших. О мерзкий Перилло,— скажет Савл,— как ненавистен ты мне! И заплачет. Мы же будем стоять растерянно, не зная, что сказать, чем успокоить его, нашего гениального учителя и человека. На плиточном полу, переминаясь с ноги на ногу, мы будем стоять, и жидкая грязь, оставленная второй сменой, будет чавкать под нашими ногами и медленно и совсем незаметно начнет просачиваться в брезентовые тапочки, за которыми столь долго мучилась в очереди наша бедная мать. Однажды вечером, вечером одного из дней: мама, сегодня к нам в класс угрюмо пришел Перилло. Он стер с доски все, что написал учитель, стер тряпкой. Внимание,— он, директор, сказал в тишине,— с такого-то числа эта специальная школа со всеми ее химикалиями, лампочками Фарадея, волейбольными мячами, чернильницами, досками, полудосками, картами и пирожками и прочими танцами-шманцами объявляется Образцовой Ударной имени отечественного математика Лобачевского специальной школой и переходит на тапочную систему. Класс зашумел, зашумел, а один мальчик,— я не помню, а может быть просто не понимаю, как его зовут, а может быть этим мальчиком был я сам,— этот мальчик закричал, почему-то очень закри-

чал, вот так: а-а-а-а-а-а-а-а! Извини, мама, я понимаю, вовсе не обязательно показывать, как именно кричал мальчик, тем более что папа отдыхает, достаточно просто сказать, что один мальчик закричал, мол, очень сильно и неожиданно крикнул, и не обязательно показывать, что он крикнул вот так: а-а-а-а-а-а-а! При этом он полностью открыл рот и высунул язык, и мне показалось, что у него необыкновенно красный язык, наверное мальчик болен, и у него начался приступ,— так я подумал. Я должен заметить, мама, у него действительно очень красный и длинный язык с фиолетовыми пятнами и прожилками, будто мальчик пьет чернила, прямо удивительно. Было похоже, что он сидит у врача ухо-горло-нос и врач просит сказать его «а», и мальчик открывает рот и старательно говорит, а вернее, кричит: а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Он кричал целую минуту, и все глядели на него, а потом он перестал кричать и совсем тихо спросил, обращаясь к директору: а что это значит? И тут все вспомнили, что мальчик заикается, что ему иногда трудно дается переход с гласного звука на согласный, и тогда он застревает на гласном и кричит, потому что ему обидно. И вот он закричал сегодня: а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Он хотел спросить у директора: а что это значит,— только и всего. И наконец он спросил, и директор Перилло сквозь зубы ответил: тапочная система — это такое положение вещей, при котором всякий ученик покупает тапочки и приносит их в школу в специальном мешочке с лямочками. Придя в школу, ученик снимает обычную обувь свою и надевает принесенные тапочки, а опустевший мешок заполняет обычной обувью и сдает в гардероб нянечке вместе с пальто и шапкой. Понятно ли я объясняю? — спросил директор и мутно посмотрел во все концы света. И тут мальчик опять страшно закричал, на сей раз был другой звук: о-о-о-о-о-о-о! Я больше не буду, мама, не знаю, как мог я забыть, что папа дремлет у себя в кабинете с газетой в руках, он, очевидно, устал, у него такая тяжелая работа, столько дел, столько загубленных судеб, бедный папочка, я больше не буду, мама, я лишь закончу. И вот мальчик закричал: о-о-о-о-о-о-о! —

а затем выговорил: очень приятно. Перилло собрался уже уходить, когда мы, то есть я и он, другой, мы встали и заявили: Николай Горимирович, мы обращаемся к вам лично и в вашем открытом и честном лице ко всей администрации в целом с просьбой разрешить нам носить один мешок на двоих, поскольку нашей матери будет в два раза труднее шить два мешка, нежели один. На что директор, переглянувшись с учителем, так, словно они оба знали нечто, чего больше никто не знал, как будто они знали более нашего, ответил: каждый ученик Образцовой Ударной имени отечественного математика Лобачевского специальной школы обязан иметь свой собственный мешок с лямками, на каждого — по мешку. И до тех пор, покуда вы считаете, что вас двое, вы должны иметь два мешка — ни больше ни меньше. Если же вы полагаете, что вас десять, то имейте десять мешков. Черт возьми! — мы громко и разгневанно, — лучше бы нас совсем не было, вы не приставали бы тогда к нам с вашими проклятыми мешками и тапочками, бедная мама, тебе придется шить два мешка, сидя до глубокой ночи, ночи напролет, на швейной машине строча — тра-та-та, тра-та-та, навылет, сквозь сердце, да лучше бы мы навсегда обратились в лилию, в нимфею альба, как тогда, на реке, только навсегда, до конца жизни. Разгневанно. Директор Перилло достал из внутреннего кармана пиджака мятый платок и тщательным образом протер свою веснушчатую, рыжую, вмятую в череп лысину. Он сделал это, чтобы скрыть растерянность, он растерялся, он не ожидал, что в его школе есть такие разгневанные учащиеся. И он сказал угрюмо: ученик такой-то, я не предполагал, что здесь имеются люди, способные до такой степени потерять мое доверие к ним, как это сделали сейчас вы. И если вы не желаете, чтобы я исключил вас из школы и передал ваши документы т у д а, то немедленно садитесь и пишите объяснительную записку о потерянном доверии, вы обязаны объяснить мне все, и в первую очередь вашу вздорную псевдонаучную теорию о превращении в лилию. Сказав так, Перилло повернулся, щелкнул по-военному каблуками — в школе говорили, что директор

служил в одном батальоне с самим Кузутовым,— и вышел, хлопнув дверью. Рассерженно. Весь класс посмотрел в нашу сторону, высунул красный ядовитый язык, прицелился из рогатки и хихикнул, потому что весь этот класс, как и все прочие в специалке,— глупый и дикий. Это они, идиоты, вешают кошек на пожарной лестнице, это они плюют друг другу в лицо на больших переменах и отнимают друг у друга пирожки с повидлом, это они незаметно мочатся друг другу в карман и подставляют ножки, это они выкручивают друг другу руки и устраивают «темные», и это они, идиоты, изрисовали двери кабинок.

Но отчего ты так сердишься на своих товарищей,— говорит нам наша терпеливая мать,— разве ты сам не такой, как они? Если бы ты был иным, лучше их, мы не отправили бы тебя учиться в спецшколу, о, ты не представляешь, каким счастьем это было бы для меня и для отца! Господи, я наверное стала бы самой счастливой матерью. Нет, мама, нет, мы совершенно другие люди, и с теми мозгляками нас ничто не связывает, мы несравненно выше и лучше их во всех отношениях. Естественно, со стороны может показаться, будто мы такие же, а по успеваемости хуже нас вообще никого нет, мы не в состоянии запомнить до конца ни одного стихотворения, а тем более басню, но зато мы помним вещи поважнее. Недавно Водокачка объясняла тебе, что у нас — твоих сыновей — так называемая избирательная память, и это чрезвычайно верно, мама, такого рода память позволяет нам жить, как хочется, ибо мы запоминаем лишь то, что нужно нам, а не тем кретинам, которые берут на себя смелость учить нас. Знаешь, мы даже не помним, сколько лет уже просидели в спецшколе, а иногда забываем названия школьных и просто предметов, не говоря о каких-то там формулах и определениях — их мы абсолютно не знаем. Однажды, год или три спустя, ты нашла для нас репетитора по какому-то предмету, возможно, по математике, и, как водится, мы ходили к нему заниматься, за каждое занятие он брал столько-то рублей. То был дорогой и знающий

педагог, и примерно на втором занятии он сообщил нам: молодой человек,— нет, я ошибся, он использовал прилагательное усеченной формы: млад человек; млад человек, вы — уникум, все, что вы знаете по предмету,— это ничто. Когда мы пришли на третье занятие, он оставил нас одних в квартире, а сам побежал в магазин за пивом. Было лето, жарко, мы приезжали на занятия с дачи, было невыносимо, мама. Репетитор сказал нам: а, здрасьте, здрасьте, млад человек, а я заждался,— потирая руки,— заждался, жарко, ибо лето, деньги принесли? Давайте, я заждался, совершенно ни копейки, побудьте, спущусь за пивом, считайте, что вы дома, займитесь хоть рисованием, покормите гуппи, лампочка в аквариуме перегорела, вода мутная, но когда рыбка подплывает к стеклу, можно наблюдать, рассматривайте, да, кстати, посмотрите и Рыбкина, он на полке, это разборник, разборник задач, рекомендую такой-то номер, исключительно любопытно, едет велосипедист, представляете? добирается из пункта в пункт, интереснейшая ситуация, жара стоит невозможная, я заждался, ни копейки во всем доме, соседи все на юге, занять положительно не у кого, в общем, я побежал, устраивайтесь, занимайтесь чем придется, только не лазайте в холодильник, там все равно ничего нет — пусто, итак, за пивом, за пивом и еще раз за пивом, чтобы не было мучительно больно. Рассеянно. Нет, сосредоточенно. Вертясь перед зеркалом. Когда репетитор вернулся с пивом — тридцать бутылок, мама,— он спросил нас, умеем ли мы играть в шахматы. Умеем, отвечали мы. Именно в тот день мы придумали новую фигуру, она называлась конеслон и могла ходить крест-на-крест или вовсе не ходить, то есть пропускать ход, стоять на месте. В таком случае игрок просто говорит партнеру: ходит конеслон, а в действительности конеслон стоит как вкопанный и тускло смотрит во все концы света, как Перилло. Репетитору ужасно понравилась идея новой фигуры, и он, когда мы потом приезжали к нему, часто напевал на мотив из Детей капитана Блэда: конеслон, конеслон, улыбнитесь,— и пил пиво, и мы никогда больше не занимались по предмету, мы

играли в шахматы и нередко обыгрывали репетитора. Так что у нас неплохая память, мама, она, скорее, избирательная, и ты не должна огорчаться. И тут мы трое, сидящие на кухне, услышали голос отца нашего и поняли, что он уже не дремлет в кресле, но движется по коридору, стуча шлепанцами и шурша свежими вечерними газетами. Он шел устало и долго и кашлял — это и был его голос, в этом его голос и выражался. Добрый вечер, папа в старой пижаме, не огорчайся, что она старая, когда-нибудь мама сошьет или купит тебе новую, и Те Кто Придут будут интересоваться: шили или покупали, шили или покупали, шили или покупали? Наш прокурор-отец очень крупный: когда он стоит в дверях кухни, то заслоняет своей клетчатой пижамой весь проем, он стоит и спрашивает: что случилось, почему вы кричите здесь, в моем доме, вы что — все с ума посходили? Я думал, опять приехали ваши дурацкие родственники, все сто человек сразу. Какого черта, строго говоря! Неужели нельзя тише, ты распустила своего щенка донельзя, у него, ясное дело, сплошные двойки. Нет, папа, суть не в этом, понимаешь, конеслон вошел в мои сны, *как в кожаную перчатку входит красный мужской кулак*, и у него у бедняги избирательная память, у конеслона. Что за ерундистика, не желаю слушать твой бред,— сказал мне отец. Он сел на табуретку, причем могло показаться, что вот-вот она рухнет под тяжестью этого навсегда усталого тела, и он встряхнул ворох газетных страниц, дабы расправить их, и ногтем отчеркнул какую-то заметку под рубрикой объявления. Послушай,— обернулся он к матери,— здесь напечатано: куплю зимнюю дачу. Как ты на это смотришь, не продать ли наш дом этому типу, он наверняка подлец и проходимец, какой-нибудь прораб или завхоз, и деньги-то у него, конечно, есть, иначе он не стал бы давать объявление. Я сейчас сидел и думал,— продолжал отец,— на кой хрен нам нужна наша халупа, там же нет ничего хорошего: пруд грязный, соседи все — хамье и пьяницы, а ремонт один чего стоит. Но гамак,— сказала мама,— как славно полежать в гамаке после трудного дня,

ты ведь так любишь. Гамак я могу повесить и в городе, на балконе,— сказал отец,— правда, он займет весь балкон, но зато туда, на балкон, не зайдет ни один родственник, вот что главное, мне надоело держать дачу для твоих родственников, ты понимаешь или не понимаешь этого дела? Продать, и все тут, и никаких тебе налогов, стекольщиков, кровельщиков и прочее, тем более что моя пенсия не за горами, а? Как знаешь,— сказала мама.

И тогда я — на сей раз это был именно я, а не тот одноклассник, который столь мучительно заикался — тогда я заорал отцу моему: а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Я заорал так громко, как никогда в жизни еще не кричал, я хотел, чтобы он услышал и понял, что означает крик сына его: а-а-а-а-а-а-а-а-а! волки на стенах даже хуже на стенах люди люди их лица это больничные стены это время когда ты умираешь тихо и страшно а-а-а-а сжавшись в утробный комок лица которые ты никогда не видел но которые увидишь годы спустя это прелюдия смерти и жизни ибо тебе обещано жить чтобы мог ощутить ты обратный ход времени чтобы учился в спецшколе и любил бесконечно учителку Вету Ветку акации хрупкую женщину в тугих шуршащих при ходьбе чулках девочку с маленькой родинкой около сладкого и призывного рта дачницу с глазами ветреной лани глупую и продажную девку с пригородной электрической платформы над которой виадук и часы и бьющиеся на снежном ветру снежном ветру провода а выше а-а-а-а летучие молодые звезды и грозы летящие сквозь лета,— я опоздал? извините, ради Бога, Вета Аркадьевна, я провожал мать, она уехала к родственникам на несколько дней, в другой город, впрочем, я полагаю, вам неинтересно, честно говоря, я и не знаю, что сделать, чтобы вам стало интересно, ну вот, я придумал, давайте поедем куда-нибудь, давайте в парк или в ресторан, вам, наверное, холодно, застегнитесь, почему вы смеетесь, разве я сказал что-то смешное, ну, перестаньте, пожалуйста, что? вы хотели бы на дачу? но мы давно продали дачу, у нас нет дачи, потому что отец ушел

на пенсию, давайте в ресторан, у меня вчера появились деньги, не слишком много, но есть, я теперь работаю в одном министерстве, ну что вы, нет, я никакой не инженер, что? я не слышу, идет электричка, отойдите от края, для чего я написал вам записку? черт возьми, я не могу ответить так сразу, нам необходимо побеседовать, где-нибудь посидеть, давайте поедем в ресторан, ладно? что? на электричке? разумеется, здесь же нет стоянки, здесь загородная местность, точнее, пригородная, по дороге я все расскажу, все очень важно, важнее, чем вы думаете, это важнее, важнее, представляете, когда-то, вероятно, довольно давно, я приезжал сюда, на заснеженную платформу, вместе с матерью, вы, наверное, знаете, тут, если по ходу поезда — и налево, будет кладбище, там похоронена моя бабушка — и-и-и-и-и — так же, как сейчас, шли электрички, товарные, скорые — осторожно, мама, не поскользнись — или то была иная платформа? они все так похожи,— большое белое кладбище, церковь, но прежде — рынок, рынок, там следует купить семечки, женщины в крестьянских платках, пахнет коровой, молоком, длинные столы и навесы, несколько мотоциклетов у входа, рабочие в синих фартуках выгружают ящики из грузовика, от переезда, где шлагбаум и полосатая будка, слышится хриплый сигнальный звонок, две собаки сидят у мясной лавки, вдоль забора — очередь за керосином, лошадь, которая привезла цистерну, на лошадь падает снег с дерева, под которым она стоит, но лошадь белая, и потому снег на ее крупе почти незаметен. Еще — водоразборная колонка, вокруг — заледеневшие потеки, посыпанные песком, еще — окурки, брошенные в сугроб, еще — инвалид в телогрейке, продающий сушеные грибы на нитке. Колесо от телеги, прислоненное к мусорному баку. Мама, мы зайдем к бабушке или сразу к маэстро? К бабушке,— отвечает мать,— прежде все же к бабушке, она ждет, мы давно у нее не были, просто нехорошо, она может подумать, что мы совсем забыли о ней, поправь шарф и надень перчатки, где носовой платок, бабушка будет недовольна твоим видом. Миновать железные, с выпуклыми

литыми узорами ворота, купить букет бумажных цветов — ими торгует слепая старуха у церкви, выйти на центральную аллею, затем повернуть направо. Идти, пока не увидишь беломраморного ангела в образе молодой женщины. Ангел стоит за синей оградой, сложив за спиной хорошие большие крылья и опустив голову: он слушает гудки поездов — линия проходит в километре отсюда — и оплакивает мою бабушку. Мама ищет ключ от ограды, то есть от висячего замка, который замыкает ограду, калитку в ограде. Ключ лежит где-то там, в приятно пахнущей маминой сумочке — вместе с пудреницей, флакончиком духов, кружевным платком, спичками (мама, конечно, не курит, но спички носит на всякий случай), паспортом, клубочком бумажной бечевки, вместе с десятком старых трамвайных билетов, губной помадой и мелочью на дорогу. Мама долго не может отыскать ключ и волнуется: ну где же он, Господи, я хорошо помню, что он был, неужели мы не попадем сегодня к бабушке, так обидно. Но я знаю, что ключ непременно отыщется, и спокойно жду — нет, неправда, я тоже волнуюсь, потому что боюсь ангела, я немного боюсь ангела, мама, он такой мрачный. Не говори глупостей, он не мрачный, а скорбный, он оплакивает бабушку. Наконец ключ находится, и мама начинает открывать замок. Получается не сразу: в скважину ветром надуло снега, и ключ не входит, и тогда мама прячет замок в ладони, чтобы он согрелся и снег в скважине растаял. Если это не помогает, мама склоняется над замком и дышит на него, будто оттаивает чье-то замерзшее сердце. Наконец замок щелкает и открывается — разноцветная зимняя бабочка, сидевшая на ветке бузины, пугается и летит к соседней могиле; ангел лишь вздрагивает, но не улетает, он остается с бабушкой. Мама скорбно отворяет калитку, приближается к ангелу и долго глядит на него — ангел осыпан снегом. Мама наклоняется и достает из-под скамейки сорговый веник: мы купили его однажды на рынке. Мама сметает снег со скамейки, потом поворачивается к ангелу и счищает снег с его крыльев (одно крыло повреждено, надломлено) и с головы, ангел недовольно

морщится. Мама берет небольшую лопатку — стоит за спиной ангела — и очищает от снега бабушкин холм. Холм, под которым бабушка. Затем мама присаживается на скамейку и берет из сумочки платок, чтобы вытирать свои грядущие слезы. Я стою рядом, мне не особенно хочется сидеть, мама, не особенно, спасибо, нет, я постою. Ну вот,— говорит мама своей матери,— ну вот мы и пришли опять, здравствуй, дорогая, видишь, у нас снова зима, не холодно ли тебе, может быть, не нужно было убирать снег, было бы теплее, слышишь, идет поезд, сегодня воскресенье, мама, в церкви много народу, у нас дома — тут по щекам моей мамы скользят первые слезы — у нас дома все хорошо, с мужем (мама называет имя отца моего) не ссоримся, все здоровы, сын наш (мама называет мое имя) учится в таком-то классе, с учебой у него лучше. Неправда, мама, неправда, думаю я, у меня с учебой так худо, что Перилло не сегодня завтра исключит меня из школы, думаю я, и я стану продавать бумажные цветы, как та старуха, думаю я, но вслух говорю: бабушка, я ужасно стараюсь, ужасно, я непременно закончу школу, не волнуйся, пожалуйста, и стану инженером, как дедушка. Больше я ничего не могу сказать, поскольку чувствую, что сейчас заплачу. Я отворачиваюсь от бабушки и смотрю вдоль аллеи: в конце ее, у забора, играет с собакой маленькая девочка — здравствуй, девочка с простой собакой, я всякий раз вижу тебя здесь, знаешь, что я хочу сообщить тебе сегодня, я обманываю свою бывшую бабушку, мне как-то неловко огорчать ее, и я говорю неправду, никогда и никто из нас, недоумков, не станет инженером, мы все способны лишь продавать открытки или бумажные цветы, как та старуха у церкви, да и то вряд ли: мы, наверное, ни за что не научимся делать такие цветы, и нам нечего будет продавать. Девочка уходит и уводит собаку. Я замечаю, что бабочка, которая сидит теперь в трех шагах от меня, на излуке высокого снежного свея, расправляет крылья, собираясь взлететь. Я распахиваю калитку и бегу, но бабочка замечает меня раньше, чем успеваю накрыть ее шапкой своей: скрывается меж кустарников и

крестов. По колено в снегу бегу я за ней, скорбно, стараясь не глядеть на фотографии тех, кого нет; их лица освещены заходящим солнцем, лица их улыбаются. Сумерки спускаются из глубины неба. Бабочка, мелькавшая иногда тут и там, совсем пропадает, и ты остаешься один посреди кладбища.

Ты не знаешь, как вернуться тебе к скорбящей матери твоей, и направляешься в ту сторону, откуда слышны гудки паровоза,— в сторону линии. Паровоз, синий дым, гудок, какое-то пощелкивание внутри механизма, синяя — нет, черная кепка машиниста, он выглядывает из окна кабины, смотрит вперед и по сторонам, замечает тебя и улыбается — у него усы. Тянет руку вверх, туда, где, очевидно, приборы и ручка сигнала. Ты догадываешься, что через секунду будет еще один гудок — паровоз вскрикнет, очнется, дернет и потянет за собою вагоны, начнет пускать пар и, набирая скорость, отдуваться. Мягко, сутулясь в неуклюжем стеснении от собственной необъяснимой силы, он укатит за мост, пропадет — растает, и отныне ты никогда не найдешь утешения: о, эта утрата: где отыскать его, черный, как грач, паровоз, где повстречать усатого машиниста и где еще раз увидеть потрепанные — именно эти, а не иные — вагончики в заплатах, коричневые, грустные и скрипучие. Пропадет — растает. Запомнишь голос гудка, пар, вечные глаза машиниста, подумаешь, сколько лет ему, где живет, подумаешь — забудешь (пропадет — растает), вспомнишь однажды и не сумеешь поведать ничего кому-то другому — обо всем, что видел: о машинисте и паровозе и о составе, который оба они увезли за мост. Не сумеешь, не поймут, странно глянут: мало ли паровозов. Но если поймут — удивятся. Пропадет — растает. Грач-паровоз, паровоз-грач. Машинист, вагоны, качающиеся на рессорах, кашель сцепщика и рожок. Дальняя дорога, карточные домики за полосой отчуждения — казенные и частные, с палисадниками и с яблочными простыми садами, в окнах — свет или бликующая темнота, там и здесь — неведомая и непонятная тебе жизнь, люди, которых

ты никогда не узнаешь. Пропадет — растает. Стоя в протяжных сумерках — руки в карманах серого демисезонного пальто,— мыслишь поезду быструю путевую ночь, хочешь добра всем кочегарам, обходчикам и машинистам, желаешь им путевой доброй ночи, где будут: сонные лица вокзалов, звоны стрелок, паровозы, пьющие из Г-образных хоботов водокачек, крики и ругань диспетчеров, запах тамбура, запах перегоревшего угля и чистого постельного белья, запах чистоты, Вета Аркадьевна, чистого снега, в сущности, запах зимы, самого ее начала, это важнее всего — вы понимаете? Боже мой, ученик такой-то, отчего вы так кричите, просто неудобно, на нас смотрит весь вагон, разве нельзя беседовать обо всем вполголоса. Тогда ты встаешь, выходишь на середину вагона и, подняв руку в знак приветствия, говоришь: граждане пригородные пассажиры, я прошу вашего прощения за то, что беседовал столь громко, мне очень жаль, я поступал неправильно; в школе, в специальной школе, где я когда-то учился, нас учили отнюдь не этому, нас учили беседовать вполголоса, о чем бы ни шла речь, именно так я и старался поступать всю жизнь. Но сегодня я необыкновенно взволнован, сегодня исключительный случай, сегодня я, вернее, на сегодня я назначил свидание моей бывшей учительнице, написав ей взволнованную записку, и вот учительница пришла на заснеженную платформу, дабы увидеться со мной спустя столько-то лет, вот она сидит здесь, в нашем электрическом вагоне, на желтой электрической скамейке, и все, что я говорю ей сейчас и скажу еще — все на редкость важно, поверьте, вот почему мой голос звучит несколько громче обычного, спасибо за внимание. Взволнованно. Ты хочешь вернуться к Вете, но тут кто-то кладет тебе на плечо руку. Ты оборачиваешься: перед тобой — строгая женщина сорока с лишним лет, чуть седая, в очках в тонкой позолоченной оправе, у женщины зеленые глаза и вертикальные и мучительно знакомые складки у рта. Вглядись — это твоя терпеливая мать. Она уже битый час ищет тебя по всему кладбищу: где ты пропадал, противный мальчик, зачем ты опять уставился на паровозы, она думала,

с тобой что-то случилось, уже совсем темно. Отвечай просто и с достоинством: дорогая мама, я увидел зимнюю бабочку, побежал за ней и потому заблудился. Идем немедленно,— сердится мать,— бабушка зовет тебя, она просит показать, как ты научился играть на аккордеоне, сыграй ей что-нибудь скорбное, печальное — ты слышишь меня? и не смей отказываться. Бабушка, ты слышишь меня? Я сыграю тебе пьесу Брамса, называется Картошка, но я не уверен, хорошо ли разучил ее. Я беру аккордеон — инструмент в черном чехле стоит на снегу аллеи,— снимаю чехол и сажусь на скамейку. На кладбище вечер, но белый ангел — он рядом — хорошо виден мне, сидящему с аккордеоном три четверти. Ангел расправил крылья свои и осенил меня скорбным вдохновением: и-и-и — раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, во саду ли, в огороде ль девушки гуляли, гуля-я-яли, раз-два-три, раз-два-три, не плачь, мама, а то я перестану играть; бабусе хорошо, не надо расстраиваться, раз-два-три, раз-два-три, гуля-я-яли, у нее тоже была избирательная память, у бабушки, гуля-я-яли. Ты помнишь, как звучит аккордеон на морозном воздухе кладбища ранним вечером, когда со стороны железной дороги доносятся звуки железной дороги, когда с далекого моста у самой черты города сыплются и сквозят в оголенных ветвях бузины фиолетовые трамвайные искры, а из магазина у рынка — ты хорошо слышишь и это — разнорабочие увозят на телеге ящики с пустыми бутылками; бутылки металлически лязгают и звенят, лошадь стучит подковами по ледяному булыжнику, а рабочие кричат и смеются — ты ничего не узнаешь и про этих рабочих, и они тоже ничего о тебе не узнают,— так помнишь ли ты, как звучит твоя Баркаролла на морозном воздухе кладбища ранним вечером? Зачем ты спрашиваешь меня об этом, мне так неприятно вспоминать то время, я устал вспоминать его, но если ты настаиваешь, я отвечу спокойно и с достоинством: мой аккордеон звучит в те минуты одиноко. Могу ли я задать тебе следующий вопрос, меня интересует одна деталь, я собираюсь проверить твою, а заодно и свою память: в те годы, когда

ты или я, когда мы навещали вместе с матерью нашу бабушку, чтобы сыграть ей на аккордеоне новую пьесу или пересказать коротко содержание новой прочитанной нами повести из серии книга за книгой,— в те годы наш учитель Норвегов был еще жив или уже умер?

Видишь ли, годы, о которых мы теперь беседуем вполголоса, тянулись довольно долго, они тянулись и тянулись, за это время наставник Савл успел и пожить и умереть. Ты имеешь в виду, что он сначала жил, а затем умер? Не знаю, во всяком случае он умер как раз посреди этих долгих растянутых лет, и лишь в конце их мы повстречались с учителем на деревянном перроне нашей станции, и в ведре у Норвегова плескались какие-то водяные животные. Но я не понимаю, в каком именно конце указанных лет произошла наша встреча — в том или другом. Я объясню тебе, когда-то, в каком-то научном журнале (я показывал отцу нашему эту статью, он полистал и тут же выбросил весь журнал с балкона, причем, выбрасывая, несколько раз выкрикнул слово а к а т о в щ и н а), я прочитал теорию одного философа. К ней было предисловие, мол, статья печатается в беспорядке дискуссии. Философ писал там, что, по его мнению, время имеет обратный счет, то есть движется не в ту сторону, в какую, как мы полагаем, оно должно двигаться, а в обратную, назад, поэтому все, что было,— это все еще только будет, мол, истинное будущее — это прошлое, а то, что мы называем будущим — то уже прошло и никогда не повторится, и если мы не в состоянии вспомнить минувшего, если оно скрыто от нас пеленою мнимого будущего, то это не вина, но беда наша, поскольку у всех у нас поразительно слабая память, иначе говоря, подумал я, читая статью, как у меня и у тебя, как у нас с тобой и у нашей бабушки — избирательная. И еще я подумал: но если время стремится вспять, значит все нормально, следовательно Савл, который как раз умер к тому времени, когда я читал статью, следовательно Савл еще б у д е т, то есть придет, вернется — он весь впереди, как бывает впереди непочатое лето, полное великолепных речных

нимфей, лето лодок, велосипедов и лето бабочек, коллекцию которых ты наконец собрал и отправил в большом ящике из-под заграничных яиц в нашу уважаемую Академию. Посылку ты сопроводил следующим письмом: «Милостивые государи! не раз и не два устно (по телефону) и письменно (по телеграфу) просил я подтверждения слухов о проведении академического энтомологического конкурса имени одного из двух меловых стариков, стоящих во дворе нашей специальной школы. Увы, я не получил никакого ответа. Но, будучи страстным и в то же — имеющее обратный ход — время беззаветно преданным науке коллекционером, я считаю своим долгом предложить высокому вниманию вашего ученого совета мою скромную коллекцию ночных и дневных бабочек, среди коих вы найдете как летних, так и зимних. Эти последние представляют, по-видимому, особый интерес, поскольку — несмотря на многочисленность — почти не заметны в природе и в полете, о чем ваш покорный слуга уже упоминал в беседах со специалистами, в частности с академиком А. А. Акатовым, чрезвычайно тепло отозвавшимся о настоящей коллекции, насчитывающей ныне более десяти тысяч экземпляров насекомых. О результатах конкурса прошу сообщить по адресу: железная дорога, ветка, станция, дача, звонить велосипедным звонком, пока не откроют». Ты заклеил конверт и, прежде чем положить его к бабочкам в яичный ящик, написал на обратной стороне конверта: лети с приветом, вернись с ответом — крест-на-крест, по диагоналям, крупно. Так учила нас преподаватель русского языка и литературы по прозвищу Водокачка, хотя если искать человека менее всего похожего на водокачку — как внешне, так и внутренне,— то лучше нашей Водокачки никого не отыскать. Но тут дело было не в сходстве, а в том, что буквы, составляющие само слово, вернее половина букв (читать через одну, начиная с первой) — это ее, преподавателя, инициалы: В. Д. К. Валентина Дмитриевна Калн — так ее звали. Но остаются еще две буквы — Ч и А,— и я забыл, как расшифровать их. В понятии наших одноклассников они могли бы означать что угодно, а между

тем не признавалась никакая иная расшифровка, кроме следующей: Валентина Дмитриевна Калн — человек-аркебуза. Забавно, что и на человека-аркебузу Калн походила не больше, чем на водокачку, но если тебя попросят когда-нибудь дать ей, Водокачке — хотя непонятно, зачем и кому может явиться в голову такая мысль,— более точное прозвище, ты вряд ли отыщешь его. Пусть та преподаватель совершенно не была похожа на водокачку,— скажешь ты,— зато она необъяснимо напоминает само слово, сочетание букв, из которых оно состоит (состояло, будет состоять) — В, О, Д, О, К, А, Ч, К, А.

Глава четвертая
СКИРЛЫ

Теперь позволь мне откашляться, посмотреть тебе прямо в глаза и уточнить одну деталь из твоего сопроводительного письма. В нем сказано, будто бы сам Акатов тепло отзывался о нашей коллекции, но я не припомню, чтобы мы беседовали с ним на эту тему — мы вообще ни разу не встречались с ним, мы видели его лишь издали, обычно в щели забора, но как мечтали мы пройти однажды по дорожке акатовского сада, постучать в двери дома и — когда старик откроет — поздороваться и представить себя: ученик вашей дочери — такой-то, начинающий энтомолог, хотелось бы обсудить с вами некоторые проблемы, etc. Но мы ни разу не осмелились постучать в двери дома его, поскольку — или по другой причине? — в саду жила большая собака. Послушай, я не люблю, когда ты называешь мою коллекцию — нашей коллекцией, тебе никто не давал такого права, я собирал мою коллекцию один, и если мы когда-нибудь сольемся в общем поступке, то поступок этот не будет иметь никакого отношения к бабочкам; ну вот, теперь насчет беседы с Акатовым: это правда, я не обманул Академию, я действительно говорил с ним. Однажды летом, на даче, в воскресенье,

когда отец с утра засадил нас переписывать передовые статьи из газет, чтобы мы лучше разбирались в вопросах внешней и внутренней к а л и т и к и, я решил, что ты прекрасно справишься здесь и без меня. Я выждал момент: ты отложил ручку, отвернулся к окну и принялся рассматривать строение цветка сирени,— я неслышно вышел из-за стола, надел отцовскую шляпу — она висела на гвозде в прихожей, взял трость — это была трость одного из наших родственников, забытая им лет пять назад. На платформе станции пять лет назад, вечером. Наша мать — родственнику: я надеюсь, вы хорошо отдохнули у нас, не раздавите клубнику, помойте, передавайте привет Елене Михайловне и Витюше, приезжайте вместе, не обращайте внимания на мужа, у него это просто нервное, много работает, куча дел, устает, но вы же знаете, он, в общем, добрый, да, в душе мягкий и добрый, но может сорваться иногда, так что приезжайте, приезжайте, только не спорьте с ним, погодите, а где же трость, вы, кажется, были с тростью, вы оставили трость, ах, какая неприятность, что же делать. Взволнованно. Давайте вернемся, будет еще одна электричка. Родственник: помилуйте, не стоит, не беспокойтесь, если бы зонт — куда ни шло, как раз дождь собирается, спасибо за ягоды, признателен, а за тростью мы приедем, подумаешь — трость, чепуха, не в трости, как говорится, счастье, до встречи, уже подходит. Однако с тех пор родственник так и не приехал, и трость находилась на веранде до того самого дня, когда я взял ее и направился в соседний поселок в гости к естествоиспытателю Акатову: тук-тук (собака подбегает и обнюхивает меня, но сегодня я не боюсь ее), тук-тук. Но никто не открывает двери дома. И тогда еще раз: тук-тук. Но никто не отзывается. Ты обходишь особняк вокруг, по густой газонной траве, заглядываешь в окна, чтобы проверить, есть ли в доме большие настенные часы с боем, которые по твоим расчетам непременно должны быть, дабы с помощью маятника резать на куски дачное время,— но все окна занавешены. По углам дома врыты в землю пожарные бочки, в них — до половины — ржавая вода, и живут какие-то

неторопливые насекомые. Лишь одна бочка совершенно пуста, в ней нет ни воды, ни насекомых, и к тебе является счастливая мысль — наполнить ее криком своим. Долго стоишь ты, наклонившись над темной цилиндрической бездной, перебирая в своей избирательной памяти слова, которые лучше прочих звучат в пустоте пустых помещений. Таких слов немного, но они есть. Например, если — изгнанный с урока — бежишь ты по школьному коридору, когда в классах идут занятия, и внутри естества твоего родится желание кричать так, чтобы крик твой леденил кровь лживых и развратных учителей твоих, и чтобы они, оборвав речь свою на полуслове, глотали бы языки и обращались на потеху идиотам-ученикам в меловые столбы и столбики (в зависимости от роста), то не придумаешь ничего восхитительнее вопля: бациллы! Как вы считаете, наставник Савл?

Дорогой ученик и товарищ такой-то, сидя ли на подоконнике в уборной, стоя ли у карты перед лицом класса с указкой в руке, играя ли в преферанс с некоторыми сотрудниками в учительской или в котельной, я нередко оказывался свидетелем того, в какой нездешний ужас приводил этот безумный ваш крик и педагогов, и учеников, и даже глухонемого истопника, ибо где-то и кем-то сказано: глухой, придет время — и услышит. Разве не видел я, как совковая лопата, которою неустанно швыряет он уголь в ненасытные адовы топки в течение холодных сезонов, разве — спрашиваю я — не видел я, как совковая лопата выпадала из дланей несчастного старца, когда наставало время вашего крика, время — глухому слышать, и он, обернув ко мне обуглившееся и страшное в танцующих бликах и отблесках пламени, изъязвленное и небритое лицо свое, обретал на минуту дар речи и следом за вами, мотая похмельной головой, кричал — нет, он рычал — то же слово: бациллы, бациллы, бациллы. И столь велик бывал гнев его, и так сильна страсть, что огонь в топках погасал от рыка его. И разве не видел я, как бледнели при вашем крике привычные ко многому

учителя спецшколы, и карты, игральные карты, что держали они в руках, обращались в листочки лесного бредовника, имеющего свойство вытягивать гной, и они, педагоги, стонали от ужаса. А разве не видел я, как лица ваших соучеников, и без того бесконечно тупые, становились от вашего вопля еще тупее, и у всех, даже у самых приспособленных к учебе, и у тех, что казались почти здоровыми, вдруг в ответном, хотя и немом, крике отверзались рты — и все недоумки спецшколы орали чудовищным онемевшим хором, и больная желтая слюна текла из всех этих испуганных психопатических ртов. Так не спрашивайте меня понапрасну, что думаю я о неистовом и чарующем вашем крике. О, с какою упоительною надсадой и болью кричал бы и я, если бы дано мне было кричать лишь вполовину вашего крика! Но не дано, не дано, как слаб я, ваш наставник, перед вашим данным свыше талантом. Так кричите же вы — способнейший из способных, кричите за себя и за меня, и за всех нас, обманутых, оболганных, обесчещенных и оглупленных, за нас, идиотов и юродивых, дефективных и шизоидов, за воспитателей и воспитанников, за всех, кому не дано и кому уже заткнули их слюнявые рты, и кому скоро заткнут их, за всех без вины онемевших, немеющих, обезъязыченных — кричите, пьяня и пьянея: бациллы, бациллы, бациллы!

В пустоте пустых помещений неплохо звучат и некоторые другие слова, но, перебрав их в памяти своей, ты понимаешь, что ни одно из них, известных тебе, в этой ситуации не подходит, ибо для того, чтобы наполнить пустую акатовскую бочку, необходимо совершенно особое, новое слово, или несколько слов, поскольку ситуация представляется тебе исключительной. Да, говоришь ты себе, тут нужен крик нового типа. Проходит минут десять. В саду Акатовых — много кузнечиков, они скачут в теплых янтарных травах, и всякий раз прыжок любого — неожидан и быстр, подобно выстрелу из спецшкольной рогатки. Пожарная бочка манит тебя пустотой своей, и пустота эта, и тишина, живущая

и в саду, и в доме, и в бочке, скоро становятся невыносимыми для тебя, человека энергического, решительного и делового. Вот почему ты не желаешь больше размышлять о том, что кричать в бочку,— ты кричишь первое, что является в голову: я — Нимфея, Нимфея! — кричишь ты. И бочка, переполнившись несравненным гласом твоим, выплевывает излишки его в красивое дачное небо, к вершинам сосен — и по дачным душным мансардам и чердакам, набитым всяческим барахлом, по волейбольным площадкам, где никто никогда не играет, по вольерам с тысячами ожиревших кроликов, по гаражам, провонявшим бензином, по верандам, где на полу разбросаны детские игрушки и чадят керосинки, по огородам и вересковым пустошам вкруг дачных поселков — несется эхо — излишки твоего крика: ея-ея-ея-ея-яяяя-а-а! Отец твой, отдыхающий в гамаке у себя на участке, вздрагивает и просыпается: кто там кричал, будь он проклят, мать, мне послышалось, где-то на пруду орал твой ублюдок, разве я не приказал ему заниматься делом. Отец торопится в дом и заглядывает в комнату. Он видит, как ты сидишь за письменным столом и старательно — старание выражено в том, что ты склонил свою наголо стриженную голову набок и нелепо изогнул спину, будто тебя всего изломали, да, сбросили на камни с высокого обрыва, а затем подошли и еще больше изломали с помощью кузнечных щипцов, которыми держат раскаленные болванки,— пишешь. Но отец видит лишь то, что видит, он не знает, не догадывается, что за столом сидишь только один ты, а другой ты стоишь в тот момент возле акатовской бочки, радуясь своему летучему крику. Оглянувшись вокруг, замечаешь ты у сарая довольно пожилого человека в рваном, белом, похожем на медицинский, халате. Человек подпоясан веревкой, на голове у него — треуголка из пожелтевшей газеты, а на ногах — посмотри внимательно, что же у него на ногах, то есть как он обут,— а на ногах у него — я не могу хорошенько рассмотреть, он все-таки сравнительно далеко — на ногах у него, кажется, боты. Пожалуй, ты ошибаешься, разве это боты, а не кеды? Трава слишком высокая;

если бы ее покосить, то я бы утверждал более определенно насчет обуви его, а так — не разберешь, впрочем, я уже понял: это галоши. А ну-ка, присмотрись, у человека, по-моему, нету брюк, я имею в виду, что не вообще нету, а в частности, в настоящий момент нету, иными словами — он без брюк. Ничего особенного, сейчас лето, а летом не довольно ли одного халата и галош; в брюках, если надеть халат, будет жарко, поскольку халат — это почти пальто, в какой-то степени пальто, пальто без подкладки, или наоборот, подкладка без пальто, или просто — легкое пальто. И если халат белый, медицинский, то по-иному можно именовать его легким медицинским пальто, а если халат белый, но принадлежит не врачу, а, предположим, ученому, смело назови такой халат легким научным пыльником или — лабораторным пальто. Ты все правильно объясняешь, но мы еще не знаем, кому принадлежит халат, надетый на человека в галошах, проще говоря: кто там столь пожилой и тихий стоит у сарая — в газетной треуголке, в белом пыльнике и галошах на босу ногу, кто это? Неужели ты не узнал его, это сам Акатов, заявивший некогда всему миру, что страшные вздутия на различных частях растений — галлы — вызываются тем-то и тем-то, что было весьма опрометчиво с его стороны, хотя, как видишь, справедливость победила и после того-то и того-то, о чем давно не принято вспоминать, академик спокойно живет у себя на даче, а ты, явившийся к нему для беседы, наполняешь криком его пожарную бочку. И академик, в пристальной настороженности своей похожий на небольшое сутулое дерево, тонким и взволнованным человеческим голосом спрашивает тебя: кто вы, я опасаюсь вас, неужели вас много? Не страшитесь, сударь,— говоришь ты, стараясь быть как можно интеллигентней в манерах и речи,— я совершенно один, абсолютно, а если возникнет кто-то другой, то не верьте ему, будто он — это тоже я, это вовсе не так, и вы, очевидно, догадываетесь, в чем дело; когда он придет, я спрячусь в поленнице, а вы, вы — солгите ему, солгите, умоляю вас, мол, ничего не знаю, здесь никого не было, он поищет и смоется, и мы

не торопясь продолжим беседу. А зачем вы так кричали в бочку,— интересуется Акатов,— что вас понудило? Приладив ладонь к уху, добавляет: только говорите громче, я плоховато слышу. Сударь, позвольте, я пройду к вам сквозь эти высокие травы. Шагайте, мне кажется, я уже не боюсь вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогой Аркадий Аркадьевич, суть в том, что я ловлю бабочек. А-а, бабочек, и много поймали? Снежных или вообще? — отвечаешь ты вопросом на вопрос. Снежных, разумеется,— говорит академик. Столько-то,— говоришь ты,— я коллекционирую коллекцию, в настоящий момент она вбирает в себя такие-то и такие-то виды. Ого, какая прелесть,— удивляется Акатов,— но отчего так громко, я не выношу крика, коллекционируйте тихо, ради Бога. Лицо его, морщинистое и смуглое, как груша в компоте, бледнеет от раздражения. Впрочем,— продолжает он,— вы все равно будете кричать, что бы там ни было, я знаю, это судьба вашего поколения, ведь вы молоды, вам на вид не дашь и шестнадцати. О нет, сударь, вы ошибаетесь, мне давно за двадцать, мне тридцать, видите, ведь я ношу шляпу и трость. Так, ладно, послушайте,— перебивает тебя Акатов,— могу ли я обратиться к вам за консультацией? Оживленно. К вашим услугам, сударь, я весь — внимание. На днях,— академик оглядывается по сторонам и понижает голос почти до шепота,— я изобрел некоторое изобретение, следуйте за мной, оно в сарае, я нынче запер дом и живу в сарае, так удобнее, занимаешь меньше места. То был обыкновенный сарай, каких немало в нашей дачной местности: потолок — изнанка крыши, стенки из неструганых досок и такой же пол. Что же увидел ты внутри сарая, когда вошел туда, сняв у порога обувь твою и оставив трость, дабы не наследить там? Стол, стул, кровать и стопку книг на подоконнике увидел я там. А над всем этим, щурясь от белого зимнего солнца — в енотовой шубке — на фоне сугроба и дачного заснеженного леса — сияла, летела, царила — твоя несравненная Вета — учительница по анатомии, ботанике, биологии — и на ее удивительном, захлестывающем, как удушливая петля, лице — не было

ничего, что помнило бы о тебе или говорило с тобой один на один — о, Нимфея, это лицо было лицом для всех, кто когда-либо смотрел на него, и было обещано многим,— но разве в том страшном, необратимом и неразличимом во тьме номеров и квартир множестве, разве в том числе — было место и для тебя, неуспевающего олуха специальной школы, от неистовой нежности и восторга обратившегося в сорванный тобою же цветок, разве и ты, желая того в неисчислимое число раз больше других, разве и ты был в том числе?! Господи сударь какая изумительная фотография она здесь как живая то есть нет я ошибся стилистическая ошибка я хотел сказать как настоящая как на уроке красивая и недоступная кто это снимал когда почему я ничего не знаю какой-нибудь подлец с фотоаппаратом кто он в каких они отношениях здесь или в другом месте легион вопросов. Так вот, я изобрел некое изобретение: видите, обыкновенная палочка, а? казалось бы. Да да казалось бы сударь казалось бы я тоже приезжаю сюда зимой довольно часто но приезжаю один без всяких там фотографов я не фотографируюсь на фоне сугробов у меня просто нет знакомых с фотоаппаратами, она должна была казалось бы поставить меня в известность мол так и так так и так так и так ездила в Край Козодоя на машине с одним инженером кандидатом искусствоведом режиссером счетоводом черт побери фотографировалась на фоне сугроба на дачу мол даже не заходили чтобы не расчищать дорожки от снега погуляли полчаса и вернулись в город ведь я бы поверил. Но это глубочайшее заблуждение, следите, юноша, я из одного вертикального положения перевожу ее в другое вертикальное положение, а иначе говоря — ставлю ее вверх ногами, и что же открывается нашему с вами изумленному взору? Ору сударь ору ибо обманутая Нимфея аз есмь лысая слабая плоскостопая с высоким как у настоящего кретина лбом и старым от сомнений лицом взгляните я совершенно ужасен мой нос весь в неприятных угрях а губы вытянуты вперед и расплющены словно я родился от утки и не имеет значения что когда-то в расцвете переломного возраста я учился играть

на перламутровой три четверти Баркаролле это не помогло мне все равно мучительно больно. Мы видим обыкновенный гвоздь, вбитый в торец нашей палочки, он вбит шляпкой, а острый конец его смотрит на нас подобно смертоносному стальному жалу,— но не робейте, юноша, я не направлю его в вашу сторону и не причиню вам колющей раны, но я направлю его на всякую бумажку, загрязняющую мой дачный участок, и я проткну ее моим уникальным изобретением, и когда их, бумажек, скопится на острие достаточно, я сниму их с гвоздя, как богатырь снимает с копья насаженных на него врагов, и кину в бездну отхожей ямы, что в углу моего сада,— таково мое изобретение, позволяющее мне, старику, не покидать ряды несгибаемых борцов: из-за болезней я не могу нагнуться и поднять бумажку, но благодаря обыкновенной палочке с гвоздиком я борюсь за чистоту не сгибаясь; так вот, поскольку вы кажетесь мне на редкость порядочным человеком, я позволю себе просить вашего совета, а именно: есть ли, на ваш взгляд, смысл взять патент, запатентовать эту палочку?

Сдерживая негодующий птичий клекот, который мечется в твоем ангинозном горле меж невырезанных гланд: уважаемый Аркадий Аркадьевич, я чрезвычайно ценю ваше изобретение, однако сейчас я сам нуждаюсь в вашем совете — и даже в большей степени, чем вы — в моем, у вас вопрос честолюбия, а у меня — извините, я говорю как в романе и оттого мне как-то неловко и смешно,— у меня к вам вопрос целой жизни. Подождите, подождите, я опять начинаю опасаться вашего присутствия, неужто вы действительно собираетесь спросить меня о чем-то важном, дайте я сяду, неужели вам что-либо нужно от немолодого полунезрячего дачника, да кто вы такой, в конце концов, чтобы задавать мне вопросы, и потом — перестаньте кричать в мою прекрасную бочку. Больше не стану, сударь, я готов объяснить все, я живу по соседству, на даче моих родителей, а здесь вокруг так красиво, что один раз со мной случилась неприятность, но об этом после,

главное в том, что я ненавижу одну женщину, еврейку, Шейну Тинберген, она — ведьма, она работает завучем у нас в школе, поет про кота, ну, вы, наверное, учили в детстве эту песенку: тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота, за Кота Котовича,— а кстати, помните, как звали кота, сударь? Минутку, юноша,— Акатов трет голубые пульсирующие виски, напрягая память,— кота звали Трифон Петрович. Верно, впрочем, я опять не о том, к черту Трифона Петровича, он обыкновенный экскаваторщик, лучше побеседуем о самой Шейне. Представляете, когда она, эта хромая старуха, приплясывая, движется по огромному пустому коридору (лампы горят через одну, вторая смена убежала домой, и только меня оставили после уроков делать уроки на завтра), а я стою в конце его или иду ей навстречу, держа наготове почтительный наклон головы, мне становится так жутко, как не бывает даже во сне после уколов. Нет, она никогда не делала мне ничего дурного, и я говорил (говорю, буду говорить) с ней лишь о патефоне; и хотя он у меня сто лет не работает и не должен бы играть ни за какие деньги, когда Шейна уносит его в свою комнату и запирается, то он играет как новый. Точнее, он не играет, а рассказывает: старуха крутит на нем пластинку с голосом своего покойного мужа, который повесился, потому что она изменяла ему с Сорокиным в гараже, или нет, повесился Сорокин, а ее муж, Яков, он отравился. Понимаю,— отзывается Акатов,— но какого рода текст записан там, на пластинке? А-а, вот-вот, это-то и есть самое главное, там, на пластинке покойный Яков читает Скирлы. Помилуйте, юноша, впервые слышу. Кошмарная штука, сударь, я даже не решаюсь, но вкратце так: понимаете, Скирлы — это название сказки, страшная детская сказка про медведя, я не сумею в точности, в общем, в лесу живет медведь, казалось бы ничего особенного, казалось бы! но беда состоит в том, что медведь тот — инвалид, калека, у него нету одной ноги, причем непонятно, как так все получилось, только известно, что ноги нету, по-моему, задней ноги, и вместо нее у медведя деревянный протез. Он, медведь, выточил его

из ствола липы — топором, и когда медведь идет по лесу, далеко слышен скрип протеза, он скрипит так, как называется сказка: скирлы, скирлы. Яков хорошо подражает этому звуку, у него был скрипучий голос, он служил провизором. В сказке участвует еще и девочка, по-видимому меловая, она боится медведя и не отлучается из дома, но однажды — черт его знает, как так получилось — медведь все же подстерегает ее и уносит в специальном — лубяном, что ли,— коробе к себе в берлогу и что-то там с ней делает, неизвестно, что именно, в сказке не объясняется, на том все и кончается, ужасно, сударь, не знаешь, что и думать. Когда я вспоминаю Скирлы — хотя я стараюсь не вспоминать, лучше не вспоминать,— мне мерещится, будто девочка та — не девочка, а одна моя знакомая женщина, с которой у меня близкие отношения, вы понимаете, конечно, мы с вами — не дети, и мне мерещится, что медведь — тоже не медведь, а какой-то неизвестный мне человек, мужчина, и я прямо вижу, как он что-то делает там, в номере гостиницы, с моей знакомой, и проклятое скирлы слышится многократно, и меня тошнит от ненависти к этому звуку, и я полагаю, что убил бы того человека, если бы знал, кто он. Мне тяжело думать про сказку Скирлы, сударь, но, поскольку я редко делаю домашнее задание, меня часто оставляют после уроков делать уроки на завтра и на вчера, и, оставшись один в классе, я обычно выхожу пройтись в коридор, а выйдя, встречаюсь там с Тинберген, а когда я вижу ее, грядущую искалеченной, но вместе и какой-то почти веселой, танцующей походкой, и слышу тоскливый — как крик одинокого козодоя — скрип ее протеза, то — увольте, сударь,— не могу не думать о сказке Скирлы, потому что звук именно тот самый, как в гостинице, и она сама, седобородая ведьма с заспанным лицом старухи, которая уже умерла, но которую насильно разбудили и заставили жить, она, в сумеречном свете безлюдного коридора, где бликующий паркетный пол, она сама и есть Скирлы, воплотившая в себе все самое

печальное из этой истории с девочкой, хотя я до сего дня не разберусь, в чем тут дело, и отчего все это так, а не по-другому.

Да, юноша, да, я без труда понимаю вас. Задумчиво. Когда-то что-то похожее было и у меня, что-то такое случалось, происходило и в моей юности, я, разумеется, не помню, что конкретно, однако все в той или иной мере походит на ваш случай. Но,— спрашивает вдруг Акатов,— в какой школе вы обучаетесь, я ничего не соображаю, ведь вам уже за двадцать, вам тридцать, в какой же школе? В специальной, сударь. Ах вот как,— говорит академик (вы покидаете сарай, и ты в последний раз оглядываешься на ее фотографию),— и на чем же специализируется ваша школа? Впрочем, если вам трудно или неудобно или если это секрет,— не отвечайте, я не вынуждаю, в вашем ответе нет почти никакой надобности, как и в моем вопросе, мы беседуем с вами по-свойски, мы ведь не на экзаменах в Оксфорде, поймите меня правильно, я поинтересовался просто так, спросил — чтобы спросить, так сказать, в порядке бреда, любой из нас вправе задать любой вопрос, и любой вправе не отвечать на любой вопрос, но, к сожалению, здесь — здесь и там, повсюду, еще не многие усвоили эту истину, они заставляли меня отвечать на каждый их вопрос, они — в заснеженных. Но я же — не они,— продолжал Акатов, распахивая и запахивая белый научный пыльник,— и не отвечайте мне, если нет охоты, лучше посидим молча, оглянемся вокруг, послушаем, как поет лето — и прочее, нет-нет, не отвечайте, я ничего не желаю знать о вас, вы и так стали мне симпатичны, вам удивительно к лицу эти трость и шляпа, только шляпа чуть велика, вы, верно, приобрели навырост. Вот именно, навырост; но я хотел бы ответить, тут нет ничего неудобного: школа, где я занимаюсь, специализируется на дефективных, это школа для дураков, мы все, которые там учатся,— ненормальные, каждый по-своему. Позвольте, я что-то слышал об одном подобном заведении, там сотрудничает кто-то из моих знакомых, но вот кто

именно? Вы, возможно, говорите о Вете Аркадьевне, она работает у нас в школе, ведет то-то и то-то. Ну конечно же! Вета, Вета, Вета, разута и раздета,— без всякого мотива пропел, в рассеянности пощелкивая пальцами, Акатов. Что за чудная песенка, сударь! Ерунда, юноша, семейная частушка-пустушка, из прежних лет, лишена смысла и мелодии, забудьте ее, боюсь, она развратит вас. Никогда, никогда,— взволнованно. Что? Я сказал, я никогда не забуду ее, она страшно нравится мне, я ничего не могу поделать; да, у нас с ней некоторая разница в возрасте, но, как бы лучше определить, сформулировать, нас объединяет большее, нежели разъединяет, вы говорите, о чем это я, а я, по-моему, выражаюсь предельно ясно, Аркадий Аркадьевич. То общее, о котором я только что упомянул,— привязанность ко всему, что мы с вами, являясь людьми науки, назовем живой природой, все растущее и летающее, цветущее и плавающее — это то самое и есть, и цель моего визита к вам — не только бабочки, хотя я — честное слово — ловил их с самого детства и не перестану ловить, пока у меня не отсохнет правая рука, подобно руке художника Репина, и я пришел к вам не для того, чтобы кричать в бочку, хотя и в этом занятии я склонен видеть высокий смысл, и я никогда не брошу кричать в бочки и буду заполнять криком своим пустоту пустых помещений, покуда не заполню их все, чтобы не было мучительно больно, однако я снова отклоняюсь, короче: я люблю вашу дочь, сударь, и готов сделать все для ее счастья. Больше того, я намерен жениться на Вете Аркадьевне, как только позволят обстоятельства. Торжественно, с достоинством и легким поклоном.

Бедный Акатов, это было так неожиданно для него, боюсь, ты немного огорчил старика, наверное, тебе следовало лучше подготовить его к подобному разговору, например, написать два-три предупредительных письма, известить о своем приходе заранее, позвонить или что-нибудь в таком роде, боюсь, ты поступил бестактно, а потом — так делать нечестно: ты не имел

права просить руки Веты Аркадьевны один, без меня, я тоже никогда не забуду ее, и все растущее и летающее необъяснимо сближает и меня с ней, растущее и летающее является общим и для нас, для меня и для нее, ты сам знаешь, но ты, конечно, ничего не сообщил Акатову обо мне, о том, кто гораздо лучше и достойнее тебя, и за это я ненавижу тебя и расскажу тебе о том, как некто, неразличимый в сумраке гостиничного коридора, ведет нашу Вету к себе в номер, и там, там... Нет погоди я совершенно не виноват ты загляделся на лепестки сирени ты переписывал статью я ушел из дома отца моего случайно я не предполагал что мне удастся могло ничего не получится я хотел видеть Акатова только насчет бабочек я бы все обязательно сказал ему и о тебе о твоем огромном нечеловеческом чувстве которое ты же знаешь которое я так уважаю я бы сказал что не один что нас двое я и говорил ему про это сначала я сказал бы сударь да я люблю вашу дочь но есть человек который будучи несравненно достойнее и лучше меня любит ее в сто раз горячей, и хотя я благодарен вам за положительное решение вопроса, следовало бы, очевидно, пригласить и того человека, он, без сомнения, понравится вам больше, хотите, я позову его, он тут, недалеко, в соседнем поселке, он собирался прийти, но был несколько занят, у него дело, срочная переписка (он что — переписчик? нет-нет, что вы, просто есть люди, вернее — один человек, который заставляет его кое-что переписывать из газет, так нужно, без этого ему было бы нелегко жить в том доме), а кроме того, он загляделся на лепестки сирени, а я не решился отвлечь, давайте же я позову его,— сказал бы я академику, если бы решение вопроса оказалось положительным. А разве Акатов отказал тебе? Только скажи мне всю правду, не лги, или я страшно возненавижу тебя и пожалуюсь наставнику Савлу: мертвый или живой — он никогда не терпел лицеприятия и лукавства. Клянусь тебе этим пламенеющим в наших сердцах именем, что отныне и впредь я, ученик специальной школы — такой-то по прозвищу Нимфея Альба, человек высоких стремлений и помыслов, борец за вечную людскую радость, ненави-

стник черствости, эгоизма и грусти, в чем бы они ни проявлялись, я, наследник лучших традиций и высказываний нашего педагога Савла, клянусь тебе, что ни разу уста мои не осквернит ни единое слово неправды, и я буду чист, подобно капле росы, родившейся на берегах нашей восхитительной Леты ранним утром — родившейся и летящей, чтобы оросить чело меловой девочки Веты, которая спит в саду столько-то лет вперед. О, говори! как я люблю эти высказывания твои, исполненные силы и красноречия, вдохновения и страсти, мужества и ума. Говори, торопясь и глотая слова, нам нужно обсудить еще много разных проблем, а времени так мало, наверное, не больше секунды, если я правильно понимаю смысл упомянутого слова.

Тогда Акатов (нет-нет, я сам предполагал, что он станет смеяться, будет издеваться над моей, точнее, отцовской шляпой, и над тем, что я не слишком красив, более того — уродлив, а между тем прошу руки такой несравненной женщины) просто посмотрел на меня, опустил голову и стоял, размышляя о чем-то, скорее всего — о нашем разговоре, о моем признании. Причем, если до последних слов моих он походил на небольшое сутулое дерево, то тут — прямо на глазах — сделался похожим на небольшое сутулое дерево, которое высохло и перестало чувствовать даже прикосновения трав и ветра: Акатов размышлял. Тем временем я читал газетные заголовки на его треуголке и рассматривал его научный пыльник — широкий, свободный, из которого, как язык из колокола, висели худые и венозные ноги Акатова, ноги мыслителя и честолюбца. Мне нравился пыльник, и я думал, что с удовольствием носил бы такой же, если бы имел возможность купить. Я носил бы его повсюду: во саду ли, в огороде, в школе и дома, за рекой в тени деревьев и в почтовом дилижансе дальнего следования, когда за окнами — дождь и плывущие мимо деревни, крытые соломой, нахохлились, будто мокрые куры, и душа моя человеческими страданиями уязвлена есть. Но пока — пока я не стал инженером — у меня нет пыльника, я ношу

обыкновенные брюки с отворотами, перешитые из старых прокурорских отца моего, о четырех пуговицах двубортный пиджак и ботинки с металлическими полузаклепками — в школе и дома. Сударь, отчего вы молчите, неужели я чем-то обидел вас, или вы сомневаетесь в искренности моих слов и чувств к Вете Аркадьевне? Поверьте, я никогда не смог бы солгать вам, человеку, отцу обожаемой мною женщины, не сомневайтесь, пожалуйста, и не молчите, иначе я повернусь и уйду, дабы наполнить криком своим пустоту наших дачных поселков — криком о вашем отказе. О нет, юноша, не уходите, мне будет одиноко, знаете, я без колебаний принимаю на веру каждое ваше слово, и если Вета согласится, я не стану иметь ничего против. Поговорите с ней, поговорите, вы же еще не открылись ей самой, она, я догадываюсь, ничего пока не подозревает, и что же мы можем решить без ее согласия, понимаете? мы ничего не можем решить. Задумчиво с трудом слова подбирая слова подбирая глазами предварительно отыскивая их в траве где сухо скачут недовольные чем-то кузнечики причем у всякого зеленый выходной фрак зеленые дирижеры слова подбирая в траве. Не скрою, сударь, я, в самом деле, еще не объяснялся с Ветой Аркадьевной, просто не было времени; хотя мы встречаемся довольно часто, наши беседы обычно касаются другого, мы говорим больше о делах науки, у нас много общего, это закономерно: два молодых биолога, два естествоиспытателя, два ученых, подающих одежды. Но помимо того — с обеих сторон — зреет — уже назрело — нечто совсем особое, общность интересов дополняется какой-то иной общностью. Прекрасно понимаю вас, юноша, в ваши лета что-то похожее произошло и со мной, со мной и с одной женщиной, мы были наивны, хороши собой и потеряли головы. Дорогой Аркадий Аркадьевич, я намерен сделать вам заодно еще одно признание. Видите ли, я не вполне уверен, что нравлюсь Вете Аркадьевне как мужчина, возможно, та общность, о которой я упоминал, основана со стороны вашей дочери лишь на человеколюбии, я имею в виду, что она любит меня только как человека, я не утверж-

даю, но лишь предполагаю это из боязни показаться смешным, мне бы не хотелось очутиться в щекотливом положении. А поскольку вы — отец Веты Аркадьевны и знаете ее вкусы и характер куда лучше, чем я, осмеливаюсь спросить вас: достоин ли я, по вашему мнению, симпатии вашей дочери и как мужчина, я как-то смутно опасаюсь, что кажусь ей несколько неинтересным. Посмотрите, вглядитесь внимательно, так ли это в действительности, или может лишь показаться. Неужто черты мои столь уродливы, что и самые возвышенные чувства из всех доступных человеку не улучшили лица и стати моих? Но, ради Бога, не лгите, прошу вас. Какая чепуха,— отвечает Акатов,— вы совершенно нормальны, совершенно, я предполагаю, многие молодые женщины согласились бы пройти с вами по жизни рука об руку — и никогда бы не пожалели. Единственно, что я посоветовал бы вам как ученый,— чаще пользоваться носовым платком. Чистая условность — но как она облагораживает, возносит, приподнимает личность над толпой современников и обстоятельств. Правда, в ваши годы я тоже не знал этого, но зато знал многое прочее, я собирался защищать первую диссертацию и жениться на женщине, что стала позднее матерью Веты. К тому времени я уже работал, много работал и много зарабатывал — а вы? Да, кстати, как вы предполагаете строить вашу семейную жизнь, на каких основах, осознаете ли вы, какая ответственность ляжет на вас как на главу семьи? это очень важно. Сударь, я не мог не догадываться, что вы зададите такой вопрос, и был готов к нему задолго до того, как навестил вас. Я хорошо понимаю, что вы имеете в виду, я уже все знаю, потому что много читаю. Кое о чем я узнал раньше, еще до разговора с нашим географом Норвеговым, но после того, как мы встретились с ним однажды в уборной и потолковали обо всем таком начистоту, мне сделалось понятным почти все. Кроме того, Савл Петрович дал почитать одну книгу, и когда я почитал ее, то понял все до конца. Что же вы поняли? — спрашивает Акатов,— поделитесь.

*

Савл Петрович сидит на подоконнике спиной к закрашенному стеклу, а лицом к кабинкам; босые ступни ног его покоятся на радиаторе, и колена высоко подняты, так что учитель удобно опирает на них подбородок. Экслибрис, книга за книгой. Глядя на двери кабинок, исписанные хулиганскими словами: как много неприличного, как некрасиво у нас в уборной, сколь бедны наши чувства к женщине, как циничны мы, люди спецшколы. Мы не умеем любить нежно и сильно, нет — не умеем. Но дорогой Савл Петрович,— стоя перед ним в белых тапочках из брезента, на зловонной плитке, возражаю я,— несмотря на то, что я не знаю, что и думать и каким образом успокоить вас, лучшего в мире учителя, считаю необходимым напомнить вам следующее: ведь вы-то, вы сами, вы лично — неужто не любите вы сильно и нежно одну мою одноклассницу, меловую девушку Розу. О Роза Ветрова,— говорили вы ей однажды,— милая девушка, могильный цвет, как хочу я нетронутого тела твоего! А также шептали: в одну из ночей смущенного своею красотой лета жду тебя в домике с флюгером, за синей рекой. А также: то, что случится с нами в ту ночь, будет похоже на пламя, пожирающее ледяную пустыню, на звездопад, отраженный в осколке зеркала, выпавшего вдруг из оправы, дабы предупредить хозяина о грядущей смерти, это будет похоже на свирель пастуха и на музыку, которая еще не написана. Приди ко мне, Роза Ветрова, неужели тебе не дорог твой старый мертвый учитель, шагающий по долинам небытия и нагорьям страданий. А также: приди, чтобы унять трепет чресел твоих и утолить печали мои. Да, милый мой, я говорил, а может, только скажу ей эти или похожие слова, но разве слова что-нибудь доказывают? Не помыслите только, будто я лицемерил (буду лицемерить), мне не свойственно, я не умею, но бывает — и вы когда-нибудь убедитесь сами — бывает, человек лжет, не подозревая о том. Он уверен, что говорит правду, и уверен, что исполнит то, что обещает исполнить, но он говорит неправду, и никогда не исполнит, что обещает. Так случается чаще всего в детстве, но потом и в юности, а затем в молодости

и в старости. Так случается с человеком тогда, когда он пребывает в состоянии страсти, ибо страсть безумству подобна. Спасибо, я не знал, я разберусь, я лишь подозревал об этом — об этом и о многом другом. Понимаете, меня тревожит одно обстоятельство, и сегодня, здесь, после уроков, когда на улице сыро и ветрено, а вторая смена будущих инженеров ушла домой, дожевывая помятые в портфелях бутерброды (бутерброды необходимо съесть, чтобы не огорчать терпеливых матерей своих), я намерен сделать вам, Савл Петрович, некое сообщение, которое, вероятно, покажется вам невероятным, оно может заставить вас разочароваться во мне. Я давно собирался посоветоваться с вами, но всякий день откладывал разговор: полно контрольных, слишком донимают заданиями на дом, и пусть я не делаю их, сознание долга гнетет и давит. Утомительно, Савл Петрович. Но вот настал момент, когда я хочу и могу сделать это сообщение. Дорогой учитель! в лесных, затерянных в полях, хижинах, в почтовых дилижансах дальнего следования, у костров, дым коих создает уют, на берегах озера Эри или — не помню точно — Баскунчак, на кораблях типа Бигль, на крышах европейских омнибусов и в женевском туристическом бюро пропаганды и агитации за лучшую семейную жизнь, в гуще вереска и религиозных сект, в парках и палисадниках, где на скамейках нет свободных мест, за кружкой пива в горном кабачке У кота, на передовых Первой и Второй мировых войн, стремительно едучи на нартах по зеленому юконскому льду, обуреваемый золотой лихорадкой, и в прочих местах — тут и там, дорогой учитель, размышлял я о том, что есть женщина, и как быть, если настало время действовать, я размышлял о природе условностей и особенностях плотского в человеке. Я думал о том, что такое любовь, страсть, верность, что значит уступить желанию и что значит не уступать ему, что есть вожделение, похоть; я мыслил о частностях совокупления, мечтая о нем, ибо из книг и прочих источников знал, что оно доставляет радость. Но беда в том, что ни там, ни там, ни там ни разу за всю жизнь не случалось мне быть, а иначе,

вульгарно говоря,— спать с какой-либо женщиной. Я просто не знаю, как это бывает, я бы, наверное, сумел, но не представляю, с чего начать все это, а главное — с кем. Нужна, очевидно, какая-то женщина, лучше всего — знакомая, которую давно знаешь, которая что-нибудь подсказала бы в случае чего, в том случае, если бы что-то не получилось сразу; нужна весьма добрая женщина, я слышал, что лучше всего, если вдова, да, говорят, что почему-то вдова, но я не знаком ни с одной вдовой, только с Тинберген, но она все-таки завуч, и у нее есть Трифон Петрович (а патефон есть только у меня), а других знакомых женщин у меня нет — только Вета Аркадьевна, но я не хотел бы с ней, ведь я люблю ее и намерен на ней жениться, это разные вещи, я совершенно не думаю, заставляю себя не думать о ней как о женщине, я понимаю, что она слишком красива, слишком порядочна, чтобы позволить себе со мной что-либо до свадьбы — не так ли? Правда, есть еще знакомые девочки из класса, но если бы я начал ухаживать за одной из них, например, за той, что умерла недавно от менингита, и мы собирали ей на венок, то боюсь, это не слишком понравилось бы Вете Аркадьевне, подобные вещи сразу заметны: в небольшом коллективе, на виду у соучеников и преподавателей — тут все сразу стало бы ясно, Вета поняла бы, что я намерен изменить ей, и у нее возникли бы справедливые претензии, а тогда наш брак мог бы расстроиться, рухнули бы все надежды, а мы питали их так долго! Несколько раз, Савл Петрович, я пытался знакомиться с женщинами на улице, но я, наверное, не знаю подхода, я не элегантен, некрасиво одет. Короче, у меня ничего не выходило, меня прогоняли, но не скрою — так как ничего не скрою от вас, дорогой наставник,— не скрою, что однажды у меня едва не завязалось знакомство с интересной молодой женщиной, и хотя я не сумею описать ее, поскольку не запомнил ни лица, ни голоса, ни походки ее, я берусь утверждать, что она была необычайно красива, подобно большинству женщин.

*

Где же я повстречал ее? Наверное, в кино или в парке, а скорее всего — на почте. Женщина сидела там за окошечком и ставила штемпели на конвертах и открытках. Был Всежитейский День защиты Козодоя. В тот день с утра я положил для себя, что весь день стану собирать марки. У меня, правда, не оказалось дома ни одной марки, но зато нашлась спичечная этикетка с изображением какой-то птицы, которую нам всем следует охранять. Я понял — это и есть Козодой, и отправился на почту, чтобы мне поставили на него штамп, и женщина, сидевшая там, за окошечком, мне сразу понравилась. Ты сказал нашему учителю, что не можешь описать ту женщину; в таком случае опиши хотя бы день, когда произошла ваша встреча, поведай о том, как было на улице, и о том, какая стояла погода, если это, естественно, не затруднит тебя. Нет-нет, тут нет ничего сложного, и я с удовольствием выполню твою просьбу. Облака в то утро шли по небу быстрее обычного, и я видел, как поспешно появлялись и растворялись друг в друге белые ватные лики. Они сталкивались и наплывали один на другой, цвет их менялся от золотого до сиреневого. Многие из тех, кого мы называем прохожими, улыбаясь и щурясь от рассеянного, но все же сильного солнечного света, как и я, наблюдали передвижение облаков и, подобно мне, ощущали приближение будущего, вестником которого и были эти невыученные облака. Не поправляй меня, я не ошибся. Когда я иду в школу или на почту, чтобы мне поставили штемпель на спичечную этикетку с изображением Козодоя, мне легко бывает отыскивать вокруг себя и в памяти вещи, явления — и мне приятно о них думать,— которые невозможно ни задать на дом, ни выучить. Никто не в состоянии выучить: шум дождя, аромат маттиолы, предчувствие небытия, полет шмеля, броуновское движение и многое прочее. Все это можно изучить, но выучить — никогда. Сюда же относятся и облака, тучи, полные беспокойства и будущих гроз. Кроме облачного неба, в то утро была улица, ехали какие-то машины, и в них ехали какие-то люди, было изрядно жарко. Я слышал, как на газонах росла

нестриженная трава, как во дворах скрипели детские коляски, гремели крышки мусорных баков, как в подъездах лязгали двери лифтовых шахт, и в школьном дворе ученики первой смены стремглав бежали укрепляющий кросс: ветер доносил биение их сердец. Я слышал, как где-то далеко, быть может, в другом конце города, слепой человек в черных очках, стекла которых отражали и пыльную листву плакучих акаций, и торопливые облака, и дым, ползущий из кирпичной трубы фабрики офсетной печати, просил идущих мимо людей перевести его через улицу, но всем было некогда и никто не останавливался. Я слышал, как на кухне — окно в переулок было распахнуто — два старика, переговариваясь (речь шла о Нью-Орлеанском пожаре 1882 года), варили мясные щи: стоял день получения пенсии; я слышал, как булькало в их кастрюле, и счетчик отсчитывал кубосантиметры сожженного газа. Я слышал, как в других квартирах этого и соседних домов стучат печатные и швейные машинки, как листают подшивки журналов и штопают носки, сморкаются и смеются, бреются и поют, смежают веки или от нечего делать барабанят пальцами по туго натянутым стеклам, подражая голосу косого дождя. Я слышал тишину пустых квартир, чьи владельцы ушли на работу и вернутся лишь к вечеру, или не вернутся, потому что ушли в вечность, слышал ритмическое качание маятников в настенных часах и тиканье ручных часов разных марок. Я слышал поцелуи и шепот, и душное дыхание незнакомых мне мужчин и женщин — ты никогда ничего о них не узнаешь,— делающих скирлы, и я завидовал им и мечтал познакомиться с женщиной, которая позволила бы мне сделать с ней то же самое. Я шел по улице и читал подряд вывески и рекламы на домах, хотя давно знал их все наизусть, я выучил каждое слово той улицы. Левая сторона. РЕМОНТ ДЕТСКИХ КОНСТРИКТОРОВ. В витрине — плакатный мальчик, мечтающий стать инженером, он держит в руке большую модель планера. МЕХА ЗАПОЛЯРЬЯ. В витрине — белый медведь, чучело с открытой пастью. КИНО-ЛИСТОПАД-ТЕАТР. Настанет день,

и мы придем сюда вдвоем: Вета и я; какой ряд ты предпочитаешь? — спрошу я у Веты,— третий или восемнадцатый? Не знаю,— скажет она,— не вижу разницы, бери любой. Но тут же добавит: впрочем, я люблю поближе, возьми десятый или седьмой, если это не слишком дорого. А я скажу обиженно: что за ерунда, милая, при чем здесь деньги, я готов отдать все, лишь бы тебе было хорошо и удобно. П Р О К А Т В Е Л О С И П Е Д О В. После кино мы непременно возьмем напрокат два велосипеда. Девушка, выдающая велосипеды напрокат, белокурая и улыбчивая, с обручальным кольцом на правой руке, завидя нас, засмеется: наконец-то нашлись клиенты, странно — на улице такая теплынь, а кататься никто не хочет, просто странно. Ничего странного,— весело скажу я,— весь город в такую погоду уехал за город, сегодня ведь воскресенье, все с утра на дачах, а там — у каждого в сарае стоит свой собственный велосипед, мы вот тоже собрались на дачу, поедем на ваших велосипедах, прямо по шоссе, своим ходом: в электричке, несмотря на мороженое, должно быть душно. Смотрите, осторожнее,— предупредит девушка,— на шоссе большое движение, держитесь ближе к обочине, следите за знаками, не превышайте скорость, обгон только слева, осторожно — пешеходы, движение регулируется вертолетами и радарами. Конечно, мы будем внимательны, нам ни к чему терять головы, особенно теперь, через неделю после свадьбы, мы так долго питали надежды. Ах вот как,— улыбнется девушка,— значит, у вас свадебное путешествие. Да, мы решили немного проехаться. Когда вы вошли, я так и подумала — молодожены: вы ужасно подходите друг другу, поздравляю, мне так приятно, я сама замужем совсем недавно, мой муж — мотогонщик, у него прекрасный мотоцикл, мы ездим очень быстро. Я тоже люблю гонки,— поддержит разговор Вета,— и мне хотелось бы, чтобы и мой муж был мотоциклистом, но, к сожалению, он инженер, и у нас нет мотоцикла, у нас только машина. Да,— повторю я,— к сожалению, только машина, да и та подержанная, но, в принципе, я мог бы купить и мотоцикл. Конечно, купите,— улыбнется

девушка,— купите, а муж научит вас ездить, мне представляется, это не слишком сложно, главное, вовремя выжать сцепление и отрегулировать радиатор. И тут Вета предложит: знаете что, почему бы вам с мужем не заехать к нам на будущей неделе, приезжайте на мотоцикле, наша дача стоит у самой воды, вторая просека налево, будет очень весело, пообедаем, выпьем чаю. Спасибо,— ответит девушка,— мы обязательно приедем, я на днях как раз беру отпуск, скажите только, какой торт вам нравится: гусиные лапки или праздничный, я привезу к чаю. Лучше праздничный, гусиные лапки мы с мужем купим сами, да, праздничный, да, и если это не очень обеспокоит, возьмите заодно килограмма два трюфелей, деньги я сразу верну. Ну что вы, какие там деньги! РЫБА-РЫБА-РЫБА. ЗОО-СНЕГИРЬ-МАГАЗИН. Аквариумы с тритонами и зеленые — на жердочках — попугаи. КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. Будь любознательным, изучай свой край, это полезно. АСП — агентство секретных перевозок. ОБУВЬ. И слово «обувь» как «любовь» я прочитал на магазине. ЦВЕТЫ. КНИГИ. Книга — лучший подарок, всем лучшим во мне я обязан книгам, книга — за книгой, любите книгу, она облагораживает и воспитывает вкус, смотришь в книгу, а видишь фигу, книга — друг человека, она украшает интерьер, экстерьер, фокстерьер, загадка: сто одежек и все без застежек — что такое? отгадка — книга. Из энциклопедии: статья книжное дело на Руси: книгопечатание на Руси появилось при Иоанне Федорове, прозванном в народе первопечатником, он носил длинный библиотечный пыльник и круглую шапочку, вязанную из чистой шерсти. И тогда некий речной кок дал ему книгу: на, читай. И сквозь хвою тощих игол, орошая бледный мох, град запрядал и запрыгал, как серебряный горох. Потом еще: я приближался к месту моего назначения — все было мрак и вихорь. Когда дым рассеялся, на площадке никого не было, но по берегу реки шел Бураго, инженер, носки его трепетал ветер. Я говорю только одно, генерал, я говорю только одно, генерал: что, Маша, грибы собирала? Я часто гибель

возвращал одною пушкой вестовою. В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек. А вы — говорите, эх, вы-и-и! А белые есть? Есть и белые. Цоп-цоп, цайда-брайда, рита-умалайда-брайда, чики-умачики-брики, рита-усалайда. Ясни, ясни, на небе звезды, мерзни, мерзни, волчий хвост! Правая сторона. БОТЫ-ЗОНТЫ-ТРОСТИ, все в одном магазине, чтобы, не мешкая, купить все сразу. АТЕЛЬЕ МОД, дом еьлета. КОЛБАСЫ. Кому колбасы, а вот — кому колбасы горяченькой с булкой! ГАЛАНТЕРЕЯ-ТРИКОТАЖ. ПАРК ОТДЫХА, забор тянется на двенадцать с половиной парсеков. И только за ним — ПОЧТА. Здравствуйте, могу я поставить штемпель на свою марку, а точнее — могу я, чтобы мне поставили, а еще лучше так: как мне сделать, чтобы мне с вашей помощью поставили штемпель на мою же марку, погасив ее. Дайте сюда, покажите, какая же это марка, мальчик, это спички. Я знаю, я просто думал, что вам все равно, здесь тоже нарисован Козодой, взгляните. Она посмотрела и усмехнулась: нужно отклеить этикетку над паром. Ладно, хорошо, я отпарю, я проживаю недалеко, мне кажется, я сумею уговорить маму, чтобы она разрешила мне поставить чайник (мама, могу я согреть чайник? ты хочешь чаю? разве ты пьешь чай перед школой, какой может быть чай, когда время обедать. Дело в том, мама, что необходимо отклеить этикетку над паром. Над паром? Над паром, так сказали на почте. О Господи, ты опять что-то выдумал, на какой еще почте, кто сказал, зачем, какая этикетка, ты же ошпаришь себе лицо!), но я не уверен, нельзя ли сделать это у вас на почте, однажды я случайно увидел — окно было открыто — как вы пьете чай в комнате, где посылки и бандероли, вы пили электрический чайник, вас было несколько женщин и один мужчина в пальто, вы смеялись. Да, правильно,— сказала она,— у нас же есть, иди сюда, мальчик.

И ты пошел за ней по длинному коридору, где висели лампочки без абажуров и пахло настоящей почтой: сургуч, клей, бумага, бечевка, чернила, стеарин,

казеин, перезревшие груши, мед, сапоги со скрипом, крем-брюле, дешевый уют, вобла, побеги бамбука, крысиный помет, слезы старшего письмоводителя. В конце коридора была небольшая зала, она как бы венчала его: так реку венчает озеро, в которое она впадает. В зале на стеллажах лежали посылки и бандероли, адресованные туда и сюда, окно было зарешечено, а посреди комнаты на столе серебрился электрочайник с пестрым шнуром, который заканчивался вилкой. Женщина вставила вилку в розетку, села на стул, а ты сел на другой — и вы стали ждать, когда закипит. Я хорошо знаю тебя: по натуре своей ты порывист, тебе недостает усидчивости в школе и дома, ты пока слишком молод и оттого не приемлешь долгого молчания, затянувшихся пауз в разговоре, от них тебе делается неловко, не по себе, одним словом, ты не терпишь пассивности, бездействия, тишины. Сейчас, будь ты один в этой почтовой комнате, ты наполнил бы ее своим криком так же, как ты наполняешь на досуге пустые школьные аудитории, туалетные помещения, коридоры. Но ты не один здесь, и хотя тебя распирает вызревающий в глубинах твоего естества неописуемый вопль, и он готов вырваться наружу в любое мгновение, и тогда ты лопнешь и раскроешься подобно ранней апрельской почке и весь обратишься в свой собственный крик: я Нимфея Нимфея Нимфея ея-ея-ея я-я-я а-а-а,— ты не можешь, ты не имеешь права пугать эту молодую душевную женщину. Ибо если ты закричишь, она прогонит тебя прочь и не поставит штемпель на Козодоя, ни в коем случае не кричи здесь, на почте, иначе у тебя не будет коллекции, о которой ты столь долго мечтал, коллекции, состоящей из одной погашенной марки. Или этикетки. Сдержи себя, отвлекись, подумай о чем-нибудь нездешнем, загадочном, или начни ни к чему не обязывающий разговор с женщиной, тем более что, насколько я понимаю, она сразу понравилась тебе. Хорошо, но как же начать, какими словами, я вдруг забыл, как следует начинать разговоры, которые ни к чему не обязывают. Весьма просто, спроси ее, можешь ли ты задать ей один вопрос. Спасибо, спасибо, сейчас.

Могу я задать вам один вопрос? Конечно, мальчик, конечно. Ну а теперь, что говорить дальше? Теперь спроси ее о почтовых голубях или о работе, узнай, как у нее вообще дела. Да, вот именно: я хотел узнать у вас, как идут дела у вас на почве, то есть нет, на почте, на почтамте почтимте почтите почуле почти что. Что-что, на почте? Хорошо, мальчик, хорошо, а почему это интересует тебя? Вы, верно, держите почтовых голубей, не так ли? Нет, а зачем? Но ведь почтовые голуби, где же им еще жить, если не у вас на почуле? Нет, мы не держим, у нас есть почтальоны. В таком случае вы знаете почтальона Михеева или Медведева, похож на Павлова и тоже катается на велосипеде, но не надейтесь увидеть его за окном, он катается не здесь, не в городе, он служит за городом, в дачном поселке, у него борода — так вы не представлены ему? Нет, мальчик. Жаль, а то мы с удовольствием побеседовали бы о нем, и вам не было бы скучно со мной. А мне и не скучно,— отвечает женщина. Вот славно, значит, и я немного понравился вам, у меня к вам дело, если не ошибаюсь: мне пришло в голову завязать с вами знакомство, и даже больше того, меня зовут так-то, а вас? Смешной какой,— говорит женщина,— вот смешной-то. Не смейтесь, я поведаю вам всю правду — как есть, видите ли, судьба моя решена: я женюсь, очень скоро, возможно через пару-тройку недель. Но женщина, которая должна стать моею женой — она чрезвычайно нравственна, вы понимаете, что я имею в виду? и она ни за что не согласится до свадьбы. А мне очень нужно, необходимо, в противном случае я изойду своим нечеловеческим криком, как кровью. Доктор Заузе называет такое состояние припадком на всенервной почве, поэтому я решился попросить вас помочь мне, оказать мне одну услугу, любезность, это было бы весьма любезно с вашей стороны, вы ведь — женщина, вам, я полагаю, тоже хочется кричать на вашей нервной почте, так отчего бы нам не утолить наши почули, неужели я ничуть не приглянулся вам, я же так старался понравиться! Вы не представляете, как я буду скучать без вас, когда мы отклеим этикетку и вы поставите штемпель и я уйду

обратно, в дом отца моего: я не отыщу утешения ни в чем и нигде. А может, у вас уже есть некто, с кем вы утоляете почули? Боже мой, да какое тебе дело,— говорит женщина,— дерзкий, прямо ужас. В таком случае я готов немедленно доказать, что я лучше него во всех отношениях, впрочем, вы уже осознали это. Разве не ясно, что ум мой — сама гибкость и логика есть, разве не факт, что если существует на всем свете хоть один будущий инженерный гений — так это именно я. И это я, я расскажу вам немедленно какую-нибудь историю, да, что-нибудь такое, после чего вы не устоите. Вот. Давайте я расскажу своими словами сочинение, которое сдал нашей Водокачке на прошлой неделе. Я начну с самого начала. Мое утро. Сочинение.

Дудочка маневрового паровоза «кукушка» поет на рассвете: пастушеский рожок, флейта, корнет-а-пистон, детский плач, дудели-дей. Я просыпаюсь, сажусь на кровати, рассматриваю свои голые ноги, а потом гляжу за окно. Я вижу мост, он совершенно пуст, он освещен зелеными ртутными фонарями, а у столбов — лебединые шеи. Я вижу только проезжую часть моста, но стоит выйти на балкон, и мне откроется весь мост целиком, вся его эстакада — спина испуганной кошки. Я живу вместе с мамой и папой, но иногда получается, что я живу один, а соседка моя — старая Трахтенберг, а скорее всего — Тинберген, жила с нами на старой квартире, или будет жить на новой. Как называются остальные части моста — я не знаю. Под мостом — линия железной дороги, а лучше сказать — несколько линий, несколько путей сообщения, некоторое число одинаковых, одинаковой ширины путей. По утрам ведьма Тинберген пляшет — плясала, будет плясать — в прихожей, напевая песенку про Трифона Петровича, кота и экскаваторщика. Она пляшет на контейнерах красного дерева, на их верхних площадках, под потолком, а также возле. Я ни разу не видел, но я слышал. Под потолком. По ним — туда и сюда — ходит «кукушка», вся сотрясаясь на стрелках. Тра-та-та. Ритм она отбивает на марокассах. Она толкает и тащит коричне-

вые товарные вагоны. Я ненавижу эту косматую старуху. Закутавшись в тряпье, отрастив крючковатые длинные когти, избороздив лицо свое мучительными морщинами столетий, клавдикантка, она пугает меня и мою терпеливую мать днем и в ночи. А на рассвете начинает петь — и вот я просыпаюсь. Я люблю эту дудочку. Дудели-дей? — спрашивает она. И, подождав минуту, сама себе отвечает: да-да-да, дудели-дей. Это она отравила Якова, бедного человека, человека и аптекаря, человека и провизора, и это она служит у нас в школе заведующей учебной части, частью учебы. Таким образом, делая выводы о моем утре, можно сказать, что оно начинается криком кукушки, звуком железной дороги, кольцевой железной дороги. Если смотреть на карту нашего города, где обозначены и река, и улицы, и шоссе, представляется, будто кольцевая дорога сжимает город, как стальная петля, и если, испросив позволения констриктора, сесть на проходящий мимо нашего дома состав, то он, этот товарный поезд, сделает полный круг и через день возвратится в то же место, в то место, где ты оседлал его. Поезда, которые минуют наш дом, движутся по замкнутой, а следовательно — бесконечной кривой вокруг нашего города, вот почему из нашего города выехать почти невозможно. Всего на кольцевой дороге работает два поезда: один идет по часовой стрелке, другой — против. В связи с этим они как бы взаимоуничтожаются, а вместе — уничтожают движение и время. Так проходит мое утро. Тинберген постепенно перестает вытаптывать молодые бамбуковые рощи, и песня ее, цветущая, самодовольная и беспощадная как сама старость, затихает вдали, за коралловыми лагунами, и только бубны, тамбурины и барабаны мчащихся через мост авто нарушают — да и то изредка — тишину нашей квартиры. Пропадет — растает.

Прекрасно, прекрасно, прекрасное сочинение,— говорит Савл. Мы слышим его глухой, подернутый дымкой педагогический голос, голос ведущего географа района, голос дальновидного руководителя, поборника чистоты, правды и заполненных пространств, голос

заступника всех униженных и окровленных. Мы попрежнему здесь, в немытой мужской уборной, где нередко так холодно и одиноко, что из наших голубых ученических губ струится пар — признак дыхания, призрак жизни, добрый знак того, что мы еще существуем, или ушли в вечность, но, как и Савл, возвратимся, дабы совершить или завершить начатые на земле великие дела, а именно: получение всех и всяческих академических премий, аутодафе в масштабе всех специальных школ, приобретение подержанного автомобиля, женитьба на учителке Ветке, избиение всех идиотов мира древками сачков, улучшение избирательной памяти, размозжение черепов меловым старикам и старухам вроде Тинберген, отлов уникальных зимних бабочек, разрезание суровых ниток на всех заштопанных ртах, организация газет нового типа — газет, где не было бы написано ни единого слова, отмена укрепляющих кроссов, а также бесплатная раздача велосипедов и дач во всех пунктах от А до Я; кроме того — воскрешение из мертвых всех тех, чьими устами глаголила истина, в том числе полное воскрешение наставника Савла вплоть до восстановления его на работе по специальности. Прекрасное сочинение,— говорит он, сидящий на подоконнике, греющий ступни ног своих на радиаторе парового отопления,— как поздно мы узнаем учеников наших, как жаль, что раньше я не разглядел в вас литературный талант, я бы уговорил Перилло освободить вас от уроков словесности, и вы могли бы в образовавшийся досуг занять себя чем угодно — вы поняли меня? — чем угодно. Так, вы могли бы без устали собирать марки с изображением Козодоя и других летающих птиц. Вы могли бы грести и плавать, бегать и прыгать, играть в ножички и разрывные цепи, закаляться как сталь, писать стихи, рисовать на асфальте, играть в фанты, проборматывая прелестное и ни с чем не сравнимое: черный с белым не берите, да и нет — не говорите, и тут же: вы приедете на бал? Или, сидя в лесу на поваленном бурей дереве, торопливо и вполголоса, не имея в виду никого и ничего, рассказывать самому себе неувядающие считалки: эники-беники ели варени-

ки, или: вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Но прекраснее: жили-были три японца — Як, Як-Цидрак, Як-Цидрак-Цидрони, жили-были три японки — Цыпа, Цыпа-Дрипа, Цыпа-Дрипа-Лимпомпони; все они переженились: Як на Цыпе, Як-Цидрак на Цыпе-Дрипе, Як-Цидрак-Цидрони на Цыпе-Дрипе-Лимпомпони. О, как много на земле дел, мой юный товарищ, дел, которыми можно бы занять себя вместо дурацкой-дурацкой писанины в часы нашей словесности! С сожалением о невозможном и утраченном. С грустью. С лицом человека, которого никогда не было, нет и не будет. Но, ученик такой-то, боюсь, вам не избежать этих уроков, и вам придется с мучительной болью заучивать наизусть отрывки и обрывки произведений, называемых у нас литературой. Вы с отвращением будете читать наших замызганных и лживых уродцев пера, и то и дело вам будет невмоготу, но зато, пройдя через горнило этого несчастья, вы возмужаете, вы взойдете над собственным пеплом, как Феникс-птица, вы поймете — вы все поймете. Но, дорогой учитель,— возражаем мы,— разве сочинение, пересказанное своими словами той женщине на почуле, не убедило вас, что мы и так давно поняли и что нам вовсе не обязательно проходить какие бы то ни было литературные горнила? Безусловно,— отвечает наставник,— я осознал это с первых же фраз, вам действительно не нужно горнил. Я говорил о необходимости их — для вас, очевидно, ложной,— лишь бы как-то утешить вас в ваших мыслях о невозможности освобождения от уроков по упомянутому предмету. Поверите ли, еще недавно я мог бы без труда уговорить Перилло предоставить вам свободное посещение вообще всех занятий, вам, вероятно, известно, каким авторитетом пользовался ваш покорный слуга в преподавательских кругах — в школе и в отделе народного *оборзования*. Но с тех пор, как со мной что-то случилось — что именно, я еще не вполне осознал,— я лишился всего: цветов, пищи, табака — вы заметили, я перестал курить? — женщин, проездного билета (констриктор уверяет меня, что документ давно просрочен, но купить новый я не имею

возможности, поскольку меня лишили и зарплаты), развлечений, а главное — авторитета. Я просто не представляю, как это можно: меня никто не слушает — ни учителя на педсоветах, ни родители на собраниях, ни ученики на уроке. Меня даже не цитируют, как бывало прежде. Все происходит так, словно меня, Норвегова, больше нет, словно я умер. И тут Савл Петрович наполнил уборную негромким мерцающим смехом. Да, я смеюсь,— сказал он,— но сквозь слезы. Дорогой ученик и дружище Нимфея, со мной определенно что-то случилось. Раньше, еще недавно, я знал, что именно, а теперь вот, кажется, запамятовал. У меня, пользуясь вашим выражением, память стала избирательной, и я особенно рад нашей встрече здесь, в пункте М, поскольку надеюсь на вашу помощь. Помогите мне, помогите мне вспомнить, что произошло. Я просил об этом многих, но никто не мог — или не желал? — что-либо объяснить мне. Кто-то честно не знал истины, кто-то знал, но скрывал: изворачивались и врали, а кто-то просто смеялся в лицо. Вы же, насколько я знаю вас, никогда ни в чем не солжете, вы не умеете лгать.

Он замолчал, голос его не заполнял больше пустоты пространства, и стали слышнее звуки вечернего города: некто большой, многоногий и бесконечно длинный, как доисторическая ящерица, позже обратившаяся в змею, шел мимо школы по улице, поскользаясь на голом льду, насвистывая Серенаду Шуберта, покашливая и чертыхаясь, задавая себе вопросы и сам же отвечая на них, чиркая спичками, теряя пилотки, платки, перчатки, сжимая рукой в кармане только что купленный силомер, время от времени посматривая на часы, пробегая глазами страницы вечерних газет, делая выводы, посматривая на шагомер, теряя и находя ориентацию, анализируя нумерацию домов, читая вывески и рекламы, мечтая о приобретении новых земельных участков и о все больших прибылях, вспоминая дела минувших дней, распространяя вокруг запах одеколона и крокодиловых портмоне, наигрывая на гармонике, глупо и мерзко ухмыляясь, завидуя славе дачного почтальо-

на Михеева, желая неиспытанного обладания и ничего не зная о нас, наставнике и учениках, беседующих здесь, в печальных пределах М. Этот некто, многоногий, будто доисторическая ящерица, и бесконечный, как средневековая пытка, шел и шел, не ведая усталости и покоя, и все не мог пройти, потому что не мог пройти никогда. На фоне его движения, на фоне этого беспрестанного шума шагания мы слышали трамвайные звонки, скрип тормозов, шипение, создаваемое скольжением троллейбусных контактных антенн по электрическим проводам. Затем доносились глухие удары, вызываемые быстрым соприкосновением массы дерева с оцинкованной массой деловой жести: вероятно, один из спецшкольников, не желающий возвращаться в дом отца своего, методически бил палкой по водосточным трубам, пытаясь в знак протеста против всего сыграть ноктюрн на их флейте. Звуки же, рождавшиеся внутри здания, были следующие. В подвале работал глухонемой истопник-имярек — его лопата скрежетала об уголь, дверцы топок скрипели. В коридоре нянечка мыла пол: щетка с накрученной на нее мокрой тряпкой мерно окуналась в ведро, чавкала, шлепалась на пол и бесшумно увлажняла новый участок суши — купание красного коня, вальс простуженного человека, скирлы в наполненной ванне. По другому коридору, этажом выше, шла заведующая учебной частью Шейна Соломоновна Трахтенберг, протез ее постукивал и скрипел. На третьем было пусто и тихо, а на четвертом, в так называемом зале для актов, безумствовала репетиция сборного танцевального ансамбля специальных школ города: пятьдесят идиотов готовились к новым концертам. Теперь они репетировали плясовую балладу «Бояре, а мы к вам пришли»: пели и кричали, топали и свистели, ржали и хрюкали. Бояре, она дурочка у нас, молодые, она дурочка у нас,— пели одни. Бояре, а мы выучим ее, молодые, а мы выучим ее,— обещали другие. Безучастно хлопали литавры, медленно извиваясь, ползли гобои, гудел большой барабан с нарисованной на боку козлиной мордой, в припадке истерии конвульсировал рябой жесткокрылый рояль —

сбиваясь, фальшивя и глотая собственные клавиши. Потом там, на четвертом, наступила зловещая пауза, и через секунду, если мы правильно понимаем это слово, все они, плясуны и певцы, хором затянули, завыли Гимн просветленного человечества, при первых же аккордах которого всякий имеющий уши обязан отложить все дела, встать и трепетно внимать ему. Мы едва узнали песню. Она достигла пункта М, пройдя через все преграды, но лестничные перила, ступени и пролеты, острые углы на поворотах изломали, изуродовали негибкие ее члены, и она предстала перед нами окровавленная, заснеженная, в изорванном и грязном платье девушки, с которой насильно сделали все, что хотели. Но среди голосов, исполнявших кантату, среди голосов, ничего не значивших и ничего не стоивших, среди голосов, свивавшихся в бестолковый, бессмысленный, безголосый шумный клубок шума, среди голосов, обреченных на безвестность, среди голосов, немыслимо заурядных и фальшивых, был голос, явившийся нам воплощением чистоты, силы и смертельной торжественной горечи. Мы услышали его во всей неискаженной ясности его: был подобен парению раненой птицы, был снежного сверкающего цвета, пел голос бел, бел голос был, плыл голос, голос плыл и таял, был голос тал. Он пробивался сквозь все, все презирая, он возрастал и падал, дабы возрасти. Был голос гол, упрям и наполнен пульсирующей громкой кровью поющей девушки. И не было иных голосов там, в зале для актов, там был только ее голос. И — вы слышите? — Савл Петрович шопотом сказал, шопотом очарованного и восхищенного,— вы слышите, или мне чудится? Да-да-да, Савл Петрович, мы слышим, то поет Роза Ветрова, милая девушка, могильный цвет, лучшее среди дефективных всех школ контральто. И отныне, если вы на вопрос: что вы тут делаете, тут в туалете? — ответите нам: я отдыхаю после занятий, или: я грею ступни ног моих,— то мы не поверим вам, славному, но лукавому педагогу. Потому что теперь мы все поняли. Вы, как обыкновенный влюбленный школьник, ждете, когда закончится репетиция, и среди прочих ущербных и

мертворожденных из зала для актов спустится она — та, кому вы назначили свидание на черной лестнице в правом крыле, где не осталось ни единой целой лампочки — и темно, темно, и пахнет пылью, где на площадке между вторым и третьим свалены в груду списанные физкультурные маты. Они рваные, из них сыплется опилочная труха, и там, именно там, вот это: приди, приди, как хочу я нетронутого тела твоего. Шопотом восхищенного. Только осторожней, будьте осторожней, вас могут услышать — чеченец бродит за горой. А точнее: остерегайтесь вдовы Тинберген. Неусыпно и неустанно бродит она по ночам по этажам наглухо замурованной, мудро молчащей школы для дураков. Начиная с полночи, в доме услышишь только шаги Тинберген — и-и-и, раз-два-три, раз-два-три. Напевая, бормоча ведьмаческие прибаутки, вальсируя или отбивая чечетку, движется она по коридорам, и классам, и лестницам, зависая в пролетах, обращаясь в жужжащую навозную муху, разворачиваясь в марше, пощелкивая кастаньетами. Только она, Тинберген, и только часы с маятником золоченым в кабинете Перилло: раз-два-три — ночью вся школа — ночной одинокий маятник, режущий темноту на равные, тихотемные куски, на пятьсот, на пять тысяч, на пятьдесят, по числу учащихся и учителей: тебе, мне, тебе, мне. Утром, на заре — получите. Морозным, пахнущим мокрой тряпкой и мелом утром, сдавая в мешочках боты свои и надевая тапочки свои,— вместе с номерком — получите. Итак, будьте осторожнее там, на матах.

Итак, говорит нам учитель Савл, я слушаю вас внимательно, правду и только правду. Вы обязаны открыть мне глаза на истину, дабы прозрел я, подымите мне веки. Крупный, как у римского легионера, нос, плотно, смертельно сжатые губы. Все лицо — грубосколоченное, а может быть, грубовысеченное из белого с розовыми прожилками мрамора, лицо с беспощадными морщинами — следствие трезвой оценки земли и человека на ней. Тяжелый взгляд римского легионера, марширующего в первых шеренгах несгибаемого легиона.

Доспехи, белый, отороченный мехом италийского пурпурного волка плащ. Шлем окроплен вечерней росой, медные и золотые застежки там и здесь — затуманены, но вспышки близких и далеких костров, пылающих по сторонам Аппиевой дороги, все же заставляют сверкать и латы, и шлем, и застежки. Все происходящее вокруг — призрачно, грандиозно и страшно, поскольку не имеет будущего. Дорогой Савл Петрович, следуя вашим незабвенным заветам — они стучат в наши сердца пеплом Клааса,— мы действительно обрели одно из высших человеческих достояний, мы научились никогда и ни в чем не лгать. Мы замечаем это без ложной скромности, ибо здесь, в разговоре с вами, учителем, ставшим нашей совестью и нашей счастливой юностью, она неуместна. Но, наставник, какими бы высшими принципами в общении с людьми мы ни руководили себя, они, принципы, ни за что не заменят нам нашей отвратительной памяти: она по-прежнему избирательна, и вряд ли мы сумеем пролить свет и поднять вам ваши тяжелые веки. Мы тоже почти не помним, что с вами случилось, ведь прошло — или пройдет — уже много времени с тех пор, как. Верно, отвечает Савл, немало прошло, верно, немало, немаловерно, вернее, много. Но все-таки постарайтесь, напрягите ее, вашу изумительную, пусть и отвратительную память. Помогите учителю, который страждет в неведении своем! Капля росы выпала из умывального крана и упала в ржавую тысячелетнюю раковину, чтобы, пройдя по темным слизистым трубам канализаций, миновав отстойники и фильтры новейших премиальных констрикций, тихо скользнуть чьей-то незамутненной душой в горечь реки Леты, чьи воды, навсегда обращенные вспять, вынесут лодку твою и тебя, обращенного в белый цветок, на песчаную белую отмель; капля повиснет на миг на мандолинообразной лопасти твоего весла и снова торжественно капнет в Лету — пропадет — растает — и через секунду, если ты верно понимаешь значение слова, бессмертно блеснет в горловине только что выстроенного римского акведука. Листопад, такого-то числа, такого-то года до н. э., Генуя, Дворец Дожей.

Пиктограмма на бересте, свернутой в трубочку. Возлюбленный сенатор и легионер Савл, спешим сообщить вам, что мы, благодарные ученики ваши, вспомнили наконец некоторые подробности события, происшедшего с вами рано или поздно, которое столь обеспокоило вас. Нам удалось напрячь нашу память, и теперь, как нам кажется, мы догадываемся, что именно случилось, и готовы поднять вам ваши набрякшие веки. Спешим сообщить вам, что директор Н. Г. Перилло, подстрекаемый на злое дело Ш. С. Трахтенберг-Тинберген, уволил вас с работы по собственному желанию. Не может быть,— возражает Норвегов,— я же ничего такого не сделал, почему? за что? на каком основании? Я ничего не помню, расскажите. Взволнованно.

Глава пятая
ЗАВЕЩАНИЕ

Дело было в один из дней того очаровательного месяца, когда ранними вечерами в западной части неба в созвездии Тельца виден Сатурн, вскоре заходящий за горизонт, а во второй половине ночи в созвездии Козерога заметен яркий Юпитер, к утру же значительно левее и ниже в созвездии Водолея появляется Марс. Но главное — в этом месяце головокружительно цветет черемуха в нашем сиреневом школьном саду: это мы, дураки нескольких поколений, заложили его на зависть всем умникам, идущим мимо по улице. Уважаемый Савл Петрович, разрешите заметить здесь, что мы, узники специальной школы, рабы тапочной системы имени Перилло, лишенные права обычного человеческого голоса и оттого вынужденные кричать нечленораздельным утробным криком, мы, жалкие мошки, запутавшиеся в неукоснительных паучьих сетках учебных часов, мы все же по-своему, по-глупому любим ее, нашу ненавистную специалку, со всеми ее садами, учителями и гардеробами. И если бы нам предложили перейти в нормальную, в обычную школу для нормальных,

сообщив при этом, что мы выздоровели и нормальны, то — нет, нет, не хотим, не гоните! — мы бы заплакали, утираясь поганым тапочным мешком. Да, мы любим ее, потому что привыкли к ней, и если мы когда-нибудь, отсидев в каждом классе по нескольку так называемых лет, если мы когда-нибудь закончим ее, с ее изрезанными черно-коричневыми партами, то мы страшно расстроимся. Ибо тогда, покинув ее, мы потеряем все — все, что у нас было. Мы останемся одни, станем одинокими, жизнь разбросает нас по углам своим, по толпам умников, рвущихся к власти, к женщинам, машинам, инженерным дипломам, а нам — круглым дуракам — нам ничего такого не нужно, мы хотим лишь одного: сидеть на уроке, смотреть за окно на изглоданные ветром облака, не обращая внимание на учителя, за исключением Норвегова, и ждать белый-белый звонок, похожий на охапку черемухи в тот головокружительный месяц, когда вы, Савл Петрович, географ высшего уровня, быстро — если не сказать с т р е м г л а в — входите к нам в класс на свой последний в жизни урок. Босиком. Теплынь. Теплый ветер. Когда дверь распахивается — окна, рамы окон — настежь. Сквозит теплом. Горшки с геранями валяются на полу, разбитые вдребезги. В комочках чернозема копошатся блистающие дождевые черви. Савл Петрович, а вы — смеетесь. Смеетесь, стоя на пороге. Вы подмигиваете нам, узнавая всех и каждого. Здравствуйте, Савл Петрович, в теплый четверг мая, в ковбойке с подвернутыми рукавами, в брюках с широкими отворотами, в летней, со множеством пробитых компостером дырочек, шляпе. Здравствуйте, черти, садитесь, ну их, эти нелепые церемонии, потому что весна. Кстати, вы замечали, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны, а? Ладно, я как-нибудь расскажу вам. А сейчас мы приступим к уроку. Други ситные, сегодня у нас по плану беседа о горных системах, о каких-то там Кордильерах и Гималаях. Но кому это все нужно, кому это нужно, я вас спрашиваю, когда по всей желанной земле идут скоростные машины, разбрызгивая колесами тугую воду луж и обдавая таким макаром всех наших милых

уличных подружек в коротеньких юбочках. Бедняжки! Капли залетают к ним даже в самые потаенные места, куда выше колен — вы понимаете, что я хочу сказать? Весело, подтягивая парусиновые брюки и пританцовывая у карты обоих полушарий, напоминающей гигантские голубые очки без дужек. Ученик такой-то, сделайте доброе дело, дайте перечисление некоторых женских имен, как я учил вас, по алфавиту. Кто-то из нашего числа — теперь издали я не вижу, кто именно — встает и говорит быстрым полушепотом: Агния, Агриппина, Валентина, Валерия, Барбара, Галина... Да,— повторяете вы с улыбкой растроганного человека,— Леокадия, Христина, Юлия, спасибо, садитесь. Други верные, как я рад свидетельствовать вам свое почтение сегодня, в день весны. Весна — это вам не зима, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Вот случай! В Острове, проездом ночью, взял три бутылки клико, и к утру следующего дня приближался к желаемой цели. Все было мрак и вихорь. Нет, мы посвятим сегодняшние порывы наши — наоборот — пустыне, обагренной тюльпаньей кровью. Ученик такой-то, я наблюдаю ужасное: из трех окон, выходящих в открытое небо, открыты лишь два, так откройте ж и третье! спасибо. Ныне я поведаю вам историю, найденную мною в бутылке из-под клико на берегу дачной реки Леты. Я назвал эту историю *Плотник в пустыне*.

Други ситные, в пустыне жил плотник, большой мастер своего дела. Он мог бы при случае построить дом, лодку, карусели, качели, сколотить посылочный или иной ящик — был бы только материал, было бы из чего делать. Но в пустыне, по выражению самого плотника, было пусто: ни гвоздей, ни досок. *Уважаемый легионер Савл, мы обязаны немедленно поставить вас перед следующим фактом: не успели вы произнести слова* ни гвоздей ни досок, *как в университетской имени св. Лаврентия ордена Рудовоза Марсова Пламени университета, где вы*

читаете очередную лекцию, на миг стало как будто сумрачно, нам показалось, что чья-то тень — птица или птеродактиль или вертоплан — упала на кафедру, заменив солнце. Но тут же — ушла. Некоторые люди,— словно ничего не заметив, продолжали вы,— скажут: это неправда, не может случиться такого места, где не нашлось бы одной-двух досок и десятка гвоздей, а если хорошенько поискать вокруг, то всюду наберешь материала на целую дачу с верандой, как у любого из нас, лишь бы не пропадало желание сделать что-то полезное, только бы верилось в успех. Я же, разгневанный, отвечу: действительно: плотнику удалось найти одну, а потом и вторую доску. Кроме того, у него в кармане с давних пор лежал один гвоздь, мастер берег его на всякий случай, мало ли что может произойти в плотницкой жизни, мало ли зачем плотнику гвоздь, например, провести риску, наметить точки сверления и прочее. Но я должен добавить: несмотря на то что у плотника не пропадало желание сделать что-либо полезное и он до конца верил в успех, мастер не мог найти больше, чем две десятимиллиметровые доски. Он исходил и изъездил на своей небольшой зебре всю пустыню, исследовал каждый сыпучий бархан и всякую ложбинку, поросшую бедным саксаулом, проехал даже вдоль берега моря, но — черт возьми! — пустыня не дарила ему материала. Наставник Савл, нам тревожно, кажется, снова была тень — только что, секунду тому. Однажды, утомленный поисками и солнцем, плотник сказал себе: ладно, у тебя не из чего построить дом, карусели, ящик, но у тебя есть две доски и один хороший гвоздь — так нужно что-нибудь сделать хотя бы из этого малого количества деталей, ведь мастер не может сидеть сложа руки. Сказав так, плотник положил одну доску поперек другой, достал из кармана гвоздь, а из сундука с инструментами взял молоток, и молотком забил гвоздь в место пересечения досок, таким образом накрепко соединив их: получился крест. Плотник отнес его на вершину самого высокого бархана, установил там

вертикально, вкопав в песок, и отъехал оттуда на своей небольшой зебре, чтобы полюбоваться на крест издали. Крест был виден почти с любого расстояния, и плотник так обрадовался этому, что от радости превратился в птицу. Очень, очень тревожно, дорогой Савл, тень снова легла на вашу кафедру, легла и погасла, легла и погасла, растаяла, тень птицы, той птицы или не птицы. То была крупная черная птица с прямым белым клювом, издававшая отрывистые каркающие звуки. Савл Петрович, может быть — Козодой? Крик Козодоя, крик Козодоя, охраняйте Козодоя в краю его, вдоль камышей, у живой изгороди, охотники и егеря, травы и пастухи, будочники и стрелочники, тра-та-та, тра-та-та, и-и-и-и. Птица полетела, села на поперечину креста и сидела, наблюдая движение песков. И пришли какие-то люди. Они спросили у птицы: как называется то, на чем ты сидишь? Плотник отвечал: это крест. Они сказали: с нами тут есть один человек, которого мы хотели бы казнить, нельзя ли распять его на твоем кресте, мы немало заплатим. И показали птице несколько ржаных зерен. Возлюбленный сенатор и легионер Савл, посмотрите, ради всех нас, посмотрите за окно, нам кажется, что там, на перекладине пожарной лестницы, кто-то сидит, может быть Козодой, может, это он бросает тень на вашу кафедру? И они показали птице несколько ржаных зерен. Да, сказал плотник, я согласен, я рад, что вам понравился мой крест. Люди ушли и спустя время вернулись, ведя за собой на веревке какого-то худого и бородатого человека, видом нищего. О наставник, вы не слышите немой и тревожный глас нашего класса, увы! Еще раз: оглянитесь в тревоге! Там, за окном, на пожарной лестнице. Поднялись на вершину бархана, сорвали с человека лохмотья и спросили черную птицу, есть ли у той гвозди и молоток. Плотник отвечал: у меня есть молоток, но нет

ни единого гвоздя. Мы дадим тебе гвоздей, сказали они, и скоро принесли много — больших и блестящих. Теперь ты должен помочь нам, сказали люди, мы станем держать этого человека, а ты прибивай руки и ноги его ко кресту, вот тебе три гвоздя. Внимание, капитан Савл, справа по борту — тень, велите дать залп изо всех орудий, ваша труба запотела, надвигается улялюм. Плотник отвечал: я думаю, этому человеку придется худо, ему будет больно. Как бы там ни было, возражали люди, он достоин наказания, а ты обязан помочь нам, мы заплатили тебе, и заплатим еще. И показали птице горсть пшеничных зерен. Увы тебе, Савл! Тогда плотник решил схитрить. Он говорит пришедшим: ужели вы не видите, что я обыкновенная черная птица, как же могу я забивать гвозди? Не притворяйся, говорили люди, нам достоверно известно, кто ты такой. Ты ведь — плотник, а плотник обязан забивать гвозди, это дело его жизни. Да, отвечал тогда плотник, я превратился в птицу не надолго и скоро опять стану плотником. Но я мастер, а не палач. Если вам нужно казнить человека, распинайте его сами, мне это не с руки. Глупый плотник, рассмеялись они, мы знаем, что у тебя в твоей мерзкой пустыне не осталось ни одной доски и ни единого гвоздя, поэтому ты не можешь работать и мучишься. Еще несколько времени — и ты умрешь от безделья. Если же согласишься помочь нам распять человека, мы привезем тебе на верблюдах много отборного строевого леса, и смастеришь себе дом с верандой, как у любого из нас, качели, лодку — все, что захочешь. Соглашайся, не пожалеешь. Как пожалеете вы, наставник, что не внемлете нашему немому совету,— посмотрите в окно, посмотрите! Птица долго думала, потом слетела со креста и обратилась в плотника. Подайте гвозди и молоток,— согласился плотник,— я помогу вам. И быстро прибил руки и ноги обреченного к своему кресту, пока те, другие, держали несчастного. Назавтра они привезли плотнику обещанное, и он много и с удовольствием работал, не обращая внимания на

больших черных птиц, которые прилетали на утренней голубой заре и весь день клевали распятого человека, и только вечером улетали. Однажды распятый человек позвал плотника. Плотник взошел на бархан и спросил, что нужно человеку. Тот сказал: я умираю, и вот хочу рассказать тебе о себе. Кто ты? — спросил плотник. Я жил в пустыне и был плотником,— с трудом говорил распятый,— у меня была небольшая зебра, но почти не было досок и гвоздей. Пришли люди и обещали дать мне нужного материала, если я помогу им распять одного плотника. Сначала я отказывался, но потом согласился, ибо они предложили мне целую горсть пшеничных зерен. Зачем же тебе зерна,— удивился плотник, стоявший на бархане,— разве ты тоже умеешь обращаться в птицу? З а ч е м ж е н е п о с м о т р и т е в ы з а о к н о, н а с т а в н и к, з а ч е м? Почему ты сказал слово т о ж е,— отвечал распятый плотник,— о неразумный, неужели ты до сих пор не понял, что меж нами нет никакой разницы, что ты и я — это один и тот же человек, разве ты не понял, что на кресте, который ты сотворил во имя своего высокого плотницкого мастерства, распяли тебя самого, и когда тебя распинали, ты сам забивал гвозди. Сказав так самому себе, плотник умер.

Наконец вы, наш добрый наставник, наконец вы, услышав наши сигналы о бедствии, наконец вы — оглядываетесь. Но поздно, учитель: тень, которая, начиная с некоей минуты — ни гвоздей ни досок,— тревожила наши умы, более не сидит на перекладине пожарной лестницы и не лежит на кафедре — и это не тень, и не Козодой, и не тень Козодоя. Это — заведующая Тинберген, повисшая по ту сторону распахнутого в небо окна. В лохмотьях, купленных по сходной цене у вокзальной цыганки, в старушечьем вязаном чепчике, из-под которого торчат коротко стриженные горгоновы змеи, отливающие платиновой сединой, она висит по ту сторону окна, будто подвешенная на веревке, но на деле — висит без помощи посторонних сил и предметов, просто на правах ведьмы, висит, как портрет

о самой себе — во всю оконную раму, во весь проем, висит, потому что хочет висеть, зависая. И не заходя в класс, и даже не ступая на подоконник, она вопит вам, несравненный Савл Петрович, бестактно и непедагогично не желая замечать нас, застывших и меловых от волнения, вопит, показывая гнилые металлические зубы свои: крамола! крамола! И затем исчезает. Наставник Савл — неужели вы плачете, вы, с тряпочкой и кусочком мела в руке, вы, стоящий там, у доски, называемой по-английски блэкборд? Нас подслушали, подслушали, теперь вас уволят по собственному, но, собственно, на каком основании? Мы напишем петицию! Боже мой,— это говорите уже вы, Норвегов,— неужели вы полагаете, что мне страшно потерять работу? Я проживу, я уж как-нибудь доживу, мне осталось немного. Но мне мучительно больно, друзья, расстаться с вами, девочками и мальчиками грандиозной эпохи инженерно-литературных потуг, с вами, будущими и минувшими, с Теми Кто Пришли и уйдут, унеся с собою великое право судить, не будучи судимыми. Дорогой наставник, если вы считаете, что мы, явившиеся судить, забудем когда-нибудь ваши затухающие в коридоре, а потом на лестнице шаги, то вы заблуждаетесь,— мы не забудем. Почти бесшумные, ваши босые ступни отпечатались в нашем мозгу и застыли там навсегда, будто бы вы впечатали их в расплавленный солнцем асфальт, пройдя по нему торжественным церемониальным маршем юлианского календаря. Мне горько вспоминать эту историю, сударь, мне хотелось бы немного помолчать в вашем саду вместе с вами. Можно, я сяду вон в то плетеное кресло, чтобы напрасно не вытаптывать трав, подождите минуту, я скоро продолжу. Когда вернусь.

Выйдя на мост, обратишь внимание на перила: они холодные, скользкие. А звезды — летучие. А звезды. Трамваи — зябкие, желтые, неземные. Электрические поезда внизу будут просить дорогу у медленных товарняков. Сойди же по лестнице на платформу, купи билет до какой-нибудь станции, где пристанционный

буфет, холодные деревянные лавки, снег. За столами в буфете — несколько пьяных, пьющих не переставая, читают друг другу стихи. Это будет холодная, коченеющая зима, и этот пристанционный буфет во второй половине декабрьского дня — тоже будет. Он будет разбит гармониками и стихами изнутри. Будут петь — дико и хрипло. Пейте чай, милостивый государь,— остынет. О погоде. Главным образом — о сумерках. Зимой в сумерках маленькому тебе. Вот они наступают. Жить невозможно, и невозможно отойти от окна. Уроки на завтра не сделаны ни по одному из предметов известных. Сказка. На дворе сумерки, снег цвета голубого пепла или какого-нибудь крыла, какого-нибудь голубя. Уроки не сделаны. Мечтательная пустота сердца, солнечного сплетения. Грусть всего человека. Ты маленький. Но знаешь, уже знаешь. Мама сказала: и это пройдет. Детство пройдет, как оранжевый дребезжащий трамвай через мост, разбрасывая холодные брызги огня, которых почти не существует. Галстук, часы, портфель. Как у отца. Но будет девочка, спящая на песке у реки — простая, с простыми ресницами, в чистых тугих трусиках для купания. Очень красивая. Почти красивая. Почти некрасивая, мечтающая о полевых цветах. В кофточке без рукавов. На горячем песке. Остынет, когда настанет. Когда вечер. Случайный пароход: от гудка простые ресницы дрогнут — очнется. Но еще не знаешь — та ли. Весь в огнях, оставляя уютную пену на попечение ночи. Но еще не ночь. Набег фиолетовых волн. У берега глубоко, ключи. Эту воду можно пить, наклонясь над. Губы милой, нежной. Гул парохода, плеск, дрожащие огни — уходят. На том берегу кто-то, переговариваясь с приятелем, разжигает костер, чтобы варить чай. Смеются. Слышно, как чиркают спички. Кто ты, я не знаю. В вершинах сосен, в кронах, ночуют комары. Самая середина июля. Потом они спустятся к воде. Пахнет травой. Очень тепло. Это счастье, но ты не знаешь об этом. Пока не знаешь. Птица дергач. Ночь прильнула и потекла, заботливо вращая жернова мельницы небесной. Как называется эта река? Река называется. И ночь называется. Что приснится?

Ничего не приснится. Дергач, козодой приснится. Но еще не знаешь. Почти некрасивая. Но несравненная, потому что первая. Мокрая соленая щека, невидимая в ночи тишина. Милая, как неразличима ты вдалеке. Да, узнаешь, узнаешь. Песня лет, мелодия жизни. Все остальное — не ты, все другие — чужие. Кто же ты сам? Не знаешь. Только узнаешь потом, нанизывая бусинки памяти. Состоя из них. Ты весь — память будешь. Самое дорогое, самое злое и вечное. Боль всю жизнь пытаясь выскрести из солнечного сплетения. Но сплетение ив, но девочка, спящая на песке горячем примерно пятнадцатого числа июля необратимого года, но девочка. Не шелохните листом, не шелестите. Спит. Утро. Одинок и заброшен, как церковь стоял на ветру. Ты пришла и сказала, что птицы живут золотые. Утро. Гаснущие под ногой росы. Ракита. Звук несомого к реке ведра, беззвучие ведра, несомого от реки. Росы серебряной прах. День, обретающий лицо. День во плоти своей. Люди, любите день более ночи. Улыбнись, постарайся не шевелиться, это будет фотография. Единственная, которая останется после всего, что будет. Но пока не знаешь. Потом — сколько-то лет подряд — жизнь. Как называется. Называется жизнь. Теплые тротуары. Или наоборот — заметенные снегом. Называется город. Ты вылетаешь из подъезда на высоких цокающих каблучках. Стройная, ранняя, в духах и в нимбе парижской шляпки. Цокот. Запевают дети и птицы. Около семи. Суббота. Я вижу тебя. Я тебя вижу. Цокот по всему двору, по всему бульвару, где нераспустившаяся сирень. Но распустится. Мама сказала. Больше ничего. Только это. Хотя и другое. Но теперь — знаешь. Можно писать письма. Или просто кричать, с ума сходя от мечты. Но и это пройдет. Нет, мама, нет, это останется. На каблучках. Та ли? Та. Та ли? Та. Та ли? Та. Тра-та-та: навылет. Весь город в этих духах. И поздно говорить, сгорая. Но можно писать письма. Всякий раз ставя в конце — прощай. Радость моя, если умру от невзгод, сумасшествия и печали, если до срока, определенного мне судьбой, не нагляжусь на тебя, если

не нарадуюсь ветхим мельницам, живущим на изумрудных полынных холмах, если не напьюсь прозрачной воды из вечных рук твоих, если не успею пройти до конца, если не расскажу всего, что хотел рассказать о тебе, о себе, если однажды умру не простясь — прости. Больше всего я хотел бы сказать — сказать перед очень долгой разлукой — о том, что ты, конечно, знаешь давно сама, или только догадываешься об этом. Мы все об этом догадываемся. Я хочу сказать, что когда-то мы уже были знакомы на этой земле, ты, наверное, помнишь. Ибо река называется. И вот мы снова пришли, вернулись, чтобы опять встретиться. Мы — Те Кто Пришли. Теперь знаешь. Ее зовут Вета. Та.

Юноша, что с вами? Вы спите? А? нет, разве возможно, я немного ушел в себя, но теперь уже вернулся, не беспокойтесь, доктор Заузе называет это растворением в окружающем, это нередко. Человек растворяется, как будто его положили в ванну с серной кислотой. Один мой товарищ — учимся с ним в одном классе — говорит, что достал где-то целую бочку кислоты, но может быть лжет, не знаю. Во всяком случае, он собирается растворить в ней родителей. Нет, не всех вообще, только своих. Мне кажется, он не любит родителей. Что ж, сударь, я полагаю, они пожинают плоды, которые посеяли сами, и не нам с вами решать, кто тут прав. Да, юноша, да, не нам с вами. Покачивая головой, цокая языком, застегивая и тут же расстегивая пуговицы на пыльнике. Сутуло и деревянно и сухо. Но вернемся к баранам, сударь. В один из дней все того же замечательного месяца по спецшколе прошел слух, что вы, Савл Петрович, уволены с работы по щучьему велению. Тогда мы сели и написали петицию. Она была лаконична и строга стилем; в ней говорилось: Директору школы Н. Г. Перилло. Петиция. В связи с тем, что педагог-географ П. П. Норвегов уволен по собственному, а на самом деле — нет, то мы требуем немедленной выдачи виновных по этапу. И подписи: с уважением, ученик такой-то и ученик такой-то. Мы явились вдвоем, стуча и стучась, хлопая всеми на свете дверьми. Мы явились

разгневанно, а Перилло сидел в кресле развалясь и угрюмо, несмотря на то, что длилось утро средних лет, еще не усталое, бодрое, полное надежд и *планктонов* на будущее. В кабинете Перилло часы с маятником золоченым мерно дробили несуществующее время. Ну что, написали? — сказал нам директор. Ты и я — мы принялись искать в карманах петицию, но долго ничего не могли найти, а потом ты — именно ты, а не я — достал откуда-то из-за пазухи помятый листок и положил на стекло перед директором. Но то была не петиция — я сразу понял, не петиция, потому что петицию мы писали на другой бумаге, на красивой гербовой бумаге с водяными знаками и несколькими специальными печатями, на бумаге для петиций. А листок, который лежал теперь на стекле у Перилло — в стекле отражались: сейф, зарешеченное окно, беспорядочная листва деревьев за окном, идущая по делам улица, небо,— был обычный тетрадный в косую линейку, и то, что ты написал на листке — ведь это написал именно ты,— было не петицией, а той самой объяснительной запиской о потерянном доверии, про которую я сто лет как успел забыть, я никогда не написал бы ее, если бы не ты. То есть я спешу подчеркнуть, что ее написал ты, а я не имел к ней никакого отношения. Увы нам, Савл, нас предал третий, все пропало: петиция исчезла, и восстановить текст нам не под силу, мы уже все забыли. Мы помним только, что в тот час лицо Николая Горимировича — после того как он начал читать объяснительную — стало каким-то иным. Оно, конечно, продолжало быть угрюмым, поскольку не могло не быть угрюмым, но стало еще каким-то. Был оттенок. Тень. Или так: по лицу директора словно прошел легкий ветер. Ветер ничего не унес, а только добавил новое. Какую-то специальную пыль. Вероятно, мы не ошибемся, сказав: лицо Перилло стало угрюмым и специальным. Правильно, это было теперь специальное лицо. Но что же читал Перилло,— интересуется Савл,— что вы там натворили, друзья мои? Я не знаю, спросите у него, это писал он, другой. Я сейчас расскажу. Там было вот что. Как ваш покорный корреспондент уже сообщал

итальянскому художнику Леонардо, я сидел в лодке, бросив весла. На одном из берегов кукушка считала мои годы. Я задал себе вопросы, несколько вопросов, и собрался уже отвечать, но не смог. Я удивился, а потом что-то случилось во мне — в сердце и в голове. Как будто меня переключили. И тут я почувствовал, что исчез, но сначала решил не верить. Не хотелось. И сказал себе: неправда, это кажется, ты немного устал, сегодня очень жарко. Бери грёби и гребú домой, в Сиракузы, перечислять таврические корабли. И попытался взять весла, и протянул к ним руки. Но не вышло. Я видел рукоятки, но не ощущал их ладонями. Дерево гребей протекало через мои пальцы, как песок, как воздух, как несуществующее время. Или наоборот: я, мои бывшие ладони, обтекали дерево подобно воде. Лодку прибило к берегу в пустынном месте. Я прошел по пляжу некоторое количество шагов и оглянулся: на песке не осталось ничего похожего на мои следы, а в лодке лежала белая речная лилия, названная римлянами Нимфея Альба, то есть белая лилия. И тогда я понял, что превратился в нее и не принадлежу отныне ни себе, ни школе, ни вам лично, Николай Горимирович,— никому на свете. Я принадлежу отныне дачной реке Лете, стремящейся против собственного течения по собственному желанию. И — да здравствует Насылающий Ветер! Что же касается двух мешочков для тапочек, то спросите у моей мамы, она все знает. Она скажет: и это пройдет. Она знает.

Мама, мама, помоги мне, я сижу здесь, в кабинете Перилло, а он звонит т у д а, доктору Заузе. Я не хочу, поверь мне. Приходи сюда, я обещаю выполнять все твои поручения, я даю слово вытирать ноги у входа и мыть посуду, не отдавай меня. Лучше я снова начну ездить к маэстро. С наслаждением. Ты понимаешь, в эти немногие секунды я многое передумал, я осознал, что, в сущности, необыкновенно люблю всю музыку, особенно аккордеон три четверти. И-и-и, раз-два-три, раз-два-три, и-раз, и-два, и-три. На Баркаролле. Давай же снова поедем к бабушке, побеседуем, а оттуда —

сразу пойдем к маэстро, он живет совсем близко, ты помнишь. И я даю тебе слово, что никогда больше не буду подсматривать за вами. Поверь, мне совершенно все равно, чем вы там с ним занимаетесь, там, в башенке, на втором этаже. Занимайтесь, а я — я буду разучивать чардаш. А когда вы спуститесь обратно по скирлучей лесенке, я вам сыграю. Сексты, или даже гаммы. И пожалуйста, не беспокойтесь. Какое мне дело! Мы все давно взрослые люди, все трое — ты, маэстро и я. Неужто я не понимаю. И разве я могу наябедничать? Никогда, мама, никогда. Вспомни, разве я хоть раз — папе? Нет. Занимайтесь, занимайтесь, а я буду играть чардаш. Представь себе, вот день, когда мы опять едем. Воскресенье, утро; папа бреется в ванной, я чищу ботинки, а ты готовишь нам завтрак. Яичница, оладьи, кофе с молоком. У папы прекрасное настроение, вчера у него было тяжелое заседание, он говорит, что дьявольски устал, но зато все получили по заслугам. Вот почему, бреясь, он напевает свою любимую неаполитанскую песенку: «В неапольском порту с пробоиной в борту Джанетта поправляла такелаж, но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отправлен экипаж». Ну что, едете заниматься? — спрашивает он за завтраком, хотя лучше нас знает, что да, едем, да, заниматься. Да, папа, да, музыкой. Как он поживает, этот ваш одноглазый, я давно не видел его, по-прежнему музицирует, сочиняет разную белиберду? Конечно, папа, а что же ему еще делать, он ведь инвалид, у него масса свободного времени. Знаем мы этих инвалидов,— усмехается папа,— этим бы инвалидам — баржи грузить, а не на скрипочках пиликать, будь моя воля, они бы у меня попиликали, моцарты фиговы. Между прочим,— замечаешь ты, мама,— он играет не на скрипке, его основной инструмент — труба. Тем более,— говорит папа,— будь моя воля, он бы потрубил у меня где положено. Лучше бы,— продолжает папа, подбирая кусочком хлеба остатки глазуньи,— лучше бы он носки себе чаще стирал. При чем тут носки,— отвечаешь ты, мама,— мы же беседуем о музыке; естественно, у каждого могут быть свои слабости, человек холост, одинок, все приходится

самому. Вот-вот,— говорит папа,— ты ему еще носки постирай, если тебе его жалко, подумаешь — гений какой отыскался, носки не в состоянии постирать! Наконец выходим. Ну, езжайте,— напутствует папа, стоя на пороге,— езжайте. Он в своей единственной и любимой пижаме, с пачкой газет под мышкой. Большое лицо его — оно почти без морщин — светится и блестит от недавнего бритья. Я почитаю,— говорит он.— Осторожнее с аккордеоном, не поцарапайте чехол. В электричке полно народу — все куда-то едут, куда-то на дачи. Сесть совершенно негде, но как только мы появляемся, все оглядываются на нас и говорят друг другу: дайте пройти мамаше с мальчиком, не мешайте им, посадите мамашу с мальчиком с аккордеоном, посадите, пусть сядут, у них аккордеон. Мы садимся и смотрим в окно. Если день, когда мы едем заниматься, приходится на зиму, то за окном мы видим лошадей, запряженных в сани, видим снег и разные следы на снегу. Если же дело происходит осенью, то за окном все по-другому: лошади запряжены в телеги или просто гуляют в ржавых лугах сами по себе. Мама, сейчас непременно войдет констриктор. Откуда ты знаешь, вовсе не обязательно. Вот увидишь. Проверка билетов,— говорит констриктор, входя. Мама открывает сумочку, она ищет билеты, но долго не может найти. Волнуясь, она выкладывает себе на колени все те небольшие вещи, которые есть в сумочке, и весь вагон наблюдает, как она это делает. Вагон рассматривает вещи: два или три носовых платка, флакончик с духами, губная помада, записная книжка, засушенный василек на память о чем-то давнем, футляр для очков, или, как его называет мама,— очешник, ключи от квартиры, подушечка для иголок, катушка ниток, спички, пудреница и ключ от бабушки. Наконец мама находит билеты и протягивает подошедшему констриктору, толстому человеку в специальной черной шинели. Он вяло крутит билеты в руках, смотрит их на свет, вяло закрыв один глаз, и пробивает компостером, напоминающим: щипцы для сахара, машинку для стрижки, силомер, маленькие клещи, клещи для удаления зубов, фонарик-«жучок».

Заметив аккордеон, толстяк вяло подмигивает мне и спрашивает: Баркаролла? Да,— говорю я,— Барракуда, три четверти. Мы едем заниматься,— добавляет мама, волнуясь. Весь вагон слушает, привстав с желтых лакированных скамеек, стараясь не пропустить ни слова. Нас ждет преподаватель,— продолжает мама,— мы немного опаздываем, не успели на десятичасовую, но мы наверстаем от станции пойдем чуть быстрее обычного у сына очень талантливый педагог он композитор правда он не совсем здоров знаете фронт но очень талантлив и живет совершенно один в старом доме с башенкой сами понимаете у него не слишком уютно бывает и беспорядок но какое это имеет значение если речь идет о судьбе сына видите ли учителя посоветовали нам дать сыну музыкальное образование хотя бы начальное у него неплохой слух и вот мы нашли педагога у нас есть один знакомый и он порекомендовал нам мы очень благодарны они вместе были на фронте наш знакомый и педагог и дружат уже много лет кстати если у вас есть сын и у него слух то если вы хотели бы я могла бы дать адрес честный человек и замечательный музыкант специалист в своем деле можно только преклоняться берет недорого если вам удобнее то можно договориться и он будет приезжать на дом ему нетрудно тем более так и для вас получится дешевле давайте я запишу ваш адрес. Не надо,— вяло говорит констриктор,— ну ее, всю эту музыку, одна Баркаролла чего стоит. Напрасно напрасно отвечает мама аккордеон ведь можно купить в комиссионном там отнюдь не дорого разве можно думать о деньгах если речь идет о судьбе сына в конце концов можно занять давайте я поговорю с вашей женой мы женщины всегда лучше поймем друг друга мы с мужем могли бы занять вам денег пусть не всю сумму хотя бы часть вы бы постепенно вернули мы бы поверили вам разве можно. Не надо,— отвечает констриктор,— я бы с удовольствием у вас занял, но мне не хочется возиться со всей этой музыкой, тут один преподаватель каких денег стоит, да и, к тому же, у меня и сына-то нет никакого, ни сына, ни дочери нет, так что извините, спасибо. Вяло. Констриктор уходит, вагон

садится по местам и предъявляет билеты. Когда мы покидаем поезд и спускаемся с платформы, я оглядываюсь: я вижу, как весь вагон смотрит нам вслед. Мы, идущие своей дорогой, отражаемся в глазах и стеклах набирающего скорость состава: моя среднего роста мама в демисезонном коричневом жакете с воротником из болезненной степной лисы, мама в чешуйчатой, твердой на вид шляпке, сделанной неизвестно из чего, в ботах; и я — худой и высокий, в темном пыльнике на шести пуговицах, перешитом из прокурорской шинели отца, в ужасной бордовой кепке, в ботинках с полузаклепками и с галошами. Мы отлетаем от станции все дальше, растворяясь в мире пригородных вещей, звуков и красок, с каждым движением все более проникаем в песок, в кору деревьев, становимся оптической ложью, вымыслом, детской забавой, игрой света и тени. Мы преломляемся в голосах птиц и людей, мы обретаем бессмертие несуществующего. Дом маэстро — на краю поселка; напоминает корабль, сложенный из кубиков и спичечных коробков. Ты видишь маэстро издалека: он стоит посреди застекленной веранды, перед пюпитром, упражняясь на небольшой флейте, которая в иные дни кажется подзорной трубой; к тому же у него черная, как у пиратского капитана, наглазная повязка. Сад полон черных, изуродованных сквозняками деревьев, а по озеру, тронутые изысканностью мелодии, в холодном и жестком свечении воскресного неба остекленело плывут лодки. Добрый день, маэстро, вот мы и пришли, мы снова здесь, чтобы заниматься. Мы так соскучились по музыке, по вас и по вашему саду. Двери веранды распахиваются, капитан не торопясь движется нам навстречу. Мама, какое у тебя лицо! Неужели это озерный ветер так изменил его. Сейчас, вот уже сейчас. Мама, я не поспеваю за тобой. Сейчас. Сейчас мы ступим на порог дома и канем в его странную архитектуру, впитаемся в коридоры, лестницы, этажи. Вот уже входим. Раз. Два. Три.

Извините, сударь, я, кажется, слишком отвлекся от сути нашего разговора. Я хочу сказать, что Савл

Петрович по-прежнему сидит на подоконнике спиной к окну. Босые ступни ног его покоятся на радиаторе, и учитель, улыбаясь, говорит нам: да, я хорошо помню, что Перилло хотел уволить меня по-щучьему. Но, подумав, он дал мне испытательный срок — две недели, и чтобы не вылететь с работы, я решил проявить себя в лучшем виде. Я решил стараться и стараться. Я решил не опаздывать в школу, решил купить и носить сандалии, я поклялся вести уроки строго по плану. Я отдал бы кому-нибудь половину дачного лета, лишь бы остаться с вами, друзья мои. Но вот тут-то и получилось то самое, о чем я вас все расспрашиваю. Не помню — понимаете? Я не помню, что произошло в период моего испытательного срока, кажется, в самом его начале. Единственно, что я знаю,— что это случилось накануне очередного экзамена. Ученик такой-то, сделайте доброе дело, помогите. Память моя с каждым днем становится все хуже, тускнеет, как столовое серебро, которое лежит в буфете без пользы. Так подышите на это серебро и протрите его фланелевой тряпочкой. Савл Петрович, отвечаем мы, стоящие из кафеле — или как там еще называются эти плитки,— Савл Петрович, мы знаем, мы теперь знаем, мы вспомнили, только не волнуйтесь. Да я и не волнуюсь, Господи, только рассказывайте, пожалуйста, рассказывайте. Взволнованно. Савл Петрович, пожалуй, это будет крайне неприятная для вас новость. Ну-ну,— поторапливает нас учитель,— я весь — внимание. Понимаете, в чем дело, вы ведь раньше знали, что произошло, вы сами нам об этом тогда и сообщили. Ну да, ну да, я же говорю: память моя серебру подобна. Так слушайте. В тот день мы должны были сдавать последний экзамен за такой-то класс, как раз ваш экзамен, географию. Нам назначили к девяти утра, мы собрались в классе и ждали вас до двенадцати, но вы все не приезжали. Щелкая каблуками на поворотах, явился Перилло и сказал, что экзамен переносится на завтра. Кто-то из нашего числа предположил, что вы больны, и мы решили навестить вас. Мы отправились в учительскую, и Тинберген дала нам ваш городской адрес. Мы поехали. Дверь открыла какая-то

женщина, необыкновенно бледная, седая. Честно сказать, мы никогда не встречали настолько меловой женщины. Говорила она едва слышно, сквозь зубы, а одета была в непонятный пыльник цвета простыни, без пуговиц и без рукавов. Скорее, то был даже не пыльник, но мешок, сшитый из двух простыней, в котором вырезали только одно отверстие — для головы,— понимаете? Женщина сказала, что она ваша родственница, и спросила, что передать. Мы отвечали, что ничего не надо, и поинтересовались, где найти вас, Савла Петровича, как, мол, вас увидеть. А женщина говорит: он здесь теперь не живет, а живет за городом, на даче, потому что весна. И предложила дать адрес, но мы вашу дачу, слава Богу, знаем, и решили немедленно ехать. Погодите,— перебивает Савл,— в то время я на самом деле переехал уже на дачу, но вы попали не в ту квартиру, поскольку в моей квартире не могло быть никакой такой женщины, да еще родственницы, у меня нет родственников, даже мужчин, моя квартира всегда пустует с весны до осени, вы перепутали адрес. Возможно, Савл Петрович,— говорим мы,— но та женщина почему-то вас знала, она же хотела объяснить, как к вам на дачу попасть. Странно,— отвечает Савл задумчиво,— а какой номер квартиры — вы не забыли? Такой-то, Савл Петрович. Такой-то? — переспрашивает учитель. Да, такой-то. Мне тревожно,— говорит Савл,— я ничего не соображаю, мне тревожно. Откуда там могла быть женщина? А вы не заметили, там, около двери, на лестничной клетке — стояли санки? Стояли, Савл Петрович, детские санки, желтые, с лямкой из фитиля для керосиновой лампы. Верно, значит, верно, но, Боже мой, какая женщина? И почему седая, почему в пыльнике? Я не знаю таких женщин, мне тревожно, впрочем — продолжайте. Подавленно. И вот мы отправились к вам на дачу. Утро уже кончилось, но, несмотря на, вдоль всей железной дороги, в кустах за полосой отчуждения, вопреки поездам, продолжали согласно петь соловьи. Мы стояли в тамбуре, ели мороженое и слышали их — они были громче всего на свете. Мы полагаем, Савл Петрович, вы не забыли, как пройти от станции

к вам на дачу, и не станем описывать дорогу. Нужно только заметить, что в придорожных канавах еще хранилась талая холодная вода и молодые листики подорожника торопливо пили ее, чтобы выжить и жить. Можно упомянуть и о том, что на садовых участках появились уже первые люди: жгли мусорные костры, копались в земле, стучали молотками, отмахивались от первых пчел. Все в нашем поселке было в тот день точно так же, как в соответствующий день прошлого года и всех прошлых лет, и наша дача стояла, утопая в шестилепестковой счастливой сирени. Но там, в нашем саду, возились теперь какие-то другие дачники, не мы, поскольку к тому времени мы продали нашу дачу. А может быть еще не купили ее. Тут ничего нельзя утверждать с уверенностью, в данном случае все зависит от времени, или наоборот — ничего от времени не зависит, мы можем все перепутать, нам может показаться, что тот день был тогда-то, а по-настоящему он приходится на совершенно иной срок. Ужасно плохо, если одно накладывается на другое без всякой системы. Справедливо, справедливо, сейчас мы даже не в состоянии утверждать с определенностью, была ли у нас, у нашей семьи, какая-нибудь дача, или она была и есть, или она только будет. Один ученый — это я читал в научном журнале — говорит: если вы находитесь в городе и думаете в данный момент, что у вас за городом есть дача, это не значит, будто она есть в действительности. И наоборот: лежа в гамаке на даче, вы не можете думать всерьез, что город, куда вы собираетесь после обеда, в действительности имеет место. И дача, и город, между которыми вы мечетесь все лето,— пишет ученый,— лишь плоды вашего не в меру расстроенного воображения. Ученый пишет: если вы желаете знать правду, то вон она: у вас з д е с ь нет ничего — ни семьи, ни работы, ни времени, ни пространства, ни вас самих, вы все это придумали. Согласен,— слышим мы голос Савла,— я, сколько себя помню, никогда в этом не сомневался. И тут мы сказали: Савл Петрович, но что-то все-таки есть, это столь же очевидно, как то, что река называется. Но что же, что именно, учитель? И тут он

ответил: други милые, вы, возможно, не поверите мне, вашему отставной козы барабанщику, цинику и охальнику, ветрогону и флюгеру, но поверьте мне иному — нищему поэту и гражданину, явившемуся просветить и заронить искру в умы и сердца, дабы воспламенились ненавистью и жаждой воли. Ныне кричу всею кровью своей, как кричат о грядущем отмщении: на свете нет ничего, на свете нет ничего, на свете нет ничего, кроме Ветра! А Насылающий? — спросили мы. И кроме Насылающего,— отвечал учитель. В утробах некрашеных батарей шумела вода, за окном шагала тысяченогая неизбывная, неистребимая улица, в подвалах котельной от одной топки к другой, мыча, метался с лопатой в руках наш истопник и сторож, а на четвертом пушечно грохотала кадриль дураков, потрясая основы всего учреждения.

Итак, наша дача стояла, утопая в шестилепестковой сирени. Но там, в нашем саду, возились теперь другие, не мы, но, возможно, это были все-таки мы, но, торопясь мимо себя в сторону Савла, мы не узнали себя. Мы спустились до конца улицы, повернули налево, а потом — как это часто случается — направо, и оказались на краю овсяной нивы, за которой, как вы знаете, струит свои воды дачная Лета и начинается Край Козодоя. На дороге, режущей пополам овсяную ниву, мы повстречали почтальона Михеева, или Медведева. Он медленно ехал на велосипеде, и хотя ветра не было, бороду почтальона развевал ветер, и от нее — клочок за клочком — отлетали клочки, словно то была не борода, но туча, обреченная буре. Мы поздоровались. Но хмурый — или же печальный? — он не узнал нас и не ответил и покатил дальше, по направлению к водокачке. Мы посмотрели ему вслед и: вы не встречали Норвегова? Не оборачиваясь, являвший собою идеал почтальоновелосипеда, монолит, раб, намертво примурованный к седлу, Михеев крикнул по-вороньи хрипло одно слово: там. И рука его, отделившись от рычага управления, произвела жест, запечатленный впоследствии на множествах древних икон и фресок: то была рука,

свидетельствующая о благости, и рука дарующая, рука призывающая и смиряющая, рука, согбенная в локте и в запястье — ладонь же обращена к безупречно сияющему небу, жест миротворца. И рука эта показала туда, в сторону реки. Други,— перебивает Норвегов,— я рад, что на пути ко мне вы встретили нашего уважаемого почтальона, в наших местах это считается доброй приметой. Но мне снова тревожно, я хочу опять возвратиться к разговору о той женщине, я жду очередных подробностей. Скажите, с кем или с чем вы могли бы сравнить ее, дайте метафору, дайте сравнение, а то я не слишком четко представляю ее себе. Дорогой отставник, мы могли бы сравнить ее с криком ночной птицы, воплощенным в образе человеческом, а также с цветком отцветающей хризантемы, а также с пеплом отгоревшей любви, да, с пеплом, с дыханием бездыханного, с призраком, и еще: женщина, отворившая нам, была тот бабушкин меловой ангел с одним надломленным крылом, тот — ну, вы, наверное, знаете. Вот так номер,— отзывается Савл,— я начинаю подозревать худшее, я в отчаянии, да не может этого быть, ведь вот же обычным образом беседую здесь с вами, вот я слышу каждое ваше слово, чувствую, осязаю, вижу, а тем не менее, как будто, будто бы, как следует из ваших описаний... нет, но я имею право и не верить, не признавать, сказать — нет, не так ли? Решительно. С растрепанными седыми волосами. Жестикулируя. Савл Петрович, там, где кончается овсяная нива — там почти сразу начинается Лета. Берег ее довольно высок, обрывист, он в большой степени состоит из песка. На самом верху обрыва, на травянистой площадке произрастают сосны. С этой площадки хорошо виден тот берег и вся река — вверх и вниз по течению. Цвет реки темно-голубой, чистый, она стремит свои воды бережно, не торопясь. Что касается ширины ее, то об этом лучше всего расспросить тех редких птиц, которые. Они летят и не возвращаются. Подойдя к обрыву, мы сразу увидели ваш дом — он, как всегда, стоял на том берегу, во лузях, кругом качались цветы и жили стрекозы. Тут же были стрижи и ласточки. А вы, Савл Петрович, вы сами

сидели у воды, причем несколько удочек были заброшены и удилища укреплены на специальных рогатках. То и дело клевало, и звоночки, прикрепленные к лескам, позванивали и будили вас от полуденной дремы. Вы просыпались, делали подсечку и вытаскивали очередного глухаря, точнее — пескаря. Нет-нет,— замечает географ,— мне ни разу не удавалось поймать ни одной рыбины, у нас в Лете рыба просто не водится, это клевали тритоны. Надо сказать, они ничуть не хуже карася или окуня, даже лучше. Сушеные, они напоминают по вкусу воблу, очень толково с пивом. Я порой продавал на станции: несу целое ведро и продаю, там, возле пивного ларька. Бывало, пока несешь, они высыхают прямо на глазах, прямо в ведре, если жарко, конечно. И вот мы подошли к обрыву, увидали вас, сидящего на противоположном песке, и поздоровались: здравствуйте, Савл Петрович! клюет? Доброго здоровья,— отвечали вы с того берега,— сегодня что-то не очень, печет сильно. Помолчали, слышно было, что Лета течет вспять. Потом вы спросили: а вы, друзья мои, почему не на занятиях, прогуливаете? Да нет, Савл Петрович, мы за вами приехали. Что-нибудь случилось в школе? Да нет, ничего, вернее, вот что, получилось так, что вы сегодня не пришли на экзамен, горные системы, реки и другое — география. Вот те на,— отвечали вы,— но я не могу нынче, неважно себя чувствую. А что у вас — ангина? Хуже, ребята, гораздо хуже. Савл Петрович, вы не хотели бы переехать к нам, на наш берег, у вас лодка, а у нас здесь ничего нет, наша лодка хоть и здесь, но греби заперты в сарае, у нас есть для вас подарок, мы привезли торт. Лопайте сами, други,— сказали вы,— у меня никакого аппетита, да я и не люблю сладкое, спасибо, не стесняйтесь. Ладно,— а мы — мы, наверное, съедим сейчас. Мы развязали коробку, разрезали торт перочинным ножом на две равные части и стали есть. Мимо шла самоходная баржа, на палубе на веревках висело белье и на качелях качалась простая девочка. Мы помахали ей крышкой от торта, но девочка не заметила, потому что смотрела в небо. Мы быстро съели торт и спросили: Савл Петрович, а что

передать Тинберген и Перилло, когда вы будете? Не понимаю, не слышу,— отвечали вы,— пусть баржа уйдет. Мы подождали, пока баржа уйдет, и снова сказали: что передать Трахтенберг, когда вы будете? Не знаю, как тут получится, ребята, дело в том, что я, очевидно, не приду совсем, передайте, что я с этого вторника не работаю у вас, беру расчет. А что такое, Савл Петрович, нам весьма жаль, мы будем скучать без вас, это неожиданно. Не горюйте,— улыбнулись вы,— в спецалке много квалифицированных педагогов и без меня. Но время от времени я стану прилетать, заглядывать, мы будем видеться, поболтаем, черт побери. Савл Петрович, а можно мы навестим вас на той неделе на том берегу всем классом? Давайте, радостно жду, только предупредите остальных: никакой закуски не надо, полная потеря аппетита. А что за болезнь, Савл Петрович? Да не болезнь, други, это не болезнь,— сказали вы, вставая и отряхивая подвернутые до колен брюки,— дело в том, что я у м е р,— сказали вы,— да, все-таки умер, к чертям, умер. Медицина у нас, конечно, хреновая, но насчет этого — всегда точно, никакой ошибки, диагноз есть диагноз: у м е р,— сказали вы,— прямо зло берет. Раздраженно. Так я и думал,— говорит Савл, сидящий на подоконнике, греющий босые ступни ног своих о батарею.— Когда вы сказали про женщину, которая отворила дверь, у меня сразу появилось какое-то нехорошее предчувствие. Ну ясно, теперь я все вспомнил, это была одна моя знакомая, скорее, даже родственница. А что было после, ученик такой-то? Мы вернулись в город, явились в школу и рассказали всем, что с нами, а точнее — с вами, случилось. Все сразу как-то огорчились, многие помертвели лицами и плакали, особенно девочки, особенно Роза. О Роза! — говорит Савл,— бедная Роза Ветрова. А потом состоялись похороны, Савл Петрович. Вас хоронили в четверг, вы лежали в зале для актов, очень много народу пришло проститься: все ученики, все учителя и почти все родители. Вас, понимаете, ужасно любили, особенно мы, спецшкольники. Знаете, что интересно: у вас в изголовье стоял огромный глобус, самый большой

в школе, и те, кто дежурил в почтенном карауле, по очереди вращали его — было красиво и торжественно. Все время играл наш духовой оркестр, пять или шесть ребят, причем было две трубы, а остальные — барабаны, большие и маленькие, представляете? Говорили речи, Перилло плакал и клялся, что добьется в отделе народного оборзования, чтобы школу переименовали в школу имени Норвегова, а Роза — вы знаете? — Роза прочитала для вас удивительные и прекрасные стихи, она сказала, что всю ночь не спала и сочиняла. Вот как? но я что-то смутно... на-напомните хоть строчку. Сейчас, сейчас, кажется, примерно так:

Вчера я засыпала под шум семи ветров,
Холодных и могильных, под шум семи ветров.
И Савл Петрович умер под шум семи ветров.
Не сплю я в нашем доме под шум семи ветров.
И воет собачонка под шум семи ветров.
Шел кто-то очень близкий по снегу, по ветрам,
Шел некто на мой голос, мне что-то он шептал,
И я, ответить силясь, звала его по имени —
Пришел к моей могиле он,
И вдруг меня узнал.

О Роза,— истерзанно говорит Савл,— бедная моя девочка, нежная моя, я узнал тебя, узнал, благодарю тебя. Ученик такой-то, прошу вас, поберегите ее ради меня, ради нашей с вами старинной дружбы. Роза очень больна. И напоминайте ей, пожалуйста, чтобы не забывала, чтобы навещала, она же знает и дорогу, и адрес. Я живу все там же, на том берегу, где мельницы. Скажите, она учится по-прежнему отлично? Да-да, только пятерки. И тут мы услышали, как на четвертом, а затем и по всей парадной лестнице — сверху вниз — загрохотало, заорало, завопило: это означало, что репетиция закончилась и бежит, исходит из зала в сторону улицы. Дураки хореографического ансамбля ринулись к раздевалкам сразу всей идиотской массой, плюя друг другу во рты, ревя, кривляясь, извиваясь телами, ставя подножки, хрюкая и хохоча. Когда мы снова обратили лица свои к Савлу Петровичу, его уже не было

с нами — подоконник был пуст. А за окном шагала неизбывная тысяченогая улица.

Какая печальная история, юноша, как понятны мне ваши чувства, чувства ученика, потерявшего любимого учителя. Что-то похожее было, между прочим, и в моей жизни. Поверите ли, я не сразу стал академиком, до этого мне пришлось похоронить не один десяток учителей. Но однако ж,— продолжает Акатов,— вы обещали рассказать мне о какой-то книге, ее, как будто, дал вам в тот раз ваш педагог. Я совсем упустил из виду, сударь. Ту книгу он дал мне в другую встречу — раньше или позже, но если позволите, я сейчас расскажу. Савл Петрович опять сидел там, на подоконнике, грея ноги. Мы же вошли задумчиво: дорогой наставник, вам, вероятно, известно, что чувства, которые мы питаем к нашему преподавателю биоботаники Вете Аркадьевне, не лишены смысла и основания. По-видимому, свадьба наша не за горными, с позволения сказать, системами. Но мы совершенно наивны в некоторых деликатных вопросах. Не могли бы вы — проще говоря, скажите, как это нужно делать, у вас же были женщины. Женщины? — переспрашивает Савл,— да, насколько мне помнится, у меня были женщины, но тут есть одна загвоздка. Понимаете, я не могу ничего толком объяснить, я сам уже не знаю, как именно это бывает. Как только это кончается, сразу все забываешь. Я не помню ни единой женщины из всех, что у меня были. То есть я помню лишь имена, лица, одежду, какую они носили, их отдельные фразы, улыбки, слезы, гнев их, но по поводу того, о чем вы спрашиваете, я ничего не скажу — я не помню, не помню. Ибо все это построено скорее на чувствах, нежели на ощущениях, и уж, конечно, не на здравом рассудке. А чувства — они как-то быстро проходят. И вот только что я замечу: всякий раз это точно так же, как в предыдущий, но и вместе с тем вовсе по-иному, по-новому. Но любой раз не похож на тот первый, единственный раз с первой женщиной. Но о первом разе я вообще не скажу ни слова, потому что его абсолютно ни с чем не сравнить, и мы еще

не придумали ни одного слова, которое можно о нем сказать, если говорить не впустую. Восторженно. С улыбкой мечтающего о невозможном. Но вот вам книга,— продолжал Норвегов, доставая из-за пазухи книгу,— она у меня случайно, она не моя, мне самому дали на пару дней, так возьмите ее, почитайте, может, вы что-нибудь там найдете для себя. Спасибо,— сказали мы, и ушли читать, читая. Сударь, то была превосходная переводная брошюра одного немецкого профессора, она была о семье и браке, и как только я открыл ее, мне все сразу стало понятно. Я прочитал только одну страницу, открытую наугад, примерно такую-то — и сразу вернул книгу Савлу, поскольку все понял. Что же именно, юноша? Я понял, как именно будет строиться наша с Ветой Аркадьевной жизнь, на каких основах. Там все написано. Я заучил наизусть всю страницу. Там напечатано: «Он (то есть я, сударь) несколько дней был в отъезде. Он тосковал по ней, а она (то есть Вета Аркадьевна) по нему. Должны ли они (то есть мы) скрывать это друг от друга, как это часто происходит вследствие неправильного воспитания? Нет. Он возвращается домой и видит, что все очень мило прибрано (Аркадий Аркадьевич, у нас в гостиной непременно будете висеть вы, то есть ваш портрет в полное туловище, в тот вечер он будет украшен цветами). Как бы между прочим она говорит: "Ванна готова. Белье я уже положила. Сама я уже искупалась". (Представляете, сударь?) Как замечательно, что она рада и в предвкушении любви все уже приготовила для этого. Не только он желает ее, но и она желает его и без ложного стыда ясно дает ему понять это...» Понимаете, сударь? ж е л а е т меня, Вета ж е л а е т, ж е л а е т, без ложного. Я понимаю, юноша, понимаю. Но вы не совсем верно уловили мою мысль. Я подразумевал другое, я намекал не столько на духовно-физиологические основы ваших взаимоотношений, сколько на материальные. На что вы, проще сказать, собираетесь существовать, на какие средства, каковы ваши доходы? предположим, Вета в скором времени согласится на брак с вами, ну а дальше? вы что — собираетесь работать или учиться?

Ба! Вот вы о чем, сударь, впрочем, я догадывался, что и об этом вы тоже спросите. Но видите ли, вероятно, в самом скором будущем я заканчиваю нашу спецшколу, очевидно экстерном. И тут же поступаю на одно из отделений какого-нибудь из инженерных заведений: я, подобно всем моим одноклассникам, мечтаю стать инженером. Я быстро, если не сказать — стремглав, становлюсь инженером, покупаю машину и прочее. Так что не беспокойтесь, мне было бы приятно, если бы вы воспринимали меня как потенциального студента, не меньше того. Позвольте, позвольте, но при чем же тогда все ваши рассуждения о бабочках? вы информировали меня о большой коллекции, я был убежден, что передо мной подающий надежды молодой коллега, а тут оказывается, я уже битый час имею дело с инженером будущего. О, я ошибся, сударь,— инженером мечтает стать тот, другой, который теперь не здесь, хотя, может, и заглянет сюда с минуты на минуту. Я же — ни за что, лучше — петушков на палочке, лучше — учеником холодного сапожника, лучше — негром преклонных годов, но инженером — нет, ни за какие такие, и не просите даже. Я решил твердо: только биологом, как вы, как Вета Аркадьевна, на всю жизнь — биологом, и главным образом — по части бабочек. У меня для вас небольшой сюрприз, Аркадий Аркадьевич, на днях я намереваюсь отправить на академический конкурс энтомологов свою коллекцию, несколько тысяч бабочек. Письмо я уже приготовил. Смею надеяться, что успех не заставит себя долго ждать, и уверен, что и вам не безразличны мои будущие достижения и вы порадуетесь вместе со мной. Сударь, вы только представьте себе, вот утро, одно из первых утр, заставших нас с Ветой рядом. Где-то здесь, на даче — у вас или у нас, это неважно. Утро, полное надежд и счастливых предчувствий, утро, которое ознаменуется известием о присуждении мне академической премии. Утро, которое мы никогда не забудем, потому что — ну, вам-то не нужно объяснять, почему именно: позволительно ли для ученого забывать миг вкушения славы! Одно из утр...

*

Ученик такой-то, разрешите мне, автору, перебить вас и рассказать, как я представляю себе момент получения вами долгожданного письма из академии, у меня, как и у вас, неплохая фантазия, я думаю, что смогу. Конечно, рассказывайте,— говорит он.

Предположим, в одно такое утро — предположим, утро какой-нибудь из июльских суббот — почтальон по фамилии Михеев, а может быть Медведев (он довольно стар, очевидно, ему не меньше семидесяти, он живет на пенсию и еще получает на почте половинную ставку развозчика газет и писем, доставщика телеграмм и разных извещений, которые он, кстати, возит не в обычной почтальонской сумке, а в необычной для почтальона сумке,— его сумка — обычная хозяйственная сумка из черного дерматина,— и не на ремне через плечо, а на обычных лямочках-ручках на велосипедном руле), итак, в одно субботнее июльское утро почтальон Михеев останавливает свой велосипед возле вашего дома и по-стариковски, пенсионно-неловко соскочив с него в горькую дорожную пыль, желтую дорожную пыль, в легкую и летучую пыль дороги, нажимает ржавый рычажок велосипедного звонка. Звонок пытается звенеть, но звука почти не получается, так как звонок почти умер, ибо многие необходимые шестерни внутри него чрезвычайно стерлись, съели друг друга за долгую службу, а молоточек, укрепленный на винтике, почти неподвижен от ржавчины. Но все-таки, сидя в это утро на открытой веранде, что окутана веселым щебечущим садом отца твоего, ты слышишь хрип умирающего звонка, а вернее, не слышишь, но чувствуешь его. Ты спускаешься по ступенькам веранды, ты шагаешь через веселый пчелиный сад, ты отворяешь калитку и видишь Михеева и здороваешься с ним: здравствуйте, почтальон Михеев (Медведев). Здравствуйте, говорит он, я привез вам письмо из академии. Давайте, спасибо, говоришь ты, улыбаясь, хотя от твоей улыбки нет никакого проку, потому что твоя улыбка ничего не изменит ни в ваших обыденных отношениях, ни в судьбе старого загородного почтальона, как не изменили ее тысячи

других — вот таких же ни к чему не обязывающих улыбок, встречавших его всякий день у сотен дачных и не дачных калиток, дверей, у ворот и заборных лазов. И ты не можешь не согласиться со мною, ты отлично понимаешь все это сам, но привычка к вежливым поступкам, которую внушали тебе с детства в школе и дома, срабатывает сама по себе, помимо твоего сознания: говоря Михееву — давайте, спасибо,— ты берешь из его пожилой венозной руки желтый конверт и — улыбаешься. В один из моментов вашей короткой встречи, вашего традиционного, то есть никому из вас не нужного, а все-таки неизбежного диалога («Здравствуйте, почтальон Михеев», «Здравствуйте, я привез вам письмо из академии», «Давайте, спасибо»), в момент твоей и его жизни, в минуту существования поющих у тебя за спиной синих садовых птиц, в час скольжения голубых весельных лодок, скользящих по невидимой отсюда реке Лете и по другим невидимым рекам, его голубая и рябая от старости и некрасивая от рождения рука протягивает тебе желтый конверт и едва касается твоей — молодой, темной от загара и, в сущности, лишенной морщин. Неужели,— размышляешь ты в эту секунду,— неужели и моя рука станет когда-нибудь такой же? Но тут же успокаиваешь себя: нет-нет, не станет, я ведь бегаю в школе укрепляющие кроссы, а Михеев не бегал. Вот отчего у него такие руки,— заключаешь ты, улыбаясь. «Давайте, спасибо». «Пожалуйста»,— невнятно и без улыбки произносит Михеев (Медведев), загородный развозчик писем и телеграмм, доставщик извещений и газет, старик, пенсионер-почтальон, невеселый велосипедист с необычно-обычной сумкой на руле, человек мечтательный, угрюмый и пьющий. Вот он, не оглядываясь ни на тебя, ни на сад, полный синих птиц, вот он так же неловко, как слезал минуту назад, садится на велосипед и, неумело педалируя, везет свои, а вернее, чужие письма в сторону дома отдыха и водокачки, в сторону поселковых окраин, цветочных полян, бабочек и фундуковых серебристых орешников. Он немного с похмелья, ему, пожалуй, стоит поскорее развезти оставшиеся письма и письмена,

будь они все неладны, а потом отправиться домой и развести водой небольшое количество спирта — его старуха работает санитаркой в местной больнице, и это добро в доме никогда не переводится и не переводится зря,— а затем, закусив малосольным помидором из дубовой кадушки (в подвале, где она стоит,— пауки, холодок, проросшая картошка и запах плесени), поехать куда-нибудь в сосны, в рябины, или в те же самые орешники за водокачкой и поспать в тени, покуда не перестанет печь солнце. Когда почтальону за семьдесят, ему нету пользы кататься весь день по такой жаре, надо же и отдохнуть. Но в сумке еще есть кое-какие письма: кто-то кому-то пишет, кому-то не лень отвечать, всякий раз занимать у соседей конверт, покупать марку, вспоминать адрес и ходить по жаре искать ящик. Да, есть еще кое-какие письма и нужно их развезти. И вот он едет сейчас в сторону водокачки. Тропинка, едва намеченная в некошеной траве, идет в гору, и ноги Михеева, обутые в черные ботинки, с высокими, чуть ли не дамскими каблуками, то и дело срываются с педалей, и руль при этом перестает подчиняться письмоносцу, переднее колесо пытается встать поперек движения остальных частей этой несложной машины, колесо дает юз, спицы его по ходу дела срезают головки одуванчикам — белые парашютики семян взлетают и медленно опускаются на Михеева (Медведева), осыпают старого почтаря, будто намереваясь оплодотворить собою его шляпу из фетра и черную драповую и, верно, очень душную в такую погоду косоворотку. Парашютики опускаются и на брюки из прорезиненной ткани, одна штанина которых — правая — стянута повыше михеевской щиколотки липовой бельевой прищепкой, чтобы материя, паче чаяния, не попала в передаточный механизм — цепь, маленькая шестеренка, соединенная с задним колесом при помощи втулки, большая шестерня, с приваренными к ней педальными рычагами,— иначе Михеев сразу упадет в травы, в цветы, рассыпав при этом все письма. Их подхватит ветер и унесет за реку, в заливные луга: так уже случалось, или могло случиться, а значит — как бы случалось,— и что тогда

делать старому почтарю, как не брать у перевозчика лодку и не плыть туда, за реку, ловить и собирать свои, а точнее чужие письма: выкраивают же люди время писать, хватает же у кого-то терпения, а о том, что вся их дурацкая писанина, все эти поздравительные открытки и якобы срочные телеграммы могут в одно прекрасное утро улететь за реку, стоит лишь Михееву упасть с велосипеда в травы,— об этом никто из них ни разу не подумал, ибо каждый старается не упасть сам, со своего собственного велосипеда, а тут уж, конечно, не до старика письмоносца, который всю жизнь только и знает, что развозит по разным домам их несчастные каракули. Ветер-то,— вполголоса рассказывает сам себе Михеев (Медведев),— ветер-то какой по верхам идет, не иначе дождь нагоняет. Но это неправда: никакого ветра нет — ни верхового, ни понизу. И прежде чем над поселком прольется дождь, минует еще не меньше недели, и все это время будет ясно и безветренно, и дневное небо будет синим вощеным ватманом, а ночное — черным карнавальным шелком с крупными влажными звездами из разноцветной фольги. А Михеев — он просто обманывает себя сейчас, ему просто надоела эта жара, эти письма, этот велосипед, эти безразлично-вежливые адресаты, которые всегда улыбаются, приветствуя его на порогах своих садов, где наливаются и гудят яблоки, и он, Михеев, хочет обнадежить себя хоть какой-нибудь переменой в этой знойной, скучной и однообразной для него дачной жизни, которой он, как будто, принадлежит, но в которой почти не участвует, хотя всякий, кто имеет свой дом здесь или за рекой, знает Михеева в лицо; и когда он проезжает на своем старинном велосе с беззвучным звонком, встречные дачники улыбаются Михееву, но он угрюмо или печально, или по-стариковски мечтательно, словно любуясь ими, оглядывает их молча и катит дальше — в сторону станции, в сторону пристани или — как теперь — в сторону водокачки. Молча. Михеев близорук, носит очки без оправы, время от времени отпускает бороду и время от времени сбривает ее, а может, ее обрывает ветер, но и с бородой, и без он в представлении дачников

являет собою редкий тип пожилого мечтателя, любителя велосипедной езды и мастера почтовых манипуляций. Ветер,— продолжает он лгать самому себе,— к вечеру непременно буря, гроза, сады все взлохматит, будут мокры и лохматы, а кошки — лохматы и мокры: спрячутся по чердакам, по цоколям дач, станут выть, а река разольется, выплеснется из берегов и зальет дачи, зальет все эти кипящие на верандах самовары и чадящие керосинки, зальет почтовые ящики на заборах, и все письма, что лежат теперь у него в сумке и которые он скоро развезет по ящикам, обратятся в ничто, в пустые клочки бумаги с размытыми и потерявшими смысл словами, а лодки — эти дурацкие ободранные плоскодонки, на которых катаются бездельники из дома отдыха и лодыри-дачники,— эти лодки поплывут вверх дном вниз по течению до самого моря. Да,— мечтает Михеев,— ветер перевернет вверх дном всю эту садово-самоварную жизнь и хоть на время прибьет пыль. «Из пыли,— вдруг вспоминает пенсионер читанное где-то и когда-то,— бриз мастерит серебряные кили». Вот именно, из пыли, анализирует Михеев, и именно кили, то есть кили к лодкам, килевые лодки, значит, а не плоскодонки, чтоб им пусто было. Скорей бы уж ветер. «Ветер в полях, ветерок в тополях»,— опять цитирует Михеев в уме, меж тем как тропинка поворачивает вправо и идет немного под гору. Теперь до самого мостика через овраг, где растут в обилии лопухи и наверняка живут змеи, можно оставить педали в покое и дать отдых ногам: пусть они свободно висят, покачиваясь по сторонам рамы, и не трогают педали, и пусть машина катится сама по себе — навстречу ветру. Насылающий Ветер? — думаешь ты о Михееве. Ты уже не видишь его, он, как иногда говорят, пропал за поворотом — растаял в дачном июльском мареве. Весь обсыпанный летучими семенами одуванчиков, рискующий на каждом метре велосипедного пробега потерять летние открытки, писанные от нечего делать, он со своими старческими венозными руками мчится теперь навстречу мечтаемому. Он полон забот и волнений,

он почти выброшен за борт дачного бытия, и это ему не нравится. Бедняга Михеев,— думаешь ты,— скоро, скоро отойдут боли твои и сам ты станешь встречным металлическим ветром, горным одуванчиком, мячиком шестилетней девочки, педалью шоссейного велосипеда, обязательной воинской повинностью, алюминием аэродромов, пеплом лесных пожарищ, дымом станешь, дымом ритмичных пищевых и текстильных фабрик, скрипом виадуков, галькой морских побережий, светом дня и стручками колючих акаций. Или — дорогой станешь, частью дороги, камнем дороги, придорожным кустом, тенью на зимней дороге станешь, побегом бамбука станешь, вечным будешь. Счастливчик Михеев. Медведев?

По-моему, вы прекрасно рассказали о нашем почтальоне, дорогой автор, и неплохо описали утро получения письма, я ни за что не сумел бы так выпукло, вы очень талантливы, и я рад, что именно вы взяли на себя труд написать обо мне, о всех нас такую интересную повесть, право, не знаю, кто еще мог бы сделать это с таким успехом, спасибо. Ученик такой-то, мне чрезвычайно приятна ваша высокая оценка моей скромной работы, знаете, я последнее время немало стараюсь, пишу по нескольку часов в день, а в остальные часы — то есть когда не пишу — размышляю о том, как бы получше написать завтра, как бы написать так, чтобы понравилось всем будущим читателям, и в первую очередь, естественно, вам, героям книги: Савлу Петровичу, Вете Аркадьевне, Аркадию Аркадьевичу, вам, Нимфеям, вашим родителям, Михееву (Медведеву) и даже Перилло. Но боюсь, что ему, Николаю Горимировичу, не понравится: он все-таки, как писали в прежних романах, немного слишком устал и угрюм. Думаю, попадись ему только в руки моя книга, он позвонит вашему отцу — они с отцом, насколько мне известно, старые товарищи по батальону, служили вместе с самим Кузутовым — и скажет: знаете, мол, какой о нас с вами пасквиль состряпали? Нет, скажет прокурор, а какой? Антинаш, скажет директор. А кто автор? — поинтере-

суется прокурор,— дайте автора. Сочинитель такой-то,— доложит директор. И боюсь, после этого у меня будут большие неприятности, вплоть до самых неприятных, боюсь, меня сразу отправят туда, к доктору Заузе. Это верно, дорогой автор, наш отец служит как раз по этой части, по части неприятностей, но отчего вы обязательно хотите указать на титуле свое настоящее имя, почему бы вам не взять минодвесп? Тогда ведь вас днем с огнем не найдут. Вообще говоря, неплохая мысль, я, вероятно, так и сделаю, но тогда мне будет неудобно перед Савлом: смелый и несгибаемый, он сам никогда в жизни так бы не поступил. Рыцарь без страха и упрека, географ шел один против всех с открытым забралом, разгневанно. Он может подумать обо мне плохо, решит, пожалуй, что я никуда не гожусь — ни как поэт, ни как гражданин, а его мнение для меня крайне ценно. Ученик такой-то, посоветуйте, пожалуйста, как тут быть. Дорогой автор, мне кажется, что хоть Савла Петровича и нет с нами и он, по-видимому, уже ничего о вас не подумает, все-таки лучше поступить так, как поступил бы в подобном случае он сам, наш учитель: он бы не брал псевдонима. Понятно, благодарю вас, а теперь я хочу узнать ваше мнение относительно названия книги. Судя по всему, повествование наше близится к концу, и время решать, какое заглавие мы поставим на обложке. Дорогой автор, я назвал бы вашу книгу ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ; знаете, есть Школа игры на фортепьяно, Школа игры на барракуде, а у вас пусть будет ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ, тем более что книга не только про меня или про него, другого, а про всех нас, вместе взятых, учеников и учителей, не так ли? Да, здесь участвует несколько человек из вашей школы, но мне представляется, что если назвать ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ, то некоторые читатели удивятся: называется ШКОЛА, а рассказывается только о двух или трех учениках, а где же, мол, остальные, где все те юные характеры, удивительные в своем разнообразии, коими столь богаты наши сегодняшние школы! Не беспокойтесь, дорогой автор, передайте

своим читателям, да, прямо так и скажите, что ученик такой-то просил передать, что во всей школе, кроме них двоих, да еще, быть может, Розы Ветровой, нет абсолютно ничего интересного, никакого там удивительного разнообразия нет, все — жуткие дураки, скажите, что Нимфея сказал, что писать можно только о нем, потому что только о нем и следует писать, поскольку он настолько лучше и умнее остальных, что это сознает даже Перилло, так что, говоря о школе для дураков, достаточно рассказать об ученике таком-то — и все сразу станет ясно, так и передайте, да и вообще, почему вас заботит, кто там что скажет или подумает, ведь книга-то ваша, дорогой автор, вы вправе поступать с нами, героями и заголовками, как вам понравится, так что, как заметил Савл Петрович, когда мы спросили его насчет торта,— валяйте: ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ. Ладно, я согласен, но давайте все же на всякий случай заполним еще несколько страниц беседой о чем-нибудь школьном, поведайте читателям об уроке ботаники, например, ведь его ведет Вета Аркадьевна Акатова, по отношению к которой вы столь долго питаете свои чувства. Да, дорогой автор, я с удовольствием, мне так приятно, я полагаю, что все скоро окончательно решится, наши взаимоотношения все более определяются, все резче и резче, словно это не отношения, но лодка, идущая по затуманенной Лете ранним утром, когда туман все рассеивается, и лодка все ближе, да, давайте напишем еще несколько страниц о моей Вете, но я, как это нередко бывает, я не понимаю, с чего начать, какими словами, подскажите. Ученик такой-то, мне кажется, лучше всего начать словами: и вот.

И вот она входила. Она входила в биологический кабинет, где стояли по углам два скелета. Один был искусственный, а другой — настоящий. Администрация школы купила их в специализированном магазине СКЕЛЕТЫ, в центре нашего города, причем настоящие там стоят гораздо дороже искусственных — и это понятно, и с таким положением лещей трудно не со-

гласиться. Однажды, проходя вместе с нашей доброй любимой матерью мимо СКЕЛЕТОВ — было это вскоре после смерти Савла Петровича,— мы увидели его стоящим у витрины, где расставлены были образцы товаров и висело: здесь производится прием скелетов у населения. Ты помнишь, надвигалась осень, вся улица куталась в длинные мушкетерские плащи, и ее разбрызгивали своими колесами и копытами прозябшие, утратившие торжественность пролетки и фаэтоны, и все только и говорили что о погоде, сожалея об утраченном лете. А Савл Петрович — небрито и худощаво — стоял у витрины в одной ковбойке и в парусиновых, подвернутых до колен брюках, и единственное, что выступало в его облике в пользу осени — были мокроступы на босу ногу. Мама увидела преподавателя и всплеснула руками в черных нитяных перчатках: батюшки, Павел Петрович, что вы здесь делаете в такую нехорошую пору, на вас лица нет, на вас только рубашка и брюки, вы же схватите воспаление легких, где ваш выходной теплый костюм и ковер-котовое пальто, которое мы подарили вам на прощанье; а шапка, мы так долго выбирали ее все вместе, всем родительским комитетом! Ах, мамаша,— отвечал Савл, улыбаясь,— не беспокойтесь вы, ради аллаха, со мной все обойдется, лучше поберегите сына, у него вон уже сопли побежали, а насчет той одежды я так скажу: черт с ней, ну ее, не могу, задыхаюсь, там трет, там жмет и давит, понимаете? Чужое это все было, нетрудовое, не на мои куплено — вот и продал. Осторожнее,— Норвегов взял маму под руку,— вас забрызгает омнибус, отойдите от края. А почему,— спросила она, стараясь побыстрее освободиться от его прикосновения, и это было слишком заметно,— почему вы здесь, возле такого странного магазина? Я только что продал свой скелет,— сказал учитель,— я продал его в рассрочку, завещая. Передайте Перилло, пусть берет машину и приезжает, я завещал скелет нашей школе. Но зачем,— удивилась мама,— неужели вам это не дорого? Дорого, мамаша, дорого, но приходится как-то

зарабатывать на хлеб насущный: хочешь жить — умей вертеться, не так ли? Вы же знаете — в школе я больше не числюсь, а одними частными уроками пробавляться — так недолго и ноги протянуть: подумайте, много ли в теперешних школах неуспевающих по моему предмету? Ну да, ну да,— сказала мама,— ну да. И больше мама ничего не сказала, мы повернулись и пошли. До свидания, Савл Петрович! Когда мы станем такими, как вы, то есть когда нас не станет, мы тоже завещаем наши скелеты нашей любимой школе, и тогда целые поколения дураков — отличники, хорошисты, двоечники — будут изучать строение человеческого костяка по нашим нетленным остовам. Дорогой Савл Петрович, это ли не кратчайший путь в бессмертие, о котором мы все столь лихорадочно мыслим, оказываясь наедине с честолюбием! Когда она входила, мы вставали и загораживали собой скелеты и она не могла их видеть, а когда мы садились, скелеты продолжали стоять и она снова видела их. Верно, они стояли всегда — на черных металлических треногах. Признайся, ты немного любил их, особенно тот, настоящий. А я и не скрываю, я действительно любил и до сих пор, спустя много лет, люблю их за то, что они как-то сами по себе, они независимы и спокойны в любых ситуациях, особенно тот, в левом углу, кого мы называли Савлом. Послушай, а почему ты произнес только что какие-то непонятные слова: до сих пор, спустя много лет,— что ты хочешь этим сказать, я не понимаю, мы что — разве не учимся больше в школе, не занимаемся ботаникой, не бегаем укрепляющих кроссов, не носим в мешочках белые полутапочки, не пишем объяснительных записок о потерянном доверии? Пожалуй, что нет, пожалуй, не пишем, не бегаем и не учимся, нас давно нет в школе, мы то ли окончили ее с отличием, то ли нас выгнали за неуспеваемость — теперь не вспомню. Хорошо, но чем же мы занимались с тобой все эти годы после школы? Мы работали. Вот как, а где, кем? О, в самых разных местах. Первое время мы служили в прокуратуре у отца, он взял нас к себе на должность

точильщиков карандашей, и мы побывали на многих судебных заседаниях. В те дни наш отец возбудил дело против покойного Норвегова. А в чем дело, неужели учитель сделал что-то не так? Да, несмотря на новый закон о флюгерах, предписывающий уничтожение таковых, имеющихся на крышах и во дворах частных домов, Савл не убрал свой флюгер, и наш отец потребовал у судей и присяжных самой суровой статьи для географа. Его судили заочно и приговорили к высшей мере наказания. Черт возьми, но отчего никто не заступился за него? О деле Норвегова кое-где узнали, прошли демонстрации, но приговор остался в силе. Затем мы работали дворниками в Министерстве тревог, и один из министров нередко вызывал нас к себе, чтобы за чашкой чая проконсультироваться относительно погоды. Нас уважали, и мы были на хорошем счету и считались ценными сотрудниками, ибо ни у кого в Министерстве не было таких встревоженных лиц, как у нас. Нас уже собирались повысить, перевести в лифтеры, но тут мы подали заявление по-щучьему и по рекомендации доктора Заузе поступили в мастерскую Леонардо. Мы были учениками в его мастерской во рву Миланской крепости. Мы были лишь скромными учениками, но сколь многим этот прославленный художник обязан нам, ученикам таким-то! Мы помогали ему наблюдать летание на четырех крыльях, месили глину, возили мрамор, строили метательные снаряды, но главным образом — клеили картонные коробочки и разгадывали ребусы. А однажды он попросил нас: юноша, я работаю сейчас над одним женским портретом и написал уже все, кроме лица; я теряюсь, я стар, фантазия начинает отказывать мне в своих проявлениях, посоветуйте, каким, по-вашему, должно быть это лицо. И мы сказали: это должно быть лицо Веты Аркадьевны Акатовой, нашей любимой учительницы, когда она входит в класс на очередной урок. Это идея, сказал старый мастер, так опишите мне ее лицо, опишите, я хочу видеть этого человека. И мы описали. Вскоре мы взяли у Леонардо расчет: надоело, вечно приходится тереть краски,

и руки ничем не отмоешь. Потом мы работали контролерами, кондукторами, сцепщиками, ревизорами железнодорожных почтовых отделений, санитарами, экскаваторщиками, стекольщиками, ночными сторожами, перевозчиками на реке, аптекарями, плотниками в пустыне, откатчиками, истопниками, зачинщиками, вернее — заточниками, а точнее — точильщиками карандашей. Мы работали там и тут, здесь и там — повсюду, где была возможность наложить, то есть приложить, руки. И куда бы мы ни пришли, о нас говорили: смотрите, вот они — Те Кто Пришли. Жадные до знаний, смелые правдолюбцы, наследники Савла, его принципов и высказываний, мы гордились друг другом. Жизнь наша была все эти годы необычайно интересной и полной, но во всех переплетах ее мы не забывали нашу специальную школу, наших учителей, особенно Вету Аркадьевну. Мы обычно представляли ее себе в тот момент, когда она входит в класс, а мы стоим, смотрим на нее, и все, что мы знали о чем-либо до сих пор, все это становится совершенно ненужным, глупым, лишенным смысла — и в мгновение отлетает подобно шелухе, кожуре или птице. А почему бы тебе не рассказать, как именно она выглядела, когда входила, почему бы не дать, как говорит Водокачка, портретную характеристику? Нет-нет, невозможно, бесполезно, это лишь загромоздит нашу беседу, мы запутаемся в определениях и тонкостях. Но ты только что вспоминал о просьбе Леонардо. Тогда, у него в мастерской, мы, кажется, сумели описать Вету. Сумели, но описание наше было лаконичным, ибо и тогда мы не могли сказать больше того, что сказали: дорогой Леонардо, представьте себе женщину, она столь прекрасна, что когда вы вглядываетесь в черты ее, то не можете сказать нет радостным слезам своим. И,— спасибо, юноша, спасибо,— отвечал художник,— этого достаточно, я уже вижу этого человека. Хорошо, но в таком случае опиши хотя бы кабинет биологии и нас, тех, кто сначала стоял, а затем сидел, расскажи коротко об одноклассниках, присутствовавших на уроке.

*

Чучела птиц были там, аквариумы, террариумы там были, портрет ученого Павлова на велосипедной прогулке в возрасте девяноста лет висел, зависая, горшки и ящики с травами и цветами стояли на подоконниках, в том числе были растения очень дальние и давние, откуда-то из мелового периода. Кроме того — коллекция бабочек и гербарий, собранные усилиями поколений. И мы там были, потерянные в кущах, пущах и зарослях, среди микроскопов, опадающих листьев и раскрашенных муляжей человеческих и не человеческих внутренностей — и мы учились. Пожалуйста, дай перечисление кораблей речного реестра, а точнее — расскажи теперь о нас, сидящих. Сейчас я не помню большинства фамилий, но я помню, что среди нас был, например, мальчик, который на спор мог съесть несколько мух подряд, была девочка, которая вдруг вставала и догола раздевалась, потому что думала, что у нее красивая фигура,— догола. Был мальчик, подолгу державший руку в кармане, и он не мог поступать иначе, потому что был слабовольный. Была девочка, которая писала письма самой себе и сама себе отвечала. Был мальчик с очень маленькими руками. И была девочка с очень большими глазами, с длинной черной косой и длинными ресницами, она училась на одни пятерки, но она умерла примерно в седьмом классе, вскоре после Норвегова, к которому она питала счастливое и мучительное чувство, а он, наш Савл Петрович, тоже любил ее. Они любили друг друга у него на даче, на берегах восхитительной Леты, и здесь, в школе, на списанных физкультурных матах, на этажах черной лестницы, под стук методичного перилловского маятника. И, возможно, именно эту девочку мы с учителем Савлом называли Розой Ветровой. Да, возможно, а возможно, что такой девочки никогда не было и мы придумали ее сами, как и все остальное на свете. Вот почему, когда твоя терпеливая мать спрашивает тебя: а девочка, она действительно умерла? — то: не знаю, про девочку я ничего не знаю,— должен ответить ты. И вот она входила, наша любимая Вета Аркадьевна.

Поднявшись на кафедру, она открывала журнал и кого-нибудь вызывала: ученик такой-то, расскажите о рододендронах. Тот начинал что-то говорить, говорить, но что бы он ни рассказывал и что бы ни рассказывали о рододендронах другие люди и научные ботанические книги, никто никогда не говорил о рододендронах самого главного — вы слышите меня, Вета Аркадьевна? — самого главного: что они, рододендроны, всякую минуту растущие где-то в альпийских лугах, намного счастливее нас, ибо не знают ни любви, ни ненависти, ни тапочной системы имени Перилло, и даже не умирают, так как вся природа, исключая человека, представляет собою одно неумирающее, неистребимое целое. Если где-то в лесу погибает от старости одно дерево, оно, прежде чем умереть, отдает на ветер столько семян, и столько новых деревьев вырастает вокруг на земле, близко и далеко, что старому дереву, особенно рододендрону,— а ведь рододендрон, Вета Аркадьевна, это, наверное, огромное дерево с листьями величиной с небольшой таз,— умирать не обидно. И дереву безразлично, оно растет там, на серебристом холме, или новое, выросшее из его семени. Нет, дереву не обидно. И траве, и собаке, и дождю. Только человеку, обремененному эгоистической жалостью к самому себе, умирать обидно и горько. Помните, даже Савл, отдавший всего себя науке и ее ученикам, сказал, умерев: умер, просто зло берет.

Ученик такой-то, позвольте мне, автору, снова прервать ваше повествование. Дело в том, что книгу пора заканчивать: у меня вышла бумага. Правда, если вы собираетесь добавить сюда еще две-три истории из своей жизни, то я сбегаю в магазин и куплю сразу несколько пачек. С удовольствием, дорогой автор, я хотел бы, но вы все равно не поверите. Я мог бы рассказать о нашей с Ветой Аркадьевной свадьбе, о нашем большом с ней счастье, а также о том, что случилось в нашем дачном поселке в один из дней, когда Насылающий взялся наконец за работу: в тот день река вышла из

берегов, затопила все дачи и унесла все лодки. Ученик такой-то, это весьма интересно и представляется вполне достоверным, так что давайте вместе с вами отправимся за бумагой, и вы по дороге расскажете все по порядку и подробно. Давайте,— говорит Нимфея. Весело болтая и пересчитывая карманную мелочь, хлопая друг друга по плечу и насвистывая дурацкие песенки, мы выходим на тысяченогую улицу и чудесным образом превращаемся в прохожих.

МЕЖДУ СОБАКОЙ И ВОЛКОМ

Приятелям по рассеянью

Люблю я дружеские враки
И дружеский бокал вина
Порою той, что названа
Пора меж волка и собаки.

Пушкин

Молодой человек был охотник.

Пастернак

1. ЗАИТИЛЬЩИНА

Месяц ясен, за числами не уследишь, год нынешний. Гражданину Сидор Фомичу Пожилых с уважением Зынзырэлы Ильи Петрикеича Заитильщина. Разрешите уже, приступаю. Гражданин Пожилых. Я, хоть Вы меня, вероятно, и не признáете, гражданин, то же самое, пожилой и для данных мест сравнительно посторонний, но поскольку точильщик, постольку точу ножи-ножницы, и с панталыку меня вряд ли, пожалуй, сбить, пусть я с первого взгляда и совершенный культяп. Точу и косы, и топоры, и другой хозтовар, но такие подробности только усугубили бы речь. По реченной причине опускаю и события отзвонивших-и-с-колокольни-долой лет, лишь настаиваю, что до сего дня вплоть в судимые не попал, даром что обитал в значительных городах. Куковал где поселят и запросто, за сéмью по-настоящему не болел, а зарабатывал, прося у публики вспомоществовать по мере сил и возможностей. В чем и раскаиваюсь, избрав для этого артель индивидов имени Д. Заточника. Вы меня извините, конечно, а контора самостоятельная и прейскурант имеется налицо. В теплоту — все те же ножи: ходим вокруг да около и отходим в отхожие промысла. Наоборот, в морозы обслуживаем население по точке и клепке, поелику с ноября по апрель, ежедневно, без выходных, бобылье и уроды наподобие Вашенского корреспондента звенят и крутятся на зеркале вод, а как смеркнется — так Вы приветствуете их в трехэтажной тошниловке, прозванной с чьей-то заезжей руки кубарэ; но Илью среди них не обрящете. Вам взгрустнется: что он за мымра такой, почему не сообразит себе пару точеных, как у людей,

неужель презирает пошаркать на острых по гладкому, ужели гребует кружечкой полезно-общественного пивка? Заблуждение, от свойственного ни в чем да не отрекусь, и не из тех я точильщиков, которые не востры суть. Пара, правда, нам ни к чему, но один снегурок на блезире всегда висит. Что мне за важность, что очутился, к сожалению, ущерблен, ежели по натуре кремнист: полюбил раскатиться — и не уймешь, было б чем отпихнуться — дзынь разá, гражданин Пожилых, дзынь разá, и подъелдыкивай, брюзжи себе под дугою хоть до Валдай-пристани — литье бубенчиков, печенье баранок, отпуск пеньки — и никто тебе по Итилю не указ. Разрешите продлить? А вот именно и оно, что отпихнуться в последнее время нечем как есть. Декабря в четвертый четверг, читай в Канун, шел я из-за реки, выдвигаясь от некоторого вряд ли Вам знакомого погребальщика. Провожали одного одинокого, отбросившего коньки через собственный горделивый азарт. Жил он в Мыло, можно сказать, Мукомолове, но на отшибе, в ужовниках с примесью ветляка, был охотник, держал неизменно бормотов, довольно-таки мохноногих, да сомневаюсь, чтоб состоял в переписке с кем-либо: сомнительно. Сам, однако, сновал сухощавый, как то мочало в жары, а звали его — я не припомню как. Гурий — так и звали его, если на то пошло. Из развлечений означенного Гурия укажу на следующее: вот кто обожал пошаркать и раскатиться по гладкому на точеных, которые и стали причиной того, что мы клиента утратили, а погребальщики клиента же обрели. Рядом с этим поставлю в известность. В стрелецкие числа, чтобы опасней, зато бодрей, бобыли обоих мелкоплесовских берегов обустраивают состязания на слабеющем льду. Происходит в кромешной темени, предумышленно без небесных светил, и народ фигуряет кто мудреней и суетится в горелки и взапуски, не зря промоин и трещин. Что чревовато. Прикурить насчет покрутиться всем давал такой Николай, парень из утильной, в конечном итоге, артели. По фамильярному прозванью Угодник, выступал он пó миру как искренний незадачник, и отдельные шутники из завистников ехидствовали над ним, говоря, что

затейливо столь выдрючивается оттого, что притерся мыкаться по темным углам, ему, мол, в обычину. Хроника его невезухи, если не возражаете, какова? Он, во-первых, изведал семейную матату, но супруга поладила с волкобоем и сжила Угодника долой со двора, во-вторых. И тогда постучался в городнищенский приют для неслышащих, но последние дали от ворот поворот: учрежденье у нас лишь для глухарей, а ты, как видишь, еще и слепак, так что сам понимаешь. Потому этот малый посунулся в незрячий приют: ничего подобного, переполнен лимит койко-мест, то ли случай, когда б фисгармоника собственная была, ошивался б по дебаркадерам и выручку знай сдавал бы в общий котел, и мы бы тебя за это держали. Николай Угодников, он восстал перед ними во весь свой скрюченный рост и, сердито плача горючими бельмами, закричал: стручки вы заморские, да случись у меня мусики́я своя — разве спрашивал бы я у вас, как же быть. И следующим этапом явился-не запылился в дом заезжих бездомных, но те вошли в его шкуру любезно, плеснув от души. И соблазняли: живи-ка, брат, вечно. А наведалась к кому-то из них эта дама и замечает Угодника среди прочих убогих, в кругу их: что это там у вас между вами невзрачный какой на катке? Не беспокойся, это просто Николка у нас между нами катается себе на катке. Вероятно, не так уж худо его обстоятельство, говорит, если он лихо так оборачивается. Нет, сказали, оно у него не ахти, табак его обстоятельство, только и остается утех, что мысле́те выделывать. Дама же: нет уж, вы уж лучше не позволяйте ему здесь чудить, ну его, неказистого. И богаделы просили Угодника: сделай нам одолжение, не живи-ка, брат, вечно, а то нарекания. Ничего не ответил, ведь слыл ко всему и немым, и он отправился из заведения вдаль и даже не обернулся. И его пригрела артель по сбору всевозможного утиля. Известили, что излишней выслугой лет у них не блеснул, но что по-пьяному маленько погорячился и куда-то такое пропал, да и вряд ли, пожалуй, объявится. Такова, если не возражаете, эта хроника. Возникает: точил ли я ему неточеные? А оказывается, только

я один из всего коллектива ему и точил, а остальные сотрудники, брезгуя, воротили нос, несмотря что и сами пачули не первой свежести. Точил я и Гурию, и Крылобылу, и Зимарь-Человеку точил, я всему Итилю, понимаете ли, точил. А вот Гурий-Охотник, он по беговой части карьеру жал. Хлебом, бывало, его не корми — дай разлететься по скользкому. Разлетится он в артельную мастерскую некоторый раз, перепадет, словно бы долгожданный в засуху дождь, забежит, подустал, и что нам прикажете делать — мы сбрасываемся по рублю. И считаться. Вышел Гурий из тумана, вынул ножик из кармана, стану я тот нож точить, а тебе — вина тащить. Если мне — я с печалью, но я готов. Раз хотел уже приторочить к чеботу снегурок, но в это мгновение замечаю, что скучает по рашпилю. Хвать — а рашпиль запропастился совсем, либо коллеги его заиграли. Гурий задумался благородно и говорит: что ты ищешь, скажи. Я сказал. Он сказал им: эй вы, механики, верните стру́мент, кто заиграл, корешок обыскался а то. Но артель отвечала: отзынь, на́ болт нам долбаный рашпиль его. И еще: что он, на рашпиле, что ли, в Сло́боду попылит? Да и Вы, наверно, засомневаетесь, разумно ли, базируясь под боком у кубарэ, в Слободу семь верст киселя хлебать — на рашпиле там или на дурашпиле. Не сомневайтесь, ибо ведь жертва жребия спешит не пустой, он таранит в торбе на мощном горбу стеклотару, купно собранную при долинах и взгорьях. И — Вы, может, еще совершенно не в курсе — стремлюсь предуведомить. В кубарэ из какой-то ложной гордыни посуду не принимают во вниманье отнюдь и на вынос торгуют с большими скандалами, чем с человеческой точки зрения дают коммерческий мах. И другая картина рисуется в забегаловке на протоке, за грядой кудреватых, но с виду незначительных островов. Там твое заберут по справедливой цене, без капризов, а оплаченное имеешь право употребить как в помещении, так и вне. И Гурий точильщикам напрямик: а хотя б и на рашпиле. И затем он же им же: Илие, вероятно, на рашпиле не с руки, ну, а я бы, разумеется, очаровательно б смог. Они его тогда — ну подначивать, гражданин

Пожилых. Верим-верим, ты у нас марафонить известный мастак, вон мослы-то себе отрастил — первый сорт, и сухие и долгие, нам ли с нашими бестолковыми моськами в калашный ряд, а тем паче Илье-Безобразнику. Не сокрою, случаются фотокарточки хуже, но реже. Так, докладывал егерь Манул, ходивший по щепетильным нуждам в Иные Места, что встречал там страшилищей и почище. Значит не все потеряно, дорогой, и покуда держу я кой-как клепало и брус, к бесталанным себя не причислю и отчаянья в Илье не ищи. Обнаруживаю я рашпиль, заусенец смахнул, и выдвигаюсь, груженый, нá реку. Я беру направление наискосяк, под градусом, и поелику тонок лед, вся она подо мной, как открытая. Достигаю протоки. По ней, в затишке поддав, заруливаю под самую Слободу. Тары-бары я там особенно не рассусоливаю, недосуг. Совершаю законную куплю-продажу, разворачиваюсь и дую домой, а сумерки так и вьются над глупой моей башкой, и Даниилы мои издали освещают мне ледяной путь мой коптилкою штормовой, чтобы не проскочил я, паче чаяния, мимо цехов. Приняли мы тогда. Нас ты, горемык, обойдешь как стоячих, артель подначивала, с тобою, Гурий, гоняться мы пасы. Так, механики, так, я меж всеми тут есть настоящий сухой бегун. Поглядите, он им сказал, поглядите во все наши дали заиндевелые, нет эдакого, которого бы я не обшаркал — где юноша сей? Воскурили, заспорили и вышли на холод перекурить. Стали мы на пригорке; за нами град деревянен, велик, там мужик брандахлыстничает вовсю, а внизу, перед нами, плес — как на ладошке застыл. Оглянитесь, Гурий мастерам заявил, там, на правой руке, будет у нас селение Малокулебяково. Ну и кто же у нас там живет? Мало ли в Кулебякове кто живет, артельщики сказали уклончиво. Например, существует там известный мельник-толстяк, которого земля едва носит, не то, что лед, а на мельнице у мельника чурка есть, Алладин, но с ним, понимаем, гоняться тебе не в честь. И находится в Кулебякове егерь еще, который, по слухам, в сухой колодец упал. Он кричит, а его не слышно, а супруга его знает, где он, но безынтересно ей его доставать, потому

что с соседом фигли-мигли у ней — тоже с егерем, но молодей: задурил-таки тот ей голову. Словом, заняты тут егеря, не до гонок. А больше в селе и нет никого. А во Плосках из более или менее бегунов обретается юноша Николай, у которого имени собственного не было никогда, верней было, но слишком давно. И когда Николаю Угоднику вышло преображение и он улетел, этот имя его себе урвал — не дал, называется, добру пропасть. Гурий же: а то, что он рыбку потаскивает — и вообще не беда, и зря на него рыбари обижаются и желали бы погубить. Подумаешь — рыб человек у людей немножко крадет, выискали тоже зацепку человека снедать. Так, Гурий, так, твари на воле, в тенетах ли — равно ничьи, а если и чьи — то известно Чьи, но тогда все ловцы здесь, выходит, сильнеющие браконьеры перед лицом Его. И напрасно, напрасно они Николу порешили некогда. Вот он, кстати сказать, улов их как раз из вентерей их подледных за островами берет. Завязал мешок — на салазки — и потянул. Знобко ему, очи ему дальновидные метель нажгла, валенки прохудились, варежки потерял, коньки не точеные, а Волколис приставучий — он тут как тут. Кинь рыбешку, Николаю грозит, кинь вторую, а то темноту на Итиль напущу. Николая Плосковского ночь пуще смерти страшит, и он тройку осетров Волколису беспрекословно кидает в лес. Ибо ведь в Городнище дотемна не поспеть — средств за товар не выручить, средств за товар не выручить — в кубарэ не зайти, в кубарэ не зайти — со товарищи не гулять, а со товарищи не гулять — так зачем тогда лямку тянуть, гражданин Пожилых, сами судите. И пока те деятели с дрекольем веским Николая у околицы ждут, он с полмешком осетров серебристых и зеленых склизких линей приближается ходом к пригородам. Мол, поклон тебе, лубяной веселеющий град, исполать вам, высокие расписные тараканьи терема. Приюти, говорит, град, на грядущую ночь убиенного недругами невезучего рыбаря, закупи у него товар, дай деньжат небольших, чтоб в кармане позвякивало, пусть разгладятся морщины у старика, пусть растопырит нетопырь-одиночка сморщенные

крылья свои. И не будь скупердяем, плесни, град, вздрок. А еще, говорит, познакомь ты меня, град, с бобылкой которой-нибудь поскуластей, поласковей. Снял коньки и пошел, пошел в гору Николай из Плосков, а навстречу ему неимущих чертова прорва поспешает, не торопясь: дай да дай нам от уловов твоих ради Христа, а не то хуже будет. Судари попрошаи, плесы у меня в мешке не мои, ибо все, что тут есть кругом, в том числе веретена рябых облаков, и река, и ладьи, что брюхатыми вдовами валяются, брошены, кверху пузами возле бань, а также лохмотья наши и мы сами, которые в них, — все это не мое и не ваше. Знаем-знаем, нищие, как чумовые смеясь, закивали тогда, значит, дай нам, тем не менее, нá душу по хвосту, дай нам рыб не твоих, тем более. Вижу, горемыкам Николай плачется на горе, вижу, что с панталыку вас вряд ли, пожалуй, сбить. И вручает каждому по линю. Деться некуда — нищих прорва, а он един. Человек одинокий в дороге его, особенно когда синька такая над Волчьей висит, он, позвольте признаться, на целом свете един. Николай дает им всякому по хвосту и вступает с остатком добычи в деревянный декабрьский град, и стучит стародавней клюкой в ворота гулких дворов, и клянет шавок гавких, мерзлые цепи грызущих. А мы стоим себе дальше на берегу; звезд над нами немного пока воссияло, но все-таки. И Гурий-Охотник, он заявляет безо всяких обиняков: с Николаем Плосковским, пусть я его и уважаю слегка, гонки гонять для себя не полагаю приличным, по мне он дряхл да и суетен — обшаркаю и смущу.

Но не пощелкивает ли, сказал кто-то вдруг, не мудрует ли там, во Плосках, этот Федор, на счетах-то. То есть Федор не Федор, а как бы Петр. А уж Егор-то — во всяком случае. Специальность за ним числилась счетовед, но и он, как впоследствии выяснилось, был вор хоть куда: вот бы с кем Гурию разбежаться. Понимаете ли, какая вещь? Когда эта дама явилась негаданно на косу, а они — большей частью окрестные сидни из егерей — там сидели весной, как всегда, наблюдая

гусиный лет, но об этом сидении мало кто из посторонних осведомлен, так как происходящее имеет место в купинах и сумраках и плывущему по воде сокровенно, и когда они сидят на косе и слегка принимают, к ним является дама, интересуясь: ну, что, нету ли среди вас, которого я ищу? Да как тебе сказать, пожимают плечьми, смотри сама, только просим заметить, что мы все хоть куда и готовы на все про все, лишь бы потрафить тебе, приворотнице наших мест. Она стала смотреть сама и потом объявила: которого я ищу, среди вас я не вижу, но замечаю иного, который бы мне на пока подошел. И посматривает на Петра. Лютый забрал счетоведа колотун, засветился бухгалтер, как если бы пламень ясный по жилам у него полыхнул. И промолвил, подымаясь и отряхиваясь впопыхах. Он промолвил, подымаясь с сырой земли, куда ему было уйти в скромном будущем: я — Егор из Плосков, и веди меня куда хочется. Увела его дама, счастливого, куда хочется, сидни же пили, закусывали и завидовали Петру. Дней через несколько возвращается на косу, и они обступили его и спрашивали. Что, Петра, сладенько выгорело тебе погулять? Сидни спрашивали Федора, чтобы узнать, сладко ли было с дамой ему. Он им почти ничего не высказал, но сказал им: мне было так, что лучше даже не спрашивайте. Ну, а все-таки, не отступали от Федора волкари, все-таки — слаще ли браги тебе побывать у нее обломилось? Не спрашивайте, Петр отвечал, даже намеками. Слаще ли, чем крамбамбули, время минувшее было тебе, они все-таки спрашивали. Что там крамбамбули, Федор, вскипев, изумил, слаще гнилухи валдайской все выгорело. Приняли они тогда по поводу возвращенья Петра, и он им с бухты-барахты признается в слезах, что возврата к зазнобе не мыслит, былое похерено, а поэтому не нужно ему ничего, ибо что ему лично нужно после всего, что меж ними было двумя, да и воспоминания рассеянья не сулят; память не в дебет, брат, в кредит. И это факт, уж в этом-то, дорогой Пожилых, положитесь-ка на меня, потерпевшего некогда крушение на скоростях. Не поперло тебе, Зынзырелла Илья, повело тебя, покоробило,

будто фанерный лист. Кантовались мы в загороде, ютились вольготным браком у Орины в норе, позабыв про печали с печатями. Не клянусь, что по-гладкому катилась наша приязнь, но подчеркиваю — сначала обходилось втерпеж. Невтерпеж покатилось, когда со стрелки, где сортировала курьерские, скорые и тому подобные, и где за недостатком дóсуга с шуры-мурами не особенно-то впротык, перебросили мою кралю в кирпичную башню, в диспетчера — вагоны с горки спускать. Не к добру ты мурлыкал, Илья, предвкушая ее надбавку за чистоту, пел Отраду, живет, говорил, в терему, насвистывал, не чая крутых перемен. Лишь затем ты допетрил, что, гонимая узловатою скукотой, сопрягнулась со сцепщиками, стакнулась со ремонтным хамьем, и что если и не было в башню хода кому — так только тебе, милок. А допетрив, первые сроки еще шутил: брось ты, Оря, мараться с ними по рвам, типа, не истинное это у них, непутевые ведь ребята, путейцы-то. Так шутил, находя в себе смутные силы, пусть и не было мочи порой. Отбояривалась, ядреная, наливная, гребнем расчесываясь на заре: откуда знаешь, путевые или нет. Я же покуда в койке лежал и чадил, не желая подняться — к чему, мне некуда больно спешить. Отбояривалась, а пробы уже негде ставить на ней, и гребень — однажды я пригляделся — не тот, я который на Воздвиженье презентовал. Скопидомничал, унижался по дальним дворам, дабы приобрести, отказывал в необходимом себе листобой напролет, а пригляделся однажды — другой. Я задумался. Прахом скукожилась наша приязнь, отвалить бы в бега — ни мешка, ни сумы, ни обуви. Но не здóрово могуч, привязчивый: вместо этого вызнавал, уговаривал. Что это, Орюшка, за гребень особенный такой у тебя? Гребень как гребень, сквозь зубы, шпильки-заколки зажав в зубах. Хм, а мой-то, даренный мною тебе, бережешь неужели же? Как же, как же, в музей снесла, ловко она осаживала меня своим языком. На путях, лукавит, утратила гребень тот, и вся недолга. Никнул я, словно флажками ошарашенный зверь, вызнавал, ударяясь в сомнения: хм, а этот-то, в таком разе, с какого пятерика у тебя, подарил разве

кто? А заря, замечаю вскользь, занимается и в окне, и в зеркале, отдавая в первостатейную переливчатую лазурь, и Орина, она прямо купается там, гибучая, плещется, точно в обетованном нами пруду черт-те знает которого лета, в июле примерно месяце. Между нами до близостей еще не дошло в те дни, все мудрила, отсрочивала — потом да потом, и я ждал и терпел, обнадеженный. И плавало, набухая водою, две кабельных катушки пустых, как и во многом другом водоеме. Сбросила с себя все материи на ракитов куст и выступает на край вне зазрения. Ну и что же, а мне с башмачным шнуром заколдобило, захлестнулась продернутая тесьма. Перервать бы — шалишь, категория попалась упористая. Словом, зубами я перетер; пока не выбыло. И стояла Орина в одном лишь грошовом бисере, а цены ей самой-то не было, днем с огнем таких бы искать. Не учел, сколько разных перепало мне до нее, но случайными радостями до искалеченья не был я обделен ничуть. Да те радости, право, — и смех и грех, все с ужимками, все колготя́тся, норовят дашь на дашь, продешевить опасаясь, будто я им, шикарам, действительно мог чего-нибудь предложить взамен, дурень стрюцкий. И главное, когда угомонишь, наконец, то и тогда как-то все сикось-накось, скулемано, не вполне, да и нередко без настоящих удобств. А насчет показать себя уделить — никогда, ни за какие коврижки: миндальничают. Орину же осознал я вдруг во всей простоте, ну и восхитился, конечно же. Я не вытерпел и дал про это понять, спев куплет из одной распрекрасной арии. Идут тебе, дескать, любые цвета, но лучшее платье твое — нагота. Лучше б, однако, поменьше я перепелом бы влюбленным бил, а побольше бы дальше глядел; может, и углядел бы, кроме насущного узла на тесьме, узел грядый и другого немножечко сорта — где сортируют товарняки, узел, значит, чугунки, с различными его семафорами и хитрыми штучками-дрючками вроде смазчиских крючьев и смазчиков самих по себе, ловко без мыла лезущих куда не след. Тот-то узел мне — благо сполохи полыхали — развязать повезло, а с сортировочным — пусть там все ночи полные огня —

грянула неразбериха, непостижимая никакому уму. Но пока, повторяю, стояла Орина бела да ясна, словно шашка в сияньи месяца. Если честно, то в целом терпелось, но мне не терпелось, я помню, скорее узнать, что там было у нее да с кем, да когда, то есть выведать ее подноготную. Недостаточно тебе, блудливый Илья, просто женщину охмурить и принудить, ты ведь, как паук неуемный, вытягиваешь из нее по капле признаний настой, силу жалости в нем беря, чтобы вновь приступить и принудить. Постояла Орина над самым прудом и вошла, и я, разоблачившись, нырнул. Я нырнул глубоко, разомкнув мои вежды; смотрю — обливная глазурь. Глазом мира был этот пруд с катушками, опалом шлифованным в оправе глин синих, купин ивы и тин длинных был он. А караси-то где тут у нас, мне взбрело вдруг. Прищурился — дремали в ямах, в тени берегов, под корягами. А улитки, то бишь ракушки двустворчатые? Я люблю их. Скитаясь по долгу службы с одинокой гармоникой или с точильным ножным станком, странствуя в долине ненаглядной Итиль-реки, задрипан и собственному сердцу обрыдл, я последних едал без меры. Да хороши ли на вкус? Видите ли, за похвалою не постою: объядение. В местности глухой, где спасается древнеющий люд-глухарь, которому вся твоя филармония вне надобности; или в области тупой, где никто ничего не сечет, не режет, не рубит из-за лени повальной; в местности тупой и в области глухой к исходу напрасно изжитого света, когда людям играл, а они не вняли, иль домогался, поточить ли не требуется то да се, дабы иметь на пропитание с них, но не вынесли ни малой даже иглы, разузнай у старого коромысла дорогу к воде и канай, пустобрюхий, к ней в гости, что к теще на званый борщ. Ты хромай большаками на единосущной ноге, ковыляй заливными лузями, осененный блестким узорочьем. Что такое, что это, словно бы засветилось там тускловато так, словно бы тля блудящая на кладбище Быдогощ? Что засквозило в чапыжниках серебром наподобие как бы того, как сквозит алюминиевый котелок твой недраенный в прорехах нештопаной сумы твоей? Что это там полыхнуло

кубовым холодным огнем, будто бы из-под купецкой полы на базаре сосуд гусь-хрустальный с сиволдаем бесценным в очи твои суховатые полыхнул? Что это там развевается впереди сарафанной рюшью, плещется тещиным языком? Что да что, ишь — чевокалка какой выискался, беда мне с тобой. Волчья река это, паря, твоя родня. Ты скажи ей: ау, старша́я, напои меня, огорченного, текучей собой, накорми перехожего своими ракушками, мне их побольше дай, они приятны на вкус. Их предоставь лишь, а соль и спички имею с собой всегда, ну и спать, разумеется, уложи вдоль течения, камышек под затылок помягче сунь. И она говорит: для тебя мне, Илюша из Городнищ, ничего, если разобраться, не жаль; например, воды — хоть залейся; и такое же положение с ракушками — кушай и не считай. А камышек — хочешь под голову, хочешь — на шею дам, отдыхай тогда на здоровье хоть до Страшнеющего Суда.

2. ЛОВЧАЯ ПОВЕСТЬ

Жить; знать цену глубоким галошам в пору разлива глубоких и мелких рек. Быть; мусолить жирно-зеленый лист. Жить, быть и видеть, как по канавам жухнет лопух. Жить-быть; по мере змеенья зимы меняться оттенкам ее слюдяных чешуйчатых крыльев. Жить-быть — пускай переливаются перламутрово: любая сосулька, любое перепело́. Марии — трубить в пастуший рожок на железной дороге, а той — торопиться на север в пятнадцати минутах спокойной ходьбы на закат. Ходьбы по аллее, восставленной перпендикуляром к насыпи — на восход. На югосклоне ж, над городом, вследствие значительных дымочадных, коверкающих горизонт, работ всегда иметься в наличии выбору вяленых и копченых туч. Рисовать отдаленные силуэты сотрудников почт — почтальонов, охваченные отчаянием и листопадом. Людям твоим — блуждать в парке твоем, а ненастьям твоим наступать, леденя их и раздувая

полы их комиссионных крылаток. Марии — служить в высокой кирпичной башне, у самой границы станции. Служить, и голосу рожка ее, смазанному акварельным ветром, смазанному, словно звезда близорукого без очков, словно близорукая, без очков, звезда, — заведовать суетливой юркостью сцепщиков, тревогами стрелочниц, равнодушием машинистов. То были сначала фиксатые сцепщики, но позже, когда ее назначили главной в башне, их постепенно вытеснили степенные машинисты. Приходить ветерану дальнего следования, полушепотом, шепеляво жалующемуся на прохудившийся тендер, на расшатавшиеся шатуны, на дальность маршрутов следования. Деревьям, напялившим драные фраки сумерек — качаться, махать руками в подражание дирижерам, пугалам и людям от ветряков — мукомолам. Метель, о ком многие думали еще через *я*, тогда как особым указом его давно передали Зайцу, на кого и безухое, оно столь походило, а не свойственное и не нужное Зайцу *е* передали метели, — она расходилась, разыгрывалась, делаясь неугомонной и неумолимой. В бараках гуляли. Ах, как кружится голова, пела в комнатах предосудительно ветреная шансоньетка, и круглые фото ее, наклеенные на пластинки, вертелись, насаженные на патефонные кукиши. Рисовать по памяти дно оврага, поросшее папоротниками, дамбу, подпирающую хранилище питьевых вод, рисовать все хранилище, загроможденное реквизитом всевозможных регат в сезон арбузов и моросящих осадков в виде кружочков и палочек, и матроса-читателя, что по капризу художника пусть сидит, поставив торчком воротник бушлата, на каменистом откосе дамбы, курит трубку и читает синюю книжку — про море. Пейте и закусывайте. И сама пила и закусывала. Звали Марией. Машинист пил, закусывал, звал Мариной и пережевывал то же самое — дорожное, железное, скучное, переливая из Орехова в Зуево. Постоянно летели подшипники, горели буксы, сообщались показания манометра, и перед каждым мостом, перед каждым тоннелем неукоснительно захлопывалось поддувало и открывался сифон. Рисовать пассажирскую станцию: облупленный павильон

с конусовидной фальшивой башенкой, пивной ларек с чередою темных плащей и зеленых шляп, рисовать остатки монастырской стены, виадук и участок шоссе, и пруд у подножья высокой насыпи. У соседей наяривала тальянка, и венгерка ли, полька ли, то ли кадриль громила трухлявые перекрытия. Гвалту — вываливаться распаренно в отверстые фортки и тряпьем пастельных тонов — застиранным и дырявым — повисать на бельевых веревках, а после, сдутому ветром, разлетаться по парку стаями галок, ворон, рассаживаться по ветвям, гомозиться — несусветному, отчужденному, и выжимками тишины, ее сгустками, падать потом в аллеи. Поземке — сметать его останки в овраг, в синюю муть стремнины. Я люблю тебя, мой старый парк, перевернутая на другую сторону, совершенно заезженная и томная, признавалась артистка под лестницей, в усеченном чулане картонажного мастера, собиравшего к тому же фантики от конфет. Рисовать тяжелый, невнятный и неряшливый лик Марии и нередко вместо желаемого портрета неопытному рисовальщику — получать изображение как бы ее маски, и маска хотела проснуться, ожить, но мучительное летаргическое бессилие оказывалось сильнее вялых ее желаний — не просыпалась. Но видел, видел — по мясистым губам, по налитым оловянным векам скользили зарницы тайного. Станет явным заполночь, когда сквозь сон услышишь, как во дворе шепотом забредит дождь-машинист и вся земля, опьяненная, отравленная настоем осени Маша, горестно покорится ему, приемля его настырное мелкое семя. Позже человекообразной тени ее бродить по стене в поисках погремка спичек и папирос машиниста. Казбек или Казбич? Во всяком случае, если бы у него был табун в тысячу кобылиц, то отдал бы его весь за одного Азамата. Но если бы та девочка, что ходила с тем юнгой на ту поляну, куда матросы водят качать на качелях веселых подруг, если бы она согласилась пойти туда и с тобой, то и с тобой высоко на качелях она бы, наверное, подлетала, и взвизгивала бы высоко. Ты стоял в чернолесье, незримый. Был ни вечер, ни свет, а на хранилище еще — паруса, и тренеры на моторках

хрипели в рупоры приказы гребцам. Взвизгивала, словно чибисы в поле, когда идешь в полумраке через, расставив капканы на лис, дорожа настоящим, обещанным машинистом ружьем. Или когда юнга вел ее под руку к заброшенным стапелям, а чибисы летали, а стапеля загажены, а дожди и время не успевают смывать, и время от времени — то дохлая крыса, то палая жаба, то мертвый сорокопут. Марии — выть, выбегая на дамбу, зовя домой, а ветру-фонарщику — задуть в темноте и задуть окончательно окна бараков: око за оком, одно за одним. Волнам — взбодриться. Другому юнге, табакуру с молодых-юных лет, по-стариковски кряхтя седлом, жужжа динамомашиной и фарой светя, прокашлять мимо на двух колесах в сторону истечения увольнительных сроков. Мария шила. Шила Мария. Маша ушивала машинисту шинель. Машинист был рад. Он сидел на тахте и читал расписание движения поездов. Или график. Гроза приближалась. В зарослях трубчатых хрупких растений, чьи открытые переломы пахнут первыми заморозками, в зарослях у гнилого ручья квакши пророчили вселенский потоп. Там, в овраге, однажды — *ее* тетрадь: полуразмытое имя. Содержала страдания по русскому языку. В частности сообщалось, что папа купил Николаю коньки, что белка грызет орехи, что внучка молодая, а бабушка наоборот, что сестра играет на пианино, а брат на бала — но вместо балалайки до середины тетради тянулось сплошное, непрерывное балабала — болеро прыщеватой барачной жизни, подслушанное и записанное возлюбленной отрока с малокровным незваным челом художника, кому годы спустя на упреки особой комиссии, что им до сих пор не предложен ее вниманию удобоваримый отчет об охотах в облаву, точнее — об обстоятельствах, сопутствующих возвращению охоты с облав и, по сути, являющихся непременными атрибутами возвращения — ибо не обстоятельства ли определяют и обуславливают весь ход и облик явления, не ими ли живо оно, и что есть явление без сопутствующих обстоятельств, — на упреки комиссии возражать: не усматриваю действительных оснований, в силу коих мои впечатления о такой заурядице способны были бы реальным образом

стать полезными в работе инспекции, отчего и желал бы оставить их исключительно при себе. Впрочем, если вы так настаиваете — извольте. Мы возвращаемся в сумерках. Вы, полагаю, уже представлены, или, точнее, имеете представление об этом замечательном часе суток и бесповоротно очарованы им мне подобно, обнаруживая, таким образом, недюжинный вкус, превосходное чувство цвета и склонность к меланхолической созерцательности. Нас, как правило, несколько зверобоев и до дюжины своры. Декабрь. Чтобы не кидаться в глаза ротозеям и не снижать картины своею неловкой, все еще городскою, походкою, я стараюсь держаться в конце процессии, почему и не вижу ни лиц, ни морд; только чей-нибудь профиль мелькнет на миг. Серые шляпы охотников — вы, верно, знаете этот тяжелый и плотный, но и ворсистый фетр наших провинциальных фабрик, на котором, сбиваясь в комки, так изумительно цепко удерживается снег, все равно — он ли падает на головной убор, или убор — в сугроб; серые шляпы охотников нахлобучены низко, что называется по уши, и вот — не различишь и затылков. Один из нас, помимо обычных доспехов — кинжала, ягдташа, копья — обременен общим нашим трофеем: лис затравлен был еще на заре. Полюбуйтесь-ка, кстати, на наших ублюдков и выборзков. Пугающе длинные, гадкие, закрученные по-обезьяньи, будто филипповские кренделя, оставляют ли их хвосты хоть призрачную надежду на благородство кровей. Что утаивать — жалок экстерьер моих гончаков: кожа да кости, и шерсть совершенно свалялась. Впрочем, есть одна пухловатая, рахитичная, с безобразно коротким щипцом — кикимора под стать тому поросенку, которого какие-то простолюдины палят над костром перед входом в таверну, куда, уверив, что вскорости нас догонят, наведались переждать очень сильный порыв лобового ветра некоторые стрелки. Стоит ли говорить о том, что теперь мы находимся на перевале большого холма, обреченного, как и вся местность, рождественскому свежему снегу, и наши фигуры недурно контрастируют с этим фоном. Оставив таверну слева, мы почти миновали ее и начинаем спускаться в долину. Перед нами — давно знакомая панорама.

Это — долина реки и город в этой долине при этой реке, и пруды, и скалы вдали, и небо надо всем перечисленным. Это наш край, мы живем здесь, и если одни из нас живут в городе, то другие — в деревне, за изумрудной рекой. Мы легко различаем плотину и мельницу, церковь и возы на улицах, библиотеку, и богадельню, и баню. Видим острую крышу инвалидного дома, точильное заведение, приют глухих и базар. А на льду прудов и реки — масса катающихся. Звонки их голоса и коньки, разгорячены лица. Там — буроватые, напоминающие мех неведомых зверей, купины оголенных кустарников и дерев; сям — прачки, полощущие белье в проруби. Есть еще вмерзшие в лед ладьи, и запруды, и птицы — о, масса птиц — и на ветках, и просто в пространстве, пахнущем сельдереем, — жароптицы, полинялые, выцветшие, или вовсе сменившие свой прихотливый наряд на скромное оперенье сорок и ворон. Что за чудесная, неотмирная такая страна, в восхищении застывает посетитель. Простота и неброскость ореховой рамы лишь подчеркивает очаровательную прелесть пейзажа и колористический блеск лессировки. Очерк наш, разумеется, не претендует на описание и оценку всех остальных, выставленных на вернисаже, картин: мы остановимся лишь у некоторых. *Автопортрет в мундире*. Полотно настолько своеобразное — просто диву даешься. Рассказывают, что, завершив работу, автор был прямо-таки потрясен глубиною своего самопроникновения; успех застает художника в совершенный расплох. Нелюдимо замкнувшись в ателье, располагавшемся тогда в оранжерее, он, сомнамбулически потерявшись меж мелко цветущих фотиний и безразличных ко всему манекенов, и все повторяя — не верю, не верю, — упорно отказывается верить, что это не он там, в углу, прислонился к мольберту, а всего лишь изображение его, пусть и невероятно сходное с оригиналом. А когда близкие, с помощью садовника и закройщика высадив дверь, наконец, убедили его в его собственной оригинальности — разрыдался. Цветная репродукция *Автопортрета в мундире* украсит фронтиспис нашей монографии об этом выдающемся человеке, выход которой в свет с нетерпением ожидается изо дня в день.

А как знаменательно, что появление на свет одного из тончайших, изощреннейших реалистов последнего времени совпало с такой замечательной датой, как пятисотлетье булавки. Сам артист полагал, что упомянутое совпадение отнюдь не случайно, и при всяком удобном случае подчеркивал его факт, усматривая в нем то жест Провидения, то перст Мнемозины. Скажем, в одном из стихотворений (будучи крупным поэтом, он создавал и поэзию) живописец с присущим ему стоицизмом неожиданно восклицает. Господа, в Лето от изобретения булавки пятьсот сорок первое, в последнюю пятницу ноября, часу примерно в шестом, в значительном удалении от каких бы то ни было столиц, посреди России, а вместе с тем — на берегу полноводной реки, некто нетрезво бьет в бубен. Сумерки уже растащили очи, затушевали перспективы и упразднили згу. Силуэт музыканта вот-вот растворится. Посему, кряхтя и путаясь в полах амзтараканского, отзывающегося полнейшей ветошью халата, страдая от холода, источаемого замшелыми каменьями погреба, содрогаясь от омерзения при виде многочисленных многоножек и увещевая икоту перейти на безропотных страстотерпцев Федота и Якова, выкатим на свет Божий бочку повествования — и выбьем, наконец, затычку. Так, уставясь в окошко в сравнительно поздний час одного из ничтожных и будних дней еще одного промозглого года и пытаясь собраться с мыслями, философствовал герой этой повести. Вита синэ либертатэ нихиль, философствовал он, виверэтэ эст милитарэ. Он был несвеж и немолод.

3. ЗАПИСКИ ЗАПОЙНОГО ОХОТНИКА

ЗАПИСКА I

Впечатление

Оглянись! насекомых несметные
Кавалькады все тянет на мед;
Есть, однако, приметы заветные,
Предвестившие лета исход.

Не напрасно утрами янтарными,
Что прозрачней, чем кожа луны,
Мотылек шелкопряда непарного
Вылетает на поиск жены.

На базаре дешевка и сутолка.
Бергамотных? Пожалуйста, есть.
Ну, а если вы — птица, то куколку
Колорадскую можете съесть.

Детство грусть сама есть. Вон, на пустоши
Внуки дедушкин ищут табак,
Шоколадницу ловят, капустницу
И старинный поют краковяк:

Вот умрет наша бедная бабушка,
Мы ее похороним в земле,
Чтобы стала она белой бабочкой
Через сто или тысячу лет.

Во саду обстоятельства прежние,
Только астры цветут, а не мак,
И стрекочет кузнечик небрежнее,
И никем не беремен гамак.

Впечатление есть, что кустарники
Козыряют всей мастью червей,
И кагор на дворе у бочарника
Пьет когорта младых кустарей.

ЗАПИСКА II

Снаряженье патронов

1

Вчера гулял в бору.
Песок его стезей,
Его осот и лист,
И даже стрелолист —
Все сухо было. Я
Бранил себя за то,

Что мокроступы я
Обул бездумно и
Напялил епанчу.

Я ныне, прозорлив,
Сбираясь по делам,
Отставку дал и ботам, и крылатке.
Дождем грибным в пути застигнут был —
Бежал и прятался;
Придя домой, дрожал весь.

Бобылка укоряла: поделом,
Предупреждала — ноги тянет, ты же
Послушался собачьего хвоста —
Салоп отверг и чеботы отринул.
О неслух, говорила мне она, о дерзкий.

2

Есть ящик у тебя!
В нем ты хранишь все то,
Что требует ружейная охота.
Его без дальних слов
Открой и из него
Бери картонных гильз,
Ты капсюлей бери,
Придуманных покойником Жевело,
И в донца этих гильз
Жевела те вживи
И пороху напороши.
За дело!

Из войлочного резаных мешка,
Из катанка, из байковой пижамы
Вложи пыжи и дроби закати,
И все это опять заткни пыжами.

Сэр Френч сидит на стуле безголов.
Фельдмаршал мой, ты, видно, нездоров,
Стал джентельмен какой-то весь увядший.

Но кто посмел, неужто Жомини
Так шашкою махнул из-за Ла-Манша?

Сэр Френч на стуле медленно сидит,
А дроби номера — шестой да пятый,
Но потому, что ствол — калибр двадцатый,
Калибр патронов тоже двадцать два.

И дымен порох мой, как дедушкин табак,
Зарницы старости чело мне изумили,
И ходики идут, соображая, что,
Соображая то, соображая что-то.

Бобылка спит, наевшись киселю.
Пусть снится ей, что я ее люблю.

А мне — охота.

ЗАПИСКА III
Между собакой

Между собакой и волком —
Время для частных бесед:
Пусть незатейлив обед,
Все вы обсудите толком
Вместе с собакой и волком.

Как хорошо, что у пруда,
Сидя себе на дубу,
Дует Удод во дуду
И приговаривает:
Как хорошо мне у пруда.

Жалобно блеет дрезина
С тридцать четвертой версты,
Дали донельзя пусты
И выходной в магазине.
Скушно. И блеет дрезина.

Капнула капля из жбана,
Занял сверчок свой шесток.
Кто бы ответствовать мог,
Поздно теперь или рано.
Капнуло снова из жбана.

Все вы обсудите толком,
Было бы что обсуждать.
Да не прошествовать ль спать:
Вечер грядет больно долгий
Вслед за собакой, за волком...

ЗАПИСКА IV
Точильщик
(разговор с критиком)

Не спи на земле, занедужишь,
Не станешь и ног волочить.
Оставь, назоил мой досужий,
Мне снится, что храбрый хорунжий
Холодное выдал оружье,
И надо его наточить.

Люблю ли я эту погоду,
Когда разгуляется вдруг
И у́зрят простые народы
Явленье того ли Удода,
О вялотекущей свободе
Кремнистый крутящего круг?

Еще бы. Скажи, а на что же
Звучанье удодовых дел
В сей час препогожий похоже?
Похоже, что кто-либо гложет
Куриную косточку, может,
Которую ты не успел?

Забросив бразды просвещенья,
В халате, чалме, аксакал,

Над самым глубоким ущельем,
Точенье с журчащим теченьем
Сравнить поскорей, весь движенье,
Народный акын проскакал.

Какая промозглая осень!
Удоду теперь не дает
Покою не то, что не носят
Ему инструменты и косы,
А то, что никто не попросит:
Надень мою шаль и капот.

Об эту-то пору точильщик,
Точило, мурло, обормот,
Горюя, что он не могильщик,
Равно не фонарщик, не пильщик,
Не бакенщик и не лудильщик,
О родине что-то поет.

Се жизнь: к инвалидному дому,
Пред коим зимою — каток,
Удод подошел и хромому,
Точней, одноногому гному,
Горбатому, слепонемому,
Единственный точит конек.

Взгляни — и ступай себе мимо,
Чужая беда — не беда,
Тем паче, что неутолимы
Печали фортуной гонимых,
И если уж солнцем палимы,
Им ливень — как с гуся вода.

Темнеет; судьбою не рада,
Голодной Горгоной вослед
Глаголов угодливых стаду
Глухая пора листопада
Глядит — и ни складу ни ладу,
Ни собственно стада уж нет.

ЗАПИСКА V
Октябрь

Неужели октябрь? Такая теплынь.
Ведь когда бы не мышь листопада,
Можно было бы просто забыть обо всем
И часами глядеть в никудали.

И нюхать полынь.

Но приходится действовать, надобно жить,
О наличьи лучины заботиться,
И приходится ичиги беличьи шить,
Запасаться грибом и охотиться.

Потому что зима неизбежна.

Небрежно белея лицом,
Вот он я, мне бы только удода наслушаться.
Потрещи, покукуй, потатуйка моя,
Берендейка, пусто́шка, пустышечка.

Непонятно, куда и зачем
Некто с бубном бредет перелесками;
Бурусклень, бересклет, бересдрень,
Бересква, бредовник, будьдерево.

Козьих ножек свеченьем,
Фрагментами бранных фраз,
Частью речи, известной под именем кашель,
И уключин кряхтеньем,
Похожим на кряквы зов,
Приближается шобла волшебных стрелков.

Начинается.

ЗАПИСКА VI

Падэспанец
(воспоминанье о городе)

Музы́ка Моца́рта звучала
Однажды в саду городском,
Там дама беспечно скучала
Пока не известно по ком.

Среди молодых оркестрантов
Крутился проезжий корнет,
Ее он в буфет ресторанта
Пригласил посидеть tête-à-tête.

Падэспанец хорошенький танец,
Его очень легко танцевать:
Два шага вперед, два шага назад,
Первернуться и снова начать.

А вечером после тех танцев
Он стал ей как преданный друг,
Он ей показался испанцем,
И лицо ее вспыхнуло вдруг.

А утром оркестр до причала
Дама проводила пешком,
Музы́ка с тех пор не звучала
Моца́рта в саду городском.

ЗАПИСКА VII

Почтовые хлопоты
в ноябре месяце

Все отлетело: и листья, и птицы.
Эти — от веток, а те — на юг.
Скоро потребуются рукавицы,
Чтобы рукам создавали уют.

Правда, порош и морозов скорее
Сизым прелюдом к сиротской зиме
Близится час, обреченный хорее,
Брат ненаглядный суме да тюрьме.

Надо в связи с этим вязанку писем,
Или же пуще того — телеграмм
Связку отправить. Два слова: аз есмь.
Без промедленья. По всем адресам.

Надо отправить, пока не вечер,
Пока телеграфные зришь провода:
Аз есмь, пока не затеплились свечи,
Пока не заперли врат города.

Надо отправить. Но где чернила?
Сумерки, что ли, впитали их?
Аз есмь! А если китайцам, в Манилу:
Есмь аз? — прося консультаций, — Bin Ich?

Надо отправить их с грифом *срочно*,
То ли с гриффоном, то ль с клячей Блед,
То ль, оперируя термином почты,
Просто отбить их, как пару котлет.

Принял решенье и, мучим астмой,
Что-нибудь выпить сошел в подвал,
А когда вылез — уже, ушастый,
Первый кожáн во дворе мелькал.

ЗАПИСКА VIII
Бессонница

Нету сна ни в одном глазу
(Прав провизор, увы, — года),
На кой леший она сдалась,
С лентой плисовой вкруг тульи,
Эдак несколько набекрень,
А на первый взгляд — решето.

Вижу все, как будто теперь:
Сумрак в пущу мою вошел,
Это — тут приголубил, там — то,
И откуда бы ни возьмись
Шляпа выплыла набекрень,
Ухарский такой шапокляк.

Тонкий выкрался из ручья туман,
Полоз в таволгу спать уполз.
Иволга перешивала вечер на ночь.
Я прикинул: а вот кому решето!
Только, думаю, к чему набекрень?
И стоял журавль в камышах.

Я достал монокль, протер и вдел —
Батюшки мои, да это ведь канотье...
Кряквы из осоки вспорхнули — фррр!
Сколько же, если представить, с тех дней
Лет стекло в решето набекрень?
Прав, увы, провизор, и ах.

ЗАПИСКА IX
Как будто солью кто...

Бывает так: с утра скучаешь
И словно бы чего-то ждешь.
То Пушкина перелистаешь,
То Пущина перелистнешь.

Охота боле не прельщает.
Рога и сбруи со стены
Твой доезжачий не снимает,
Поля отъезжие грустны.

И тошно так, сказать по чести,
Что не поможет верный эль.
Чубук ли несколько почистить,
Соседа ль вызвать на дуэль?

Шлафрок ли старый, тесноватый,
Велеть изрезать в лоскуты,
Чтоб были новому заплаты,
Задать ли в город лататы?

Но вместо этого, совея,
Нагуливаешь аппетит
И вместе с дворнею своею
В серсо играешь a'petit.

А то, прослыть рискуя снобом,
Влезаешь важно в шарабан
С гербами аглицкого клоба
И катишь важно, как чурбан.

День, разумеется, осенен,
И лист последний отлетит,
Когда твой взор, вполне рассеян,
Его в полет благословит.

Из лесу вечер волчьей пастью
Зевнет на первые огни,
Но позабудешь все напасти
И крикнешь кучеру: гони! —

Когда вдруг — Боже сохрани! —
Сорвутся мухи белой масти.
Вбегаешь в дом — и окна настежь:
Ах няня, что это, взгляни!

Как будто солью кто посыпал
Амбары, бани, терема...
Очаровательно, снег выпал!
И началась себе зима...

4. ЗАИТИЛЬЩИНА ДЗЫНДЗЫРЭЛЫ

Это Петр, грамотей один слободской, повез что-то в город — продавать, покупать ли, не разберешь на таком расстоянии: далеко отошел я на промысел,

да и лампа моя штормовая не слишком фурычит в чужих потьмах, и лета мои не для птичьего зрения. Петру — что, он в полном порядке, а вот Павел, племяш его, озабочен, письмо ему треугольное шлет. Прибывает турман их мохноногий на постоялый двор, видит — Петр с отдельными сторожами охотничьими винище употребляет немилосердно, в ко́зны режется, песни затеял шуметь. Турман Петра в темя клюет — приговаривает: ты, Петр, пить пей да дело разумей. Петр письмо берет, распечатывает, а в нем написано что-то. Дядя Петь, дорогой ты мой, там написано, дрозжи я уже не надеюсь, что привезешь, но надеюсь пока что, что в торговом отрыве от наших мест ты не жил на продувное фу-фу и про азбуку мечтал дерзновенно. Плачется слезно Петр в кубарэ товарищам: помогите советом, уж гибну я. Послан Павелом в Городнище не то покупать, а может быть и продавать, знаю только — по смерть меня командировать выгодно, и что нету сейчас ни товару, ни денег, а тем более необходимых ему дрозжей. Теребит с того берега: мол, как хочешь, а от пустопорожнего возвращения воздержись. Ну, дрозжей браговарных, возможно, у кого-нибудь и удастся заимообразно изъять, а вот жэ-букву где раздобыть, заколодило нам на ней, просветителям. Гэ-букву, Петр делится, выдумали без хлопот, она у нас наподобие виселицы, читай, потому что на виселице эту букву и выговоришь одну: гэ да гэ. Дэ — как дом, бэ — как вэ почти, вэ же почти как бэ, а вот жэ — та загадочна. В эту пору, траченный седыми невзгодами и хлесткими обложными ливнями, в кубарэ задвигаюсь я, собственной своею персоной, пророк, час один светлый спроворивший в июле-месяце у христиан, — захожу, чтоб отпраздновать завершение напрочь и вдрызг неудачного промысла моего. Встретился в слепой местности некоторый слепец, и он вызвался проводить на роздых к воде. И поплелся за ним, ему доверяя во всем, но темнота нас объяла, и он не заметил поэтому ямы ловчей и ухнулся. Сверзился вслед за вожатым и я, так как мой подпоясок связан был с подпояском его крепкой вервой, чтобы не растеряться нам. Вот и не растерялись,

стенали с башками побитыми и с вывихами, вот и не растерялись, дурили мы, путь наш продолжая с трудом. Но не в добрый час веселились, товарищи по беде. Ведь когда развиднелось, тогда обнаруживаю, что завод мой точильный при падении пострадал пуще нас. Лопнуло генеральное колесо по всем линиям, и найти понимающего колесника или бондаря, чтоб дал настоящий ремонт, в той округе не представлялось возможностью. Отчего, настрадавшись точить на ущербной конструкции, изнеможен, возвращался на зимние я фатеры до срока. Брел с пустыми карманами, и в них ничегошеньки не побрякивало. И пока я так брел, кумекая, чем намерен платить в ресторации, колесо это главное портилось все ужаснее; стоял сеногной. Вне себя захожу во внутрь и приветствую присутствующих забулдыг. Обод мой при этом тогда окончательно репнулся и распался на обе части; я посмотрел: они лежали у ног моих. Проклиная незавидную свою участь, яростно я аппарат раскурочил, дабы вынуть из обращения крестовину со втулкой, которые смотрели без обода сиротливо чудно́. Вынул, бросил и плюнул. И легла крестовина в аккурат промеж них, двух обломков, а те лежали в подражание как бы тонким двум месяцам, один к другому спинами, а лицами — туда и сюда: один — молод, другой — Крылобыл, на ущербе. Тогда Крылобыл, егерь мудрый, о ком уже куплеты слагали в те дни, когда нас, Пожилых Вы мой, и близко тут не присутствовало, он, который значился здесь с самого начала начал, носил всегда наряды на рыбьем меху и варивал спокону веков сиволдай и гнилье, он восстал, месяцеликий, и обратился к Петру. Полно горе тебе горевать, Лукич: брошенное оземь нищим одним — не сокровище ль для иного. Присмотрись повнимательней, разве не искомое тобою легло во прахе тошниловки сей, кинутое Илией в небрежении. Петр егеря урекает, стыдя: игры ты над моим скудоумием изволишь играть, черта ли нам с Павелом в механизма точильного бросовом колесе, да и неизвестно еще, разрешит ли хозяин его забрать, может оно ему самому надобно. Крылобыл ученого учит в кубарэ на горе: я чужое имущество не хочу тебя учить подби-

рать, это ты сам умеешь, я тебя иному учу. Загадками ты говоришь, Петр Крылобылу сказал, загадками учишь, сказал Крылобылу Петр, ох загадками. Выпили они затем. И прочие, за исключением Вашенского корреспондента, тоже приняли; последний же лишь облизнулся. Вот, сказал Крылобыл, рукавом занюхивая, что это за звук раздается у нас над Волчьей, когда кто-либо из наших точильщиков заработает на точильном станке, не же-же-же ли? Ну. Оттого я и спрашиваю, продолжал Крылобыл Петру: колесо от станка точильного, лежащее во прахе тошниловки сей и вывернутое шиворот-наоборот, не есть ли вид буквы искомой. Публика посмотрела и ахнула — ха, вылитое оно. Верно, верно ты учишь, будет нам с Павелом жэ, Петр радовался, жаль только денег у меня, радовался, нет, а не то выставил бы я тебе по потребностям. А ты голову шибко себе не ломай, Крылобыл успокаивает, не отчаивайся, взял да и подзанял у кого-нибудь. Да у кого же я подзайму, Петр отчаивается, если тут у нас все сами взаймы разживаются. А ты у Манула пробовал разве просить. Манул его поманил. А Манул, разрешите рекомендовать, он до известного времени деньгами не пользовался, хотя и гулял, потому что угощался задаром, на шермака, раскалывая на этот предмет одну ничего себе телесами мадам, которая здесь, в заведеньи служила и егерю потакала во всем от и до, почему пенсион его имел возможность откладывать про черные дни. И когда они наступили, когда отчалила сударка Манулова, вся соловая, на инспекторском катерке и оставила своему брошенке писульку: прошу не искать; то Манул направляется потолковать с инспектором в Иные Места, и года лишь три, как обратно. Ничего с ним не сделалось — опять загулял, но теперь уж по-черному и, подобно всем нам, приобретая за те же самые тити-мити, которые, однако, у него покуда имеются-есть, между тем как у нас в портмоне кожемяковых капитальный конфуз. Петр подсаживается тогда к Манул-егерю и глядит на него из самой души. Тот с течением времени спрашивает Петра: чего это ты на меня загляделся, или не видал никогда до сих пор,

и что ли глядеть тебе кроме некуда, и тому подобное. Да я, видишь, Петр оправдывается, средств хочу у тебя попробовать подзанять. Ну так и пробуй, Манул наставляет, а та́к чего зря глядеть-то. Петр Манулу на это выдает с прямотой: егерь-егерь, будь другом, займи мне в долг. Другом, приятель, тебе я побыть никак не могу, я ведь егерь, а ты — просто так верховет, но денег, не обижайся, дам — не выжига. И дает ему денег больших. Широко разгулялась публика на Мануловы сбережения, Сидор Фомич, и мне тоже кивнули: подсаживайся. Потому что ведь чье колесо-то репнулось, если вдуматься. Нету худа без не́худа, вот и Дзынзырэла с удачей вдруг.

И река на запрос отвечает: камень я тебе хоть под голову, хоть на шею — бери, не жаль, но в последнем случае — не взыщи, ты ракушек уже не покушаешь на здоровье, увы, а они тебя — с удовольствием. Отзываюсь: повремени, я отчаиваться чуть-чуть погожу, мне ракушек давай нынче в сумерки. Ты пантофельн свой новомодный стяни, говорит, галифе засучи до предельной возможности и войди по колено в меня и броди постепенно, пощупывая подошвой грунт; гарантирую, отыщешь необходимое живою рукой. Поступаю по совету реки и вступаю в нее, текучую, и набиваю в конечном итоге суму переметную я внабой. Развожу в вертепе каком-нибудь костерок — жарю, парю, пеку, одновременно рубище сушу свое немудрящее, которым, слава Господу, владею еще. Великовато становится оно с году на год, сохну я, усыхаю в последние сроки да выживаю заодно из ума. Мне бобылка одна — каюсь, каюсь, сошелся с нею, не пробуждая заветных чувств, лишь бы иметь пристанище, лавку теплую или топчан: кости бросить: в мастерской-то сквозит изо всех пазов, ложе волгло, мордасти из углов налезают — бобылка та, мои туалеты великие перепарывая, объясняла, что плотью своею сохну, поскольку Орину не в силах запамятовать. Вы присохли к ней, подруга сказала, присохли, мне горько выходит с того. И во сне иногда облапливаете, тычетесь кутенком во все у меня места, а зовете

ее — я в ревности. Лярву вашу навидите всем пропитым нутром квелым, а мо́зги с сопельками пополам из вас вытекают и по робе стелются, и ветры их сушат. В самом деле, Сидор Фомич, Вы ощутите при личном свидании, ощутите матерью мантильи моей — ишь, короста. Жалко вас, женщина скорбела о мне, участь бродячья ваша, ком вы травы сухой и гонимый, уж побыстрей бы Он вас к себе прибирал, чтобы не мытарствовать вам далее по миру, чепухи не молоть, не тиранить железы попусту, искры в ночах не сыпать, зорь бы не застить полезным гражданам, по изменнице бы уже не скучать. А то вывялит вам мякину вашу вконец, будто рыбе той воблой, и станете вовсе глупой, словно малый на мельничке, мешком стебанутый из-за угла. Так скорбела, перепарывая шмотье, и далеко иеремиада ее разносилась. Я же полагал про себя, находясь в катухе дремном: ты надежды на скорый отход мой покинь, еще помаячу там-сям, еще помозолю гляделки некоторым чуток, постою над душой у некоторых, послезит еще к небу бельмо мое. Туторки-матуторки, вы, верно, помыслите, что это еще за катух там наметился. Что мне ответить? Катух как катух, только дремный. Есть сусеки в наличии, манатки разные, специи, снедь, мышеловок с полдюжины производства пружинной Санкт-Петербургской артели. Даже не верится: ужель и до главной столицы нужда докатилась в капканчиках. Есть и метлы, и веники банные, запасец свечей — все порядком, все чин-чинарем. Но помимо того подмечаешь особенность, есть матрац с начинкой из всячины. Наломаешься за день, накрутишься по дворам, по цехам ли, наведаешься на часок в кубарэ, сунешься после к злыдне под крылышко, а она — нащепите, ворчит, щепы, наколите дровец, а то ходом вы у меня, лежебок, с постоя вылетите. И приходится, скок-поскок у поленницы, тяп да ляп колуном. И единый свет у тебя в окошке — весна, апрель, поминай тогда, бабка, как звали дедку — зальется за Итиль до первых утренников. А пока что — куда же ты, юноша, денешься, и вьюга тебя, залетку, поедом ест. Нарубил, нащепил — и уж тут-то до самого ужина происходит у Илюши перекур

с дремотой в катухе на заветной рухляди. Гутентак, а если не дремлется? Извертишься весь и, чтоб зря не лежать, затыкаешь прорухи образования. Изданиями обладаю не многими, но прелестными, давними. Есть меж ними одна и про мышь. Небольшая, не спорю, но ведь и барыня не велика. Жили-были, доказывает, старик со старухою. Ладно, уговорил. И была у них, якобы, птица Фенист. Тоже не спорю, свободная вещь, уж на что небогатый окрест народ, но и то у отдельных собственников нет-нет да поселится на антресолях ряба-другая. Да недолог, как правило, недолог, к несчастью, малых сих век. Где-то, вероятно, и долог, да не у нас по Заволчью. Кстати, послушайте, не знаю, как Вы, исследователи, — мы, точильщики и егеря, полагаем Заволчьем такие места, которые за Волчьей лежат, с которого бы берега ни соблюдать. Поясню на примере. Снаряжает Илью бобылка по поздние какие-нибудь сморчки — на соленое ее, видите ли, потянуло. Выклянчил я у артели артельский челн и поплюхал в Паршивый бор, Вы же в городе остаетесь, хоть я Вас, вне сомнения, и приглашал: мол, составьте компанию. Впрочем, не ясно, лукошко имеете ли. Но если и нет — не проблема, попро́сите у людей на понос, фигурант Вы солидный, отказ удивителен. Тень, однако, на прясла чтобы не наводить и предприятия не усложнять, я бы — когда просить станете — я в месте неявном бы переждал. Я за то беспокоюсь, что, если они осознают, что Вы со мной по грибы отплываете, то в глазах городнищенских как бы вам не упасть, паче чаяния, в грязь лицом. Переждал, переждал бы, щавелю на выгоне пощипал, хрену дикого надергал бы про запас. Не корите за любопытство, но Вы-то, простите за прямоту, Вы, сами по себе, корешок этот кушаете? Не стесняйтесь, лишь дайте знать, Ваше слово — закон, Вы еще моргнуть не успели — а я уже и на Вашу долю надрал. Ну и что ж, а сапоги, сапоги-то припасены у Вас? У меня-то вот нет, но на меня не равняйтесь, я — пример не из лучших, я от Пасхи до Покрова щеголяю босиком — обвык, подошву имею абразивную, вечную: бумага наждачная пята моя, но и то росы ранние

пробирают ее. Однако не сетую, кое-кто познаменитее нас претерпел, рекомендуя и нам. Зато на Покров, когда грязи наши сплотит мороз, — сразу валенок я обул и мне анчутка не брат. И как вóды сковало — прикручивай вервием снегурок и шуруй. Так что что-что, а сапог нам, выражаясь окольно, не жмет. Тут Вы, может, насторожитесь в мой адрес: что сапога у точильщика нет — чуда особого тоже нет, но валенком с чьих щедрот он разжился? Приоткроюсь, подтибрил я некогда обувь.

Холод, голод повсюду, поземка, тиф — все, что хочешь, а с валенками — дефектив. В отделении, правда, надо отдать ему должное, пара была — да одна на всех, чтобы попеременке в них пациенты могли променады соображать. Я обычно с коллегой одним соображал на двоих. Скажи, подфартило: у него этой нет, а у меня противоположной, и мы снюхались, как те бобики. Два сапога — пара, нас с почтением все узнавали вокруг. На перевязку, пилюлями ли у сестры отовариться, к тетке ли из дамского примениться в углу — всюду вместе шустрим. Куда, поется, правое копыто, туда и левая клешня, причем, там скорее на первое тянет, а тут на второе смахивает. Незаменимы один одному оказывались мы и в часы упомянутого променада. Действительно, много ли на дворе студеном индивидуально сообразишь — печалище. Иной доходяга ходячий побродит пяток минут, полюбуется на липы сиротские, вспомнит про отчий сад — и с него уж достаточно. Возвернется, насупленный, валенки снимет, швырнет: кто со мной шашки двигать, опрашивает, делая, как бы, улыбку ртом, а тоскливость его донимает. Взгляни, будь добр, в глаза мои суровые, взгляни, быть может, в последний раз — такова его философия. У меня же с коллегой — обратная. Пару эту мы запорошенную руками, от радости торопливыми, разберем, напялим каждый его, и поскакали на воздух. Распрекрасно снаружи — родина. Вроде — мать, но хитра поразительно, охмуряет. Поначалу все кажется — земля как земля, только бедная, нету в ней ничего. Но обживешься,

присмотришься — все в ней есть, кроме валенок. Ковыляем решительно к педиатрическим кущам — пожалуйте: тут и горка вам ледяная, и крепость снежная, как в Ботфортове у Петра Алексеича, и коты больничные, жирные, откормленные на наших харчах, щеки, что называется, со спины видать. Есть и санки угольные — тоже использовали. Накатаемся, исчумажемся, снегу за голенище себе наберем — поехали с пацанвой выздоравливающей в снежки. Ему и больно, и смешно, а врач грозит ему в окно, если видит. Дети нас сперва, особливо меня, сторонились. Еще бы нет, я и сам, покуда не примелькался себе, в зеркала опасался пялиться — шутка ль, рожа подобная, не говоря, что пижамина реет пуста. Постепенно, впрочем, ручными ребята сделались, привязались к нам даже, я бы сказал. Только и слышишь, бывало: дед Люша — так звали они меня — дед Люша, историю-то сочини, а на закорках-то — провези, а культю-то свою не таи, показывай. То есть всю плешь проели. С тем же и к Алфееву они липли банными листиками, Якову Ильичу. Он же поэт, стихотворец, стишата им составлял отменные, далеко до него нам с Вами, Сидор мой, Исидóр. Я бы сочинения эти его привел, но боюсь — не похвалите, они с картинками, то есть приличные не для всех. Например, поэма про пса бездомного. Стукнулась-де сучка дрючкой об забор, больно этой штучке, сделался запор. А далее мне даже зазорно, Фомич. Представляете, подошли к собачке трое кобелей, сделали что надо — стало веселей. Ну Вы подумайте! И тому подобные номера. Вот уж радости спиногрызам-то нашим было. Позанимались, побалагурили с детворой — уже потетени. Пора нам, следовательно, в театр. В зарослях особился, под номером раз, дом горбатый. Дом — не дом, а часовня из бывших с ампутированным крестом, и растенья белеющие, ивы что ли, склонились над ней, как анатомы. А табличка старинного начертания вам сообщала: анатомический театр. Там у нас санитар знакомый дежурства нес. Задвигаемся сразу к нему в подвал: сторожуешь? показывай давай артистов своих. Санитар погребá нараспах — смотри, не жаль,

за показы пока не взимаю. По историям заболеваний он их всех, как облупленных, знал назубок — кто отравился, кто раком сгорел, кого придавило, кто просто по глупости. Лет несолидных деваха, я помню, хранилась недели две у него. Тощеватая, рыжая, ключицы да щиколки, а волос всюду кучерявый у ней. Родственников не могли для нее разыскать, хоронить бы пора — осечка, некому. Симпатичная-симпатичная, и кончина ей — не кручина, усмехается — как ни при чем, и не тронулась телом ничуть, не в пример многочисленным. Смею надеяться, что серафимы хранили ее сильней. От озноба горячего она отошла, доверилась неудачно парнишке какому-то, но позабыть его вовремя не управилась — и прощай, Оря ты. Оря, печалюсь, кому же это ты не сбылась, приголубила бы лучше Илью на худой конец, тот, страшила, тебя, красотулю, от всех бы напастей отстранил, вот бы ладили. Ведь что такое несчастье и что такое счастие, когда задаться на миг? Несчастие — это если нет счастия, а счастие, Оря, это если несчастия нет. Погоревали и будет. Плесни теперь нам, голубчик дежурный, казенного чистяку, да перепадет индивидам малая толика от санитарии большой. Вечеряем, беседуем. Гостеприимцу — вопрос: как выдерживаешь в таком тарта́ре служить, ведь не грустно, не гребостно ль? Грубость есть, раздается ответ, патология — вещь жестокая, жалости к телу нашему не ведают посмертные лекаря, потрошат, не дай Бог окочуриться — разделают под орех. И меди́чки молоденькие туда же — уж наблатыкались, цапа́ют за что ни по́падя. Но вы сами извилиной пошевелите, куда я с данной вакансии соскочу, где еще дармового горючего вам всем, неприкаянным, нацежу. В свою очередь огорчается напропалую за нас — а как это ва́с угораздило, ежели не секрет. Я ему — так и так, и таким путем. А Алфеев, Яков Ильич, — в военные слухи ударился. Докладывает, что затеялась якобы кампания сильнеющая не слишком давно, и забрили его, как назло, на эти фронты воевать. В распозиции, вспоминает, девушка провожала бойца. Проводила, а там постреливают, там — командир бравый, шагом марш, разоряется,

не то — пристрелю. Ничего не попишешь — пришлось шагать, ну и оторвало, конечно, и выбросило к лешему за фашины. Орал, признается, как резаный. Поэт, былинник был речистый Яков Ильич, аты-баты, докладывал, шли солдаты, аты-баты, рапортовал, на войну. Или более-менее гражданское, транспортное. Моя жена, говорит, в кондукторы пошла и с ревизором в тонкости вошла; что предпринять — пока не понимаю, но за проезд уж не плачу в трамвае. Ручьями струились в трупарне беседы обычно у нас, но протекли и они, просы́пались, будто песочек в часах. Все минуется, но достойное — в первую голову. Здравствуй, выписка, — ты грянула, разразилась. Так, в одно распрекрасное посещает столовку общебольничный эвакуатор, врач. Даже не столько врач, сколько врачина целый, амбал. Мы обедаем: ужинаем. Доводится до нашего сведения, что Сидоров и Петров завтра утром со всеми пожитками кандыбают на дезинфекцию, а затем с белютня́ми нетрудовитости хромают неукоснительно по домам. Дело швах наше с Яковом. Ибо это лишь краснобайства ради я здесь указываю — Сидоров, указываю, Петров. На поверку же оборачивается, что никакой не Петров, и еще меньше Сидоров в списке на удаление у живодера этого фигу́ровали. Там фигуровали Алфеев и Ваш покорный Илья. Полундра, Яков Ильич, я шептал, обрекаемся выписке. А он просит добавочной порции. Шеф же повар со злобой: чего, не налопался? Алфеев смиренно: когда психическим состоял, мне фельдшер советовала: чуть неприятность какая, прими в себя побольше чего-нибудь — и все как рукой. Какая такая неприятность, повар толстая поэта бранит, жилы ты из меня тянешь. А такая, Алфеев без трепета возражал, а такая, что кура, которая на второе была, старая, видать, вся попалась, вся в зубах она у меня завязла. Диву я дался в который раз. Откуда, откройте секрет, не тая, с какого такого шоссе энтузиасты у нас настолько неугомонные есть-пошли, ведь не вылупилась еще та ряба из земного яйца, которую той лечебнице жевать суждено. Нас чумизой откармливали доктора наук, а Алфей утверждает — завязло-де. А недолго, недолго, я повто-

ряю, птахи малые эти живут, потому что осу им ни в коем случае не стоит клевать. Но турман Петруху в темя так не клевал, как они осу. А та — заразная, болезненная, и случается у пернатых мор. В книге дремной моей начертано: отведала ряба золотушных ос и снесла пожилым не простое, а золотое. Казалось бы, лучшего и желать невозможно — бери и жарь. Но все не слава аллаху за Итилем. Била-била старуха яйцо — не очень-то. Не преуспел и мужик ее, дряхлый стручок. Той порою бежала мимо по своим нехитрым надобностям относительно небольшая серая мышь, и она видит стряпчие трудности. Разбежалась, махнула хвостом и смахнула яичко на пол. То упало и — бац — и кокнулось. Я смекаю, смекаю, опять в недоумении Вы: для чего ты мне, потерпевший Илья, байку эту из уст в уста передал, что тебя побудило-понудило? Извинительно и мне, если так, недоумением Вас своим огорошить. А к чему, желал бы я знать, для чего они притчу вышеизложенную составили-то вообще, в чем, я спрашиваю, бывальщины соль? В том, что мышь человека сильней? Ой ли, подобного даже в Заволчье нет, а уж не там ли немощные старики живут-зажились. Или что? Что мышей, может быть, нам всем следует охранять, что они пригодятся разбить по хозяйству чего-нибудь? Об этом придерживаемся мнения сугубо собственного. Как изводили искони — так традицию и блюдем. Разве царевны-лягушки они? Корыто, что ли, разбитое голосом человечьим сулят? Не велите казнить, Фомич, но не понимаю я намеков подобных. То ли дело — капуста, коза да волк, вот это, я понимаю, загадочка. Но не теперь — ныне выписка мучает. И выдает злообразная повар добавки Якову Ильичу. Мы кушаем пополам и задумались. На дворе вьюга чистая, колтуны палисаднику вертит, а у ребяток с валенками просак. В довершение всей ситуёвины и специальности не держим какой бы то ни было мы в руках. Куда, фигурально соображая, на учебы податься? Выйдешь, выпишешься — изметелит тебя метелица, словно метельщик поганой метлой. Ё-кэ-лэ-мэ-нэ, мы задумались. И Яков промолвил: любыми путями валенки нами

любимые должны мы из отделенья убрать, прилепились мы к ним — тем более что с калошами. Что ты имеешь в виду? — я спросил. Я бокогрей имею вдали, когда цыган-хитрованец цыгейку в комиссионку понес, когда грязь-слякоть, а мы — на лыжах. С полуслова я понял товарища и предлагаю до выписки, без всяческих контрибуций ноги отсюда умыть. А докýменты? Чего тебе в тех документах, бумажками сыт не будешь, в частности, если липовые. У меня хоть и настоящие, говорит, но не мои, за другого я Якова на позициях был, брóню ему свою в трик-трак профиршпилил. Полистали для виду журнал Свиноводство и Мóлодежь и намыливаемся как бы гулять. Коридорный прищурился и додул: отваливаете? плакали, стало быть, валенки коммунальные? ладно, берите, страшнее не обедняем, с единой парой кашу тут все одно не сварить. Мы откланялись и — в партер: санитар-санитар, дай нам хламиды какие-нибудь, не в пижамах же до мест назначения добираться. И вытряхивает Иван из каптерки одежд — ворох ворохом: налетай. Сколько ж душ добродушных по подвалам у нас сыроватым рассеяно! Благодарствуй, медбрат дядя Ванечка, тароватости твоей мы племяннички. Объяснял: поновей туалеты приносят артистам родичи, а обноски с испугу нередко не требуют. Выбрал я тогда себе галифе адмиральское голубое, парадное, выбрал в тот раз чиновничий шапокляк набекрень и кирпичной расцветки жидовский шевиотовый лапсердак-с. Полагаю, не промахнулся, материи все три ноские, по сейчас единственный мой обмундёр представляют собой. Что Алфееву показалось — не вспомню теперь, а душой кривить презираю. Уж не моднеющие ли в полоску брюки он взял, муар-антик, не клетчатый ли куртец, драп-жоржет. Обрядились, одернулись — бывай, щедрявый, и попилили дуэтом подальше от этих бинтов, наведя заведомо справки о нужной станции — даешь вокзал. Прыг-скок, прыг-скок, баба сеяла горох, мы давали, картузы нахлобучивая по-залихватскому. Но и кутерьма буревая давала нам, понимаете ли, прикурить.

5. ЛОВЧАЯ ПОВЕСТЬ, ИЛИ КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Яков Ильич Паламахтеров (вот, кстати, его *Автопортрет в мундире*; впрочем, стоит ли переписывать такие громоздкие полотна, не имея к этому сколько-нибудь заметных способностей и наперед понимая, что посетитель лишь мельком взглянет на копию как на скучнейшую здесь деталь, дабы немного спустя, все более забываясь и путая действительное и воображаемое, уверять себя то и знай: да, так, именно так все и было; и, оценивая себя со стороны или в зеркале, оставаться совершенно довольным своими — то есть нет, погодите, его, конечно его, героя, поступками и чертами; перемалевывать автопортреты в мундирах! увольте), Яков Ильич Паламахтеров порывался не подавать виду. Напрасно. Трудно вообразить себе человека, который в своем неумении мимикрировать менее напомнил бы бразильского охотничьего паука или горбатых патагонских сверчков — см. Карус Штерн, *Эволюция Мира, Werden und Vergehen*, перевод с немецкаго, Том III, Издательство товарищества Мир, Москва, Большая Никитская, 22, Типография товарищества И. Н. Кушнерова и К°, Пименовская улица, со двора, во дворе немощено, грязь. С подъехавшей повозки двое типографских в фартуках, вымазанных невесть чем, спихивают прямо в лужу бумажные рулоны. Порождаемые их падением брызги немало забавляют работников. Ополоснувшись, рулоны один за другим раскатываются по двору, одеваясь дюймовым слоем суглинистой жижи. Заметив безобразие и раззор из окна, что в третьем этаже, над аркой, отворяет фортку и на всю Елоховскую бранит молодцов направленный в Москву нарочно по делам книгоиздательского товарищества Просвещение, что на Невском, петербуржский метранпаж Никодим Ермолаич Паламахтеров, прадед Якова Ильича. Перед нами — щеголеватый, немного слишком изящный субъект, успевший сменить дорожное на приличествующее визитеру платье (он в модной чесучевой

паре и модном же, хоть и не чересчур, галстухе) и завернувший нынче с утра к своему давнишнему знакомцу и коллеге, который служит тут, у Кушнерова, и коего в кабинете теперь нет — вышел, но сию минуту будет назад, скажет только, чтоб начинали уж в две краски, заберет корректуру да велит самовар принесть: право слово, не все ж, майн херц, д'антр-де-мер дуть. Заслышав над головою громовые речи заезжаго Зевеса, типографские, оставленные нами внизу, принимаются скатывать всю бумагу в иное, каковое оне полагают сухим, место, еще более прежняго вымарывая себя и рулоны, причем движенья печатников до крайности суетны и принуждают вас думать об новоявленном аппарате мусье Люмьера, взявшего в прошлом году патент и — по слухам — выручившего за изобретенье свое, получившее с чьей-то легкой руки чудно́е прозванье синематографа, пристойную уже копейку. Завлеченный шумом, заходит с улицы во двор, изволит желтеть аксельбантами, побрякивать шпорами и, покрякивая в усы, воздыматься по черной, к несчастью довольно засаленной, лестнице, околоточный, добрый приятель московскаго, а некоторым образом и столичнаго, метранпажей; в сапогах, поперек себя шире, зато отменный картежник, ветреник, не круглый дурак выпить, при сабле — и вообще славный малый. Ба, Ксенофонт Ардальоныч, — завидев его застрявшим в дверях, восклицает ему навстречу наш визитер, — сколько лет!.. Много, много воды утекло, Никодим Ермолаич, возражал Ксенофонт Ардальоныч, шествуя встреч тому с распахнутыми объятьями, какими судьбами? И поскольку Никодим Ермолаич присаживается на один, постольку Ксенофонт Ардальоныч присаживается на другой венский изящный красного дерева стул, который, будучи приобретен товариществом за 9 р. с полтиною ассигнациями, немилосердно трещит при этом жестоком испытании, отчего дальнейшая целокупность частей его на мгновение воображается рачительному просвещенцу довольно-таки проблематичной. Однако тревога оказывается, как будто, ложной, и метранпаж облегченно выпускает из себя отменный клуб дыма, что дает

Ксенофонт Ардальонычу повод заинтересоваться, членом которого клуба записан нынче его приятель, а заодно и сортом табаку, куримого Никодим Ермолаичем: гаванские предпочитаете? Выясняется, что третий год Никодим Ермолаич имеет честь состоять в жокейском и редкую неделю не посещает гипподрома. Что ж до табаку, то — угадали, они самые, в Бремене фабрикованы. Преприятственные — и легкость необыкновенная, и амбре, и все, что желаете. Да вот, не угодно ли, уж и обрезано. Благодарствуйте, мы по старинке пахитосками асмаловскими попыхиваем. Ах, напрасно вы, извините за прямоту, пренебрегаете, их ведь, знаете ли, сам Птоломей Дорофеич похваливает. Неужто, полноте! Вот вам и неужто; я, любезнейший Ксенофонт Ардальоныч, с Птоломей Дорофеичем, как нынче с вами — то есть необыкновеннейшего разбору души либерал; хотя и масон, якобы, и, сказывают, не последняя креатура в ложе. Как! Лгать, Ксенофонт Ардальоныч, оснований не имею — за что купил, за то и продаю, а насчет гаванских и сомневаться не беспокойтесь, сам не единожды огню ему подносил. Вы что же, и на журфиксах у него? Скромничать попусту я, сударь, не любитель, отвечал петербуржец с тем непринужденным достоинством, коего сплошь да рядом не встретишь не токмо у незначительных, но и у весьма значительных у нас лиц, не держу в правилах. Что журфиксы, отвечал он, забирайте выше, я там и на бенефисах свой человек. Тут поехали шибче. За окнами уносились таблички самоглавнейших прошпектов; на Дворцовой, с ног до головы обдав громадного городового, шарабан раздобара развернулся и, спицами зарябив в очах, вылетел единым махом на Невский — летел вдоль салонов и ресторации, мимо зеркальных витрин и миллионных фасадов. Болтали о новых часах Буре и об африканских бурах, сошлись на том, что первые слишком тикают, а вторые, хоть и бандиты, да молодцы — и не судите да не судимы будете. Заодно воспомнили о суде над ограбителями швейцарского банка и о новом крупном ограблении колорадского поезда, причем Ксенофонт Ардальоныч не преминул вставить шпильку американцам:

ох уж эти мне башибузуки, посетовал он. Едва заговорили о собственно башибузуках, захвативших в последнюю кампанию до сотни наших гаковниц, базук и протчих пищалей и варварски аркебузировавших плененных кирасиров и кавалергардов, едва коснулись до грустной темы о дюжине несчастных квартирмейстеров и вестовых из улан и от канонирского состава, взятых заложниками и потонувших на трофейной французской фелуке, шедшей под италианским стягом и подорванной под Балаклавой турецкой петардой, едва упомянули обо всем этом, как в кабинете, обремененный целым бунтом гранок, является, наконец, здешний главный верстальщик, обряженный в скромный флер. На вшедшем, кроме нечищенных от Эрлиха штиблет, коих неухоженность свидетельствует лишь в пользу деловых качеств владельца, читатель обнаруживает род облачения, известного в нашем патриархальном быту как не то фижмы, не то пижмы, а может статься и вовсе брыжи. Чего это вы, Никодим Ермолаич, прямо с порога и несколько с упреком, только отшаркавшись с околоточным, бросает он, чего это вы как иерехонская труба вопите, даже в наборном слыхать. Помилуйте, Игнатий Варфоломеич, оправдывается просвещенец, вольно ж им первостатейную бумагу в лужах купать, благоволите свидетельствовать. Все трое — Ксенофонт Ардальоныч да Никодим Ермолаич с Игнатий Варфоломеичем — следуют к нише. Да-с, бельвю, нечего сказать, заключает блюститель порядка, глянув на происходящее во дворе, а ведь замостить бы не грех. Куда, сетует типографщик, кто это вам на подобные пустяки деньги даст, в настоящих-то обстоятельствах. А позвольте-ка полюбопытствовать, милостивый государь, чем это вам наши обстоятельства не показались; и потом, вы что же, кивая на гранки, продолжает дознание полицейский чин, прокламации изволите публиковать? Будет вам, батенька, укорял обескураженный метранпаж, протягивая собеседнику один из листов. Пробежав несколько строк, мундир небеснаго цвета впадает в неподдельную ажитацию: нет, вы только послушайте, господа, какую аппетитную маскировку наблюдали

у одного бразильскаго охотничьяго паука, живущаго на апельсинах! Бразильскаго? — с любопытством настолько живым, что мыслится, едва ли не весь живот его сошелся на сем предмете, переспрашивает Никодим Ермолаич. Головогрудь его, цитирует Ксенофонт Ардальоныч, стала прозрачно-белой, как парафин, в то время как фарфорово-белое брюшко выпускает семь пальцевидных оранжевых выростов, изображающих тычинки померанцевого цветка. Под этим сказочным одеянием, читает далее околоточный, паук успешно творит свое смертоносное дело. Вы подумайте, друзья мои, что за шельма! Чудовищно, соглашается взволнованно невский гость, я не отыщу слов. Обратите внимание, ширит экскурс Ксенофонт Ардальоныч, а среди горбатых сверчков нам встречается ряд таких, которые до иллюзии походят на загнутые назад колючки, какие носят на ветвях своих обитаемые ими легуменозы. А птичий глаз? Вопрос хозяина поставлен таким ребром и глядит такою контрадикциею к общему тону беседы, что Ксенофонт Ардальоныч с Никодим Ермолаичем прямо вздрагивают, будто кто из монтекристо тут выпалил. Знаете ли вы, витийствовал между тем Игнатий Варфоломеич, известно ли вам, государи мои, что есть птичий глаз? Я более знаю, что есть писчий спазм, нахохлившись воробьем, находится каламбуром приезжий полиграфист. Да не следует ли полагать, осмеливается рассуждать околоточный, что птичий глаз, говоря, разумеется, округленно, есть не что иное как глаз, с позволения выразиться, птицы, пусть даже и небольшой. Дудки-с, язвительно отзывается Игнатий Варфоломеич, личность вообще желчная и в высшей степени самолюбивая; птичьим глазом, победительно возвещает верстальщик, именуется род березового капа, что до того редок, в силу чего и дорог, что двери из него в вагонах Его Императорского Величества поезда оцениваются по сто семьдесят рубликов всякая. Ксенофонт Ардальоныч с Никодим Ермолаичем были буквально сбиты с позиции. Они до того смешались, что на минуту сделались Ксенофонт Ермолаичем и Никодим Ардальонычем: названная цифра сильнейшим образом

магнетизирует оппонентов Игнатия Варфоломеича. И Бог весть, сколько длилось бы их смятение, когда б не привратник Авдей, заспанный мужик со смоляной бородою до мутных и маленьких, словно бы птичьих, глаз и с мутной же бляхой, пришедший сказать, чтобы барин не гневались — самовар совсем прохудились и оттого чаю не выйдет, но, мол, если угодно, то имеется вволю свежайшего пива, взятого под залог у извозчика, купчую бы вот только выправить, а ежели к пивечку певичек прикажут, то чтоб велели теперь же курьера к Яру послать. Э, братец, да ты, я чай, не вовсе орясина, замечает соглядатаю участковый, — и вскорости стол не узнать. Оттиски, гарнитура — убраны. На их месте — три стклянки с пивом, по мере расходу пополняемые из средних размеров бочонка, с очевидной значительностью возвышающегося посреди скромнаго, пусть и не лишеннаго изысканности, выбора блюд: устрицы; немного анчоусов; фунта полтора зернистой; севрюжья спинка — не цимес, но и невозможно упрекнуть, что дурная; да дюжины три омаров. Цыганы припаздывают. Ожидаючи их, составилась партия в лото, и не кто иной как Ксенофонт Ардальоныч кричит нумера. Семьдесят восемь, кричит он. Милости просим, рифмует Паламахтеров, хоть и не выпало. Сорок шесть. И это есть, уверяет петербуржец, хоть у него снова не корреспондирует. Притворство Никодим Ермолаича столь мелочно, сколь и очевидно, и мы как-то вчуже конфузимся за Никодим Ермолаича; лукавство же Якова Ильича и вовсе шито белыми нитками. От рожденья владея пленительным даром художнической созерцательности, но будучи и застенчив, и деликатен, он то и знай порывался не подавать виду, что он таков, каким, естественно, просто не мог не быть, коль скоро владел тем, чем владел. Оттого-то, наверное, порывы Якова Ильича и оборачивались сплошными неловкостями и в этом виде вели не к желаемому, а к нежелаемому результату, лишний раз приковывая к одаренному юноше неотрывное, пусть и не всегда восторженное, вниманье толпы. Помните, как однажды, давным-давно, он опять зазевался,

а порыв апрельского свежака не замедлил сорвать ермолку с его тщеславно посаженной головы? Что за важность, что улица, как назло кишевшая участливыми сердоболами, уличала героя, грозя: подберите, простынете! Он, подчеркнуто игнорируя окрики, тщательно не оборачиваясь, горделиво не оставляя вращать педали вперед и — цинически легкомысленно стрекоча шестеренками, цепью и храповиком холостого хода — назад, попытался тем самым представить все дело так, словно не имеет к нему никакого касательства, и не прекращал разъезжать — как ему непременно хотелось видеть глазами стороннего наблюдателя — меланхолически непричастно. Но знаете, некоторая избыточная сутуловатость, неожиданно засквозившая во всем субтильном (весь в прадеда, говаривал ему дед) обличии разъездного, умалила, даже свела на нет его хлопоты о беззаботности телодвижений, сковала, сделала их по-мальчишески угловатыми и выдала ротозея-рассыльного с его тщедушный простоволосой башкой на поругание черни: раззява, разиня — уличала и улюлюкала улица. И если бы то был, предположим, не просто сутуловатый стрекочущий разъездной, а настоящий горбатый сверчок Патагонии, то при столь же неважных способностях не подавать виду он был бы немедленно склеван. Но к счастью то был как раз разъездной — разъездной созерцатель. Посыльный художник, курьерский артист, и щемящее ощущение, что все вокруг в нашем неразрешимом *здесь* происходит и существует лишь якобы, не оставляло его в означенный вечер ни на минуту. Так, рассеянно посматривая в окно, или при рассеянном свете коптилки полистывая Каруса Штерна — некогда представительного, солидного, а теперь отощавшего, траченного курительными и бытовыми порывами, но и поныне достойно собой представлявшего единственный том этой сравнительно скромной домашней библиотеки, — философствовал и формулировал Яков Ильич Паламахтеров, неподкупный свидетель и доезжачий своего практического и безжалостного времени.

6. ОТ ИЛЬИ ПЕТРИКЕИЧА

Чем вокзал ожиданий шибает бестактно в нос? Не сочтите за жалобу, псиной мокрой и беспризорной преет публика в массе своей. Разболелись от гололеда у нас подмышки, замутила взоры мигрень. Навещаем с устатку путейную тут питейную — лечимся. Ты куда теперь, Алфеева я спросил. Рассуждает: Россия-матерь огромна, игрива и лает, будто волчица во мгле, а мы ровно блохи скачем по ней, а она по очереди выкусывает нас на ходу, и куда лучше прыгнуть, не разберешь, ау, никогда. Верно, Яша, ау, все мы у нашей крайны светлой — как поперек горла кость, все задолжники, во всем кругом виноватые. А обычная мать, он сказал, у меня умерла, может быть, и отца постоянного я лишен в результате алкоголизма, слышал только, величали Ильей. Яша, милый, да может, я он и есть, небось, случались ребятишки какие-нибудь впопыхах, жизнь же тоже огромна. Допускаю, Ильич отвечал, но зачем ты в подобном случае мать забросил с концами, сына женщине поставить на ноги не помог, образования ремесленного ему не дал, подлец ты мне после этого, а не отец. И обиделся. Яков Ильич, я утешил, да ты не серчай, я еще, может, и не отец тебе никакой, охолони чуток, шибко не кипятись, шибко-то. Извиняй, говорит, погорячился, может, и не отец. А возможно, обратно примазываюсь, возможно, что как раз и отец, не известно еще. И поэтому пусть я буду тебе не просто отец, а отец-может-быть, может-быть-отцом стану приходиться тебе. Приходись, Алфеев изрек, мне-то что. Если так, на слове парня ловлю, то не одолжишь ли мне как папаше такому неточному на билет неплацкартный: займи, мне на станцию Терем, к Отраде одной Имярековой. Просьба в денежке не отказать, выручай старика, или ты не плоть от плоти его, может быть. Яков Ильич при вокзале белугой ревет: батя, Илюша, блудущий мой, ты ж к мамане нашей нагладился, пусть она у нас и не в живых, может быть. Я смешался: зачем это непременно к ней? Потому, говорит, что на станции

тоже работала. А фамилия, имя, инициалы вообще? А плевать я хотел на инициалы, вскричал, какие бы ни были, что ты, как маловер неродной. И купил мне билет до Терема. Облокотились взаимно мы на прощанье, облобызались — прощай-ка, не свидимся, преогромна волчица — раскинулась. Дал купюр еще он значительных, я их принял, пожамкал, затырил в валенок — и адью. Еду и маюсь: бедолага ты, Яков Ильич, сирота, жук отец твой, пройдоха, он помощь мамашке не осуществлял ни хрена, та же — поведения облегченного, и пробы на ней ставить — вряд ли, пожалуй, где есть, даже если и не та она Имярекова. Теремские — они ведь все оторвы приличные — что та, что двенадцатая, но все-таки еду к той, потому что двенадцатая ни нá болт сдалась. Так я мыслил о родственниках своих, в бесплацкартном заплаканном томясь вместе с прочими, одержимыми, как и я, нищетой. И мотало на стрелках. На манер, как бы, брючины подворачивай вежды себе, заголяй и культю — чтоб чуднéй, и задвигайся в купейный: с тобой инструмент. Заводи моментально мелодию и заявляй поверх пересудов и переплясов колес, что не ведаешь мира, нет и отрады — постигло несчастие. И далее поясни, в чем суть. Однако о пропитании не заботься, не христарадничай, не канючь и не клянчь, ибо высокое звание народного индивида неси высоко, ведь и самый из нас страшнеющий лучше птах. А кого проймет — сам раскошелится. И начинаешь концерт. Протяну катушку ниток по зеленому лужку, отобью ли телеграмму моему милу-дружку. Вот она, разлюбимая русская песнь, льется и плещется по всему помещению — а путь далек. А откуда, заинтересуетесь, гармония у тебя, Илия, что ли навоз Вы продали, Ваше Калечество? Нет, не продавал я навоз, и бабок столь исключительных, чтоб музыку приобресть, в руках не держал из принципа. Но не вершится свет настоящий без таких щедрых духом, как наш санитар. Завезли к дяде Ване в театр артиста окраин, жертву опасных бритв, парня в кепке и зуб золотой. И до того музыкант, вероятно, заядлый был, что сапоги у него — и те гармошкой, кирза. Заодно

и трехрядка его с ним сам-друг доставлена. Заприходовал ее медбрат в пользу бедных, только, сказывал, предстает бандура вне надобности: как играть я попробую — так сразу и выясняется, что не умею: то руки дрожат, то голос срывается. А я, я сулил, я умею, лишь дайте. Вручают. Как дернул меха, как выработал перебор по пупырышкам! Сбацай наше чего-нибудь, санитар умоляет, рвани. Раз пошла таковская пьянка, запузырил я частухи на полный размах. Крематорий проверяли, беспризорника сжигали (дирекция какая-нибудь хитрая), дверь открыли — он танцует и кричит: закройте, ведь дует. Пляска бешеная их всех, кто там случился в подвале, взяла, инда Яков Ильич на одной, поглядите, уродуется. Дядя Ваня — тоже коленца откалывает, и слышу, как в райском обмороке: вижу, вижу, могёшь, получай ты шарманку эту с белого моего плеча.

А в поездах меня прямо захваливали. Один разъездной даже в купе зазвал — дай налью. А не гнушаетесь якшаться со мной? Тю, смеется, еще не с такими доводилось из одного корыта хлебать. Наполняет. Что вы меня искушаете, гражданин, а ну как не вытерплю? Сделай милость, валяй. Сам весь гунявый, как канталупа. Я опрокинул. Он выдает: на станции сидел один военный, обыкновенный гуляка-франт, по чину своему он был поручик, но дамских ручек был генерал. Я — баянист головитейший, мелодию ему подобрал на ходу, в два счета. На станцию вошла весьма серьезно и грациозно одна мадам, поручик расстегнул свои шкарята и бросил прямо к ее ногам. И припев. Вот и я, будто в песне, попутчик сказал, был поручиком. Носил и газыри, и усы, но по замашкам и по ранжиру числился в попечителях. Но не то, что там ручек каких-нибудь станционных, нет, числился у себя в мандате попечитель-инспектором всех чугунных путей. И наливает, вообразите, армянского. Да вы трекнулись, три звездочки на беспаспортного переводить. Только пуговицами бликует. И поэтому, признается, мила мне планида железнодорожная, прикипел, грешным делом, люблю,

извини, яичницу и промчаться в быстромелькающем скором. И куда же, ты думаешь, я направляюсь теперь? Не серчайте, я отвечал, я маршрутов ваших не в курсе, билетов вам не покупаю пока, Илие билеты самому пока покупают. Думаешь, я у брата, что ли, в Казани вознамерился погостить? — поручик допытывался. Кто вас знает, я к брату бы и сам с пристрастием снегом на голову, там дури сколько влезет, ешь-пей-ночуй, Мусю соседскую, если соскучился, можно на посиделки зазвать, с бредешком побродить можно бы. Бредешь так, знаете, по пояс в воде, а глина илистая — так и лезет пиявками между пальцами, аж завивается. Не говори, инспектор поддакивает, у самого, признаться, брат — пьяница. Что говорить, попечитель, брат — брат и есть, только не шлет он в последние сроки приглашений мне никаких, и что у него там стряслось — не пойму: женился ли, болен, кандалами ли где звенит? Зря сомневаешься, отвечал, ясно, ими. Но, по правде сказать, поручик, не припомню, чтоб он и прежде особенно часто строчил; нет, не часто он мне строчил, даже лучше выразиться — совсем никогда не писал. В кандалах не попишешь, поручик кивал, в Кандалакше-то. Да, и голову на плаху я вряд ли бы вам, пожалуй, свою положил за то, что имеется где бы то ни было этот братец вообще; подозреваю, что и в заводе его у меня нет, как ни жаль, — ни в Казани с Рязанью, ни в Сызрани. А ну, говорит, разреши, я тебе за это плесну сызнова. И мы куликнули оба. А состав наяривает себе ни в едином глазу, режет ночь молодую, как острый норвежский нож, катит неблизко где-нибудь вязкой манульих глаз. В околотке той же самой ночи́ дремлет, кемарит потихому, прикорнул швейной иглою в омете оперированный транзитный, вроде меня, и ему поезд чудится нездешнего назначения совершенно. Ахти мне, батенька, инспектор вздохнул, в Сызрани родственников не проживает сейчас, вот в Миллерове — пожалуйста, в Миллерове — полное ассорти, крестная сестрина там недавно как раз преставилась. И представляется: Емельян Жижирэлла. Едрена палка, я выразился. И сразу обнял его, жирнягу, а он меня, худобу покорного.

И высушили на брудершафт. Ну, зачем же ты не писал-то мне, я укорял, хоть бы открытку бросил, одноутроб еще называется. Ты с налету не гневайся, он объяснял, недосуг в Кандалакше письма было писать, в каталажке-то, лучше скажи, отчего сам родню забываешь: я, например, на поминках в Миллерове не припомню тебя совсем, или известия не получил? Получить получил, с вручением. Сей же час хватаю картуз, пролетку — и на вокзал. Подлетаю к солидному с саблей: где тут чего? Показывает. А у сабли внизу колесико, чтобы плавней волочить. Барышня, благоволите купейный до Миллерова. Сабля подобная пули сильней, ибо свинец нет-нет да и сплющится, но от стали уж не отвертишься ни за что, от стали-то. На перроне — культура: плевательницы, киоск. Восемнадцать минут. И нерешительность обуяла. Заявлюсь — пересудов не оберешься, вообразят, вероятно, невесть чего. Невдомек им, сквалыгам кровным, что не каждый обязательно жлоб. Илие чужого не надо, у него своего-то нет, но кому ты докажешь. Подавитесь поминками вашими, не поеду. Стою. Тут кондуктор трубит посадку, там проводник грубит, там бабка мятлушкой забилась в стекло: Димка-внук у нее, извольте видеть, до дядьки в Углич отчаливает погостить. Гляди, сиротка, без варежек в жару не гуляй. Сама ты, глиста худощавая, в оба поберегись, пыльцу бы тебе до срока не обтрясли. Что, папаша, к начальнику обращаюсь, отправку будем давать? А тебе почему интересно? — фуражку надвинул на лоб. Отвечаю, что особенно ни к чему, что я про другое желал бы спросить, а отправка сама по себе не тревожит ни с какой стороны, что — отправка, подумаешь, отправляйте. Про что другое? — надменничает. Вы на рысистых испытаниях присутствовали хоть раз? Не то слово — присутствовал, околачивался я на них, большие средства на тотошке просаживал. Помните, значит, как ипподром-то горел, искры так и летели, не так ли? Как не помнить, так и летели, даже заезд собирались сперва отменить. Собирались, только не выгорело это дело у них — понесли коники траверсом. Со старта, помнится, вырвался Поликлет, трехлетка каурый

от Политехника с Клептоманией, но на второй кобылка Сметана первой зашла, а Поликлетка на третье переложился, но вот кто ехал тогда на нем — уронила память петлю. Уронила так уронила, путеец сказал, но на этом про лошадей, пожалуйста, завершим, а то отправку, будучи из пожилых, срывать не к лицу вам. Задаетесь вы шибко, папаша, нет бы, чем в колокол колотить, пулечку со мной записать по-быстрому. Тут сабля подкатывает: ну, что? Да что ж, пульку отъезжающий записать предлагает. Что же, это не заржавеет у нас, не колесико, лишь карты бы добыть некрапленые. Погодите вы с картами, он же просто отправку хочет сорвать. Помилуйте, дежурный вспылил, прямо шпионство какое-то. Не казните, не повторится, мне, понимаете, колокол ваш думы былые на ум привел, на бегах до пожара висел — ну вылитый. Брякнуло, звякнуло — поехало неудержимо. Крокодиловой кожи заслуженный чемодан в те хитрые годы, пусть сам я не верю теперь, я имел. Почему, впрочем, хитрые — годы как годы, не хитрее других. Чемодан крокодиловой кожи, я повторяю, с замками, в те годы как годы, я, Дзындзырэлла, смею утверждать, имел. Я хватаю его — и дай бог ноги. Хлещет же — не передать. Шли, как известно, и дождь, и поезд, один на Миллерово, второй весь день. Милый брат, Емельян признается, как здорово шпарить нам к тебе в гости в Казань, ведь сколько не виделись. Погоди-ка, тревожусь, а почтограмму ты мне направил? Спрашиваешь, прямо с дороги. Да, бегу, стало быть, дебаркадером, догоняю вагон, а вскочить за отсутствием убеждений боязно. Полотеря в те годы как годы во всевозможных местах, я возил в чемодане мастику, тряпки, потертый фетр и швабры поросячьих щетин. Проводник мой с флажками в чехлах зыком благим из тамбура заорал: отцепись, вдруг сорвешься в просак ты, как многие. Не глумись, кастелянша, над пассажирской бедой, чтоб тебе самому сорваться. А Емельяну я сказал, что ау — не застигнет меня его отправление, и что зря, вероятно, спешит он в Казань — я не выбегу. Вам же, Сидор Фомич, пишу

приблизительно следующее. Раз приходят некоторые к перевозчику, а тот спит беззаветно. Вот это, я понимаю — загадка, ибо это загадка, а не просто крестьянская быль. Не понимаю только, к которому перевозчику: два у нас перевозчика на Итилé. Тот — на той стороне зашибает, этот — напротив — на этой. Первый — Ерема по прозвищу Жох, второй наоборот — Фома, и без всякого прозвища. Кличут человека уважительно, по фамилии, и нечего огород городить, правда же? Погибель — лодочника фамилья у нас. И положим, к нему и приходят: работа есть. Он проснулся — а что за труд? Зачем тщеславишься понапрасну, они говорят, будто перевоза помимо еще в некотором ремесле маракуешь. Учить себя никому не позволю, Фома заявил, выкладывайте лучше факт. А попечитель разбушевался, ногами топает, словно я виноват; я и сам-то себя, сироту, в Казани никогда не встречал, если искренно. А куда же я шпарю тогда, инспектор кричит, отвечай. Попечитель, мудрящих я ваших маршрутов не в курсе, но если проездной документ у вас на руках, то не сочтите за дерзость в него заглянуть — там указано. Быть безысходно в просаках — Ильи Джынжирелы удел. Чтоб тебе самому сорваться, проводник мой услышал мои слова. Так сказал ему сгоряча — а сам и сорвался. Что за комиссия, мол, приятель, оборвался, упал кулем под колеса, и оттяпало бóсую ноженьку, будто серпом. Вижу — кто-то знакомый с клинком с поднебесных стропил слетает помочь. Серафим шестикрылый, дежурный, махни ятаганом разá, отруби-ка всего уж от настоящих мест: зельно болезен, озорный. И начальник подоспел пожурить. Вам-то что, позавидовал, санаторию себе обеспечили, а людя́м выговора по вашей линии получай. Не браните, мокропогодица ж, оскользаешься. Мысль: сорвалась, плакала, по-видимому, экспедиция, улыбнулось Илье последнее целование. И опять я в просаке, когда, гордясь, поручику советую в билет заглянуть. Дуралей ты, он оборвал, попечитель билетов по званию брать не обязан, а когда и возьмет другой раз, то литерный и в любой конец, и гляди ты в этот билет, не гляди — все туман, и туда сего предъ-

явитель отправился, сюда ли — ничего не понять, лишь плацкарта бьется купейная на ветру да талон на получение белья шелестит. Нет, не пыльно вы прилепились, земляк, но, видать, не всегда и везде попечителям выгода. Получается, непопечителям иногда очевиднее, куда им путь лег. Взять того же меня, мне — к Орине, ее мне вынь да положь, направление к ней мне держится.

7. ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

ЗАПИСКА X
По пороше

Рецептов бордосских пропойц,
Что давят шато и де-кот,
Купаясь в точилах по пояс,
Не знает ликерный завод.
Но знает компанья бракеров —
Не знает унынья зане —
Священную силу кагоров
С бордовым осадком на дне.
Немало баклашек хороших
Сего дармового питья
Привозят они по пороше
В ягдташах косого шитья.
Привозят закусок без меры —
Колбасы, консервы, сыры:
Бракеры мои, браконьеры,
Да здравствуют наши пиры!
Но вот загорелась — понеже
Тьма тьмущая перешла —
В беленом гробу побережий
Пуркарского негру смола.
Поскольку охотник желает
Узнать, где жирует фазан,
В ошметках собачьего лая
Нам чудится слово *сезам*.

Сображник! За дряблую щеку
Последний глоток заложи —
Пора уж. Жужжи в получоках
И в чоках, ветрило, жужжи.

ЗАПИСКА XI
Заговор

У Сороки — боли, у Вороны — боли,
У Собаки — быстрей заживи.
Шел по синему свету Человек-инвалид,
Костыли его были в крови.

Шли по синему снегу его костыли,
И мерещился Бог в облаках,
И в то время, как Ливия гибла в пыли,
Нидерланды неслись на коньках.

Надоумил Волка заволжский волхв:
Покидая глубокий лог,
Приползал вечерами печальный Волк
И Собаку лечил чем мог.

У Сороки — боли, у Вороны — боли,
Но во имя волчьей любви
От Вороны ль реки до реки ли Нерли
У болезных собак — заживи.

А по синему свету в драных плащах,
Не тревожась — то день иль нощь,
Егеря удалые, по-сорочьи треща,
Виверриц выгоняли из рощ.

Деревенский, однако, приметлив народ,
У Сороки-воровки — боли,
Проследили, где дяденька этот живет,
И спроворили у него костыли.

И пропили, пролазы, и весь бы сказ,
Но когда взыграла зима,

Меж собою и Волком, в дремотный час,
Приходила к Волку сама.

У Сороки — болит, у Вороны — болит,
Вьюга едет на облаках,
Деревенский народ, главным образом —
бобыли,
Подбоченясь, катит на коньках.

И от плоского Брюгге до холмистого Лепп,
От Тутаева аж — до Быдогощ
Заводские охотники, горланя: гей-гоп! —
Пьют под сенью оснеженных рощ.

Как добыл берданку себе инвалид,
Как другие костыли он достал,
И хотя пустая штанина болит,
Заводским охотником стал.

ЗАПИСКА XII
Философская

Неразбериха — неизбывный грех
Эпох, страстей, философов досужих.
Какой меня преследовал успех,
Что я не разбирался в них во всех,
Вернее, разбирался, но все хуже.

Когда ж мне путь познанья опостыл
И опостынул город неспокойный,
Я сделался охотником простым,
А уж затем заделался запойным,
Со взором просветленным и пустым.

Люблю декабрь, январь, февраль и март,
Апрель и май, июнь, июль и август,
И Деве я всегда сердечно рад,
И Брюмерам, чей розовый наряд
Подчас на ум приводит птицу Аргус.

Теперь зима в саду моем стоит.
Как пустота, забытая в сосуде.
А тот, забытый, на столе стоит.
А стол, забытый, во саду стоит.
Забытом же зимы на белом блюде.

Повой, маэстро, на печной трубе
Рождественское что-нибудь, анданте.
Холодная, с сосулей на губе,
Стоит зима, как вещь в самой себе,
Не замечая, в сущности, ни канта.

ЗАПИСКА XIII
Валдайский сон

Накануне первых звезд
От угара плачу —
Мерзни, мерзни, волчий хвост,
Грейся, хвост собачий.
Дрыхнет Кот у очага
И храпит немного,
Из худого сапога
Вылезает коготь.
Снится этому Коту-
-Воркоту Валдая:
Сидят волки на мосту,
И Кот рассуждает:
Если б я Собака был,
Я любил бы Волка,
Ну, а если б волком выл,
По Собаке б только.
Погляжу ли из окна,
Из другого ль гляну —
Вся в снегу стоит сосна
На снегу поляны.
Идут ведьмы на погост,
О своем судача:
Мерзни, мерзни, святый хвост,
Грейся, хвост чертячий.

Все сине. И вся синя
Слюдяная Волга,
Едет Пес по ней в санях,
Погоняя Волка.

ЗАПИСКА XIV
Подледный лов

Ни рыбы-севрюги в реке не живут,
Ни рыба-хаулиод.
Чего ж я, как рыба-удильщик, тут
Раззявил над прорубью рот.

А ты бы, дядя, домой хромал,
Потехе, как говорится, час —
Зари обремканной бахрома
В Европу завесила васисдас.

Отзынь, Запойный, на три лапти,
Отбрил я себя сам,
Не лепо ли бормотухи хватить
С хлебной слезой пополам.

Кого это там еще Бог дает —
С лампою, на коньках...
Никак Алладин Батрутдинов идет,
Татарина шлет Аллах.

Ну ты и горбатый средь наших равнин,
Хирагра тебя еры,
На кой тебе лампа, чуж-чужанин,
В дремучие эти поры?

Якши, мармышка, поймал ерши?
Проваливай, конек-горбунок,
Ты есть наважденье, хвороба души,
Батрутдинов сто лет как йок.

Упал в промоину, катясь в кино,
И хоть выплыл, да через год:

В карманах чекушка и домино,
И трачен рыбами рот.

Выловили — не припомню числа —
Дед Петр и Павел-дед.
Чекушку распили, забили козла
И вызвали кого след.

Умчался. Право, такой стал плут.
А был — честнейший бобыль.
Ни рыбы-химеры в реке не живут,
Ни рыба, к примеру, горбыль.

ЗАПИСКА XV
Архивная

О, как мне душно будет
Когда-нибудь в пыли
Архива, его полок,
Эх, скушно будет мне.
Однажды и в пенсне
Нагрянет архивист.
Во мне он станет рыться,
Копаться, разбираться
В каракулях — найдет:
Рисунок и портрет,
В кунсткамеру билет,
И среди остальных —
Записку эту вот
И о себе прочтет.
И он смеяться станет:
Ха-ха, на весь архив,
Охотник архаичен,
Беда как неприличен,
Однако прозорлив.
И как он счастлив будет
Находкою своей.
И будет, просто будет,
А я-то уж не буду,

Ни в праздники, ни в будни,
Но как мне вечно будет
От времени вдали,
Вдали от обязательств,
В стесненье обстоятельств,
В удушливой пыли!

ЗАПИСКА XVI
Стих о прекрасной бобылке

Над кофейника носиком пар,
Словно капитулянтский флажок.
Нацеди кофейку, мой дружок,
Восхитителен этот навар.

Повевай, про Бразилию весть —
Аромат, что премного воспет.
Не беда, что бразильского нет,
Хорошо хоть с цикорием есть.

Нас так балует мало судьба,
Что и цикорию рад, как эрзя,
Ведь не сами ль мы чей-то эрзац,
И не наше ли дело труба.

Посему, не взирая на то,
Что бобылок прекрасных — полно,
Объявляю, что мне все равно,
Кто мне штопает шарф и пальто.

Оттого, хоть из лести не сшить
Лисьей шубы, скажу не тая:
Ты прекрасна, бобылка моя;
А портрет — так с него же не пить.

Неспроста перочинный вострю:
Близок ангела день твоего,
Подарить не придумав чего,
Шкуру вепря тебе отмездрю.

Завари же в преддверие тьмы,
Полувечером, мнимозимой
Псевдокофий, что ложнокумой
Квазимодною даден взаймы.

ЗАПИСКА XVII

К незнакомому живописцу

Старина! как сербу чизма
Из Хорватии тесна,
И как милая отчизна,
Или собственная тризна
Зачастую нам скучна,
Так и наша укоризна
Вам, художникам, нужна.
То ли спутал ты, дружище,
Впечатленья от веков,
То ль писал ты Городнище
Совершенно без очков.
Ибо ловчие в кафтанах
И немодных башлыках
Мне по крайней мере странны,
А тем более — в чулках.
И не кончится забава
Ни добром и ни бобром,
Если выйдем мы в облаву
Не с берданкой, а с багром.
На котором, между прочим,
За спиною у стрелка
Все качается, всклокочен,
Образ волка-тумака.
Обстоятельства же наши
Ты повапил, словно гроб:
Позлащенные ягдташи
Сторонятся здешних троп.
И чресчур благообразны
Три красотки кубаре,
Опаляющие праздно
Поросенка на костре.

Мастер мой, та дольче вита
В осененье острых крыш,
О которой всей палитрой
Ты столь искренно скорбишь,
Перешла, быльем повита,
Но вороны те же; кыш!
Тем не мене — взор пирует,
Кинь его туда, сюда:
Приворотное чарует
Зелье неба, снега, льда.
В пору сумерек щемящих
Конькобежцев визг щенячий
Раздается вдалеке —
На прудах и на реке.
Был бы я купец какой-то,
Полотно бы закупил
И повесил бы над койкой —
Лег и сам себя забыл.
Но поелику пропойца,
Куплю зелена винца
И узрю твой жанр в оконце,
Из-под пятого венца.
Вот она, моя отчизна,
Нипочем ей нищета,
И прекрасна нашей жизни
Пресловутая тщета!

ЗАПИСКА XVIII
Преображение Николая Угодникова
(Рассказ утильщика)

Нет, недаром забулдыги все твердят,
Что по Волге нет грибов милей опят,
И напрасно это люди говорят,
Что водчонка — неполезный очень яд.
Это мненье, извиняюсь, ерунда,
Нам, утильщикам, без этого — никак.
Предположим, даже примешь иногда,
Но зато преображаешься-то как.

Раз бродили-побирались по дворам,
Выручайте Христа ради-ка гостей,
Выносите барахло и прочий хлам,
Железяки, стеклотару и костей.
Пали сумерки, и снег пошел густой,
Не бреши ты, сука драная, не лай.
Мы направились к портному на постой,
А с нами был тогда Угодник, Николай.
С нами был, говорю, Угодников-старик,
Поломатый, колченогий человек.
Мы — калики, он — калика из калик,
Мы — калеки, он — калека средь калек.
Нет у Коли-Николая ни кола,
Лишь костылики. И валит, валит снег.
Непогода. И галдят колокола,
И летят куда-то галки на ночлег.
А летят они, лахудры, за Итиль,
В Городнище, в город нищих и ворья,
А мы тащим на салазочках утиль,
Три архангела вторичного старья.
Час меж волка и собаки я люблю:
Словно ласка перемешана с тоской.
Не гаси, пожалуй, тоже засмолю.
Колдыбаем, повторяю, на постой.
А портняжка при свечах уже сидит,
Шьет одежку для приюта слепаков.
Отворяй давай, товарищ паразит,
Привечай уж на ночь глядя худаков.
Как засели дружелюбно у окна,
Ночь серела — что застираны порты́.
Не припомню, где добыли мы вина,
Помню только — насосались в лоскуты.
Утром смотрим — летит Коля-Николай:
Костыли — как два крыла над головой.
Обратился, бедолага, в сокола́:
Перепил. И боле не было его.

8. ЗАИТИЛЬЩИНА

Зачерпнул я, читайте, сивухи страстей человеческих, отведал гнилья злообразных обманчивых жен, и отрава едва не придушила меня. Сумерк длился, и морок был, а на рассвете открылась, как рана, неутишимая алчеба по чистому, по незамутненной воде. Препоясался я чем пóпадя и пошел, выражаясь условно, на самую глубь, юля. Что есть счастье, и что есть несчастие, милый Вы мой? Не пасуйте, ответ незатейлив: счастие — это когда оно есть. Но не сетую, перемелется. Отзвеним неточеными, отболим кумполáми дубовыми, отдурим и отпляшем, и отчалим однажды по утрию в Быгодождь. То-то пито будет во имя нас, то-то слез лито, то-то воротов понарвут друг другу приятели на девятый день. Прежде мы провожали, плывя в челноках шумно, а теперь другим пировать следом в стругах, нам же тихо лежать на переднем подошвой врозь. Сам Погибель Фома ради такого случая стариною тряхнул — за весла сел. Он грести-то гребет, но и карманы нашего парадного обмундёра обшаривает втихаря босиком. Зря стараешься, дорогой, до тебя все прорухи обчистили, ни махорины нет. Что Вы, что Вы, не сетую — станет мука. Много бродил я, трудился и выбивался из жил, обаче более бил баклухи. Взматерел я и выстарел, залоснился и вытерся, как в обиходе хомут. Тертый калач прошлогодний я сделался, мозоль и хрящ, а не вечор ли был сдобою. Обернусь, заломя треух, оглянусь на себя, поспешающего в рогожке пестрядинным путем — высоко мне там, близко к Боженьке, там славно мне. Залюбуюсь. Кто я, спрашивается иногда, и кому. Брат и сват я кому-то, кому-то кум, а бывает, что вовсе зять — ни дать и ни взять. Но бывает — никто никому, сам себе лишь, и то не весь. Ныне — пройда и бражник, валюсь в лопух, завтра — лунь я болотный, кычу совой в бору. А просплюсь — и пророк опять. Это что еще, вот когда-никогда путем пестрядинным точить иду: стал Точильщик, кустарь посторонних солнц. Там, по правую руку, Стожары-пожары горят,

тут, по левую, — Крылобыл, косолапый стрелок, пули льет. Позади у меня Медицинские Сестры, впереди — Орина-дурина и чадо ее Орион. Много бродил я по мироколице и много созвездий определил. Есть созвездье Бобылки, только не разбираю, какой, есть Поручики, Бакенщики, Инспектора. Есть Запойный Охотник, заводной в миру бузотер, мужик правильный — жаждой неугасимой, удалью исключительной до кимрских коженных слюз включительно пресловут. Пишет нечто, листает — позвольте ряд мыслей выдержать? Не превратно ль, доказывает, вино сего года в старую бочку лить, разорвет оно ее по всем швам, искарежит вещь и, что обиднее, само вытечет. Добрый, добрый совет, возразить нечего. Единственно — не про нас, не про нашу Заитильщину небогатую он, ибо как бы это нам винища столь себе раздобыть, чтобы всю бочку — без разницы, новую там или б/у — затарить враз, на какие, с разрешения усомниться, таковские. Куда полезнее иной там урок. Нечего, учит, приставлять целые заплаты к тряпью рваному — неказисто. А потом — целое-то к чему раздирать. Вот это — про нас, это мы понимаем. Но, признаться, и оно ни к чему как-то фактически, ведь имеем ли новое что-нибудь среди хламоты нашенской. И еще один случай произошел. Сеял, якобы, сеятель. Неясно, где — на Рунихах, на Лазаревом ли Поле, у Бабкина ли Креста. Тоже было: сошлась одна богаделка с Зимарь-Человеком в лесах — и Кондратий ее с испугу хватил. Постепенно находят. Очи у нее ворон выклевал, грибки в туеске червячок поел, а бор как стоял — так и стоит вокруг, пока не сгорит. И вкопали на той поляне на память крест. Сеятель же одно зерно при дороге бросил, другое на камни какие-то уронил, третье в чертополох, и лишь четвертое более или менее удачно поместить ему удалось. Итого, одно зерно кречет усвоил, второе — коршун, иное — перепела. А вы как думали? Им продовольствоваться хочешь-не хочешь, а тоже крутись. Зато четвертое взошло с грехом пополам и выдало ни с того ни с сего урожай непомерный — сто зерен. Почитал я ту книгу охотникову и осознал: перемелется. Не волнуйтесь, наблюдается

посреди нас и созвездие Пожилых. Если снизу смотреть, два локтя Вы повыше располагаетесь Зимарь-Человека звезды. Словно пригоршня светляков Вы. Тот же светит, как крупный фингал впотьмах, хоть на поверку и мухортный. Егерь данный как личность в обычных летах, но сам собою видный, заметный. Оспа портрет ему слегка изменила, еще — дробью охота его потратила, нос — морозом, вином нажгла, а лис ему бешеный ухо отгрыз: понимаем ту бабушку. Вижу — Зимарь супругу теперь губить повез, не вытерпел, Даниилы мои с Гурием-звероловом под городом воскурили, беседуют, а Илья Дзынзырэлла в отхожей местности старшой объявил: жадаю ракушек твоих, мне их побольше давай, соль и спички имеются. Всюду сумерки, всюду вечер, везде Итиль. Но там, где Зимарь-Человек телегой скрипит — заосеняло с небес, у коллег в Городнище завьюжило, а на моей Волка-речке — иволга да желна. Поступаю, как старша́я велит, и вступаю по колено в волну. Набиваю суму переметную я битком и развожу костерок. Слышу — мастера в декабре под горой гудят. Речь у них, главным образом, про Петра, недостаточно ясно точильщикам, что с ним такое. Возвратился тогда Егор к сидням на косу и сказал им, что нету ему после той дамы развеянья от бытия ни в чем, хоть вешайся. Те утешать: повеситься ты всегда успеешь, спорить лучше давай. Спорить так спорить, Петр, заядлый, согласился тотчас. Знаешь ли селение Вышелбауши? Знаю, завод лесопильный там, как бы, работает. Верно, давай мы, значит, спорить пари, что не спроворить тебе оттуда хотя бы одну балясину, а когда и спроворить, то сла́бо тебе на ней удавиться, слабо, вряд ли, пожалуй, удуши́шься ты на ней, запасуешь, кишка тонка, и так далее. Э́то сидни Петру на косе говорили, это они, сидни, твердили Федору, а у Ильи дело к ужину, ракушки на угольях пеку. Скис ветерок и рябь на воде ли, в душе ли на место вся улеглась, и соловей тут в ужовниках пули льет. Кто про завод — я про фабричку. Голос был мне: имей в виду, учредят в грядущие сроки фабричку при устье Жижи-ручья, не какую-авось, так себе, а пуговичную. Как

учредят, как запустят, да как пойдут пуговицы изготовлять — так сразу застегнутые все станут ходить наглухо. И потребуются перламутры в количествах — только подтаскивай. И откроют при фабричке точку, но не коньков, а приемную, и начнут от населения всей державы ракушки брать, ибо довольно-таки в них перламутров скрывается. А кто более остальных полезного сдаст, того фабричка челноком подарит. По-хорошему тебе говорю, голос был, не ленись, собирай сокровища. Много бродил я и много ужинал, и ракушек опустошил — несть числа. Створок порожних, благоустроенных ладошек нищенских на манер, створок бесценных, с исподу матовых, припрятал — страсть. Прятал открыто, разбрасывая по земле, потому что вещь, на виду лежащая, — она укромней всего лежит. Так что Вы, эту тайну выведав, чур-чура, не приходуйте перлы мои, буде обрящете. Ну, в руках повертеть — повертите, запрещать не хочу, но повертели — и кладите назад, где взяли, иначе Карл у Клары украл кораллы получится. Настоящее прошу передать по команде, чтобы усвоили, табакуры же в первый ряд. А то моду взяли — все под пепельницы приспосабливать. Ужо им, настанет, знаете ли, некоторый день. Как завижу — баржи с пилильщиками поволокли бревенчук пилять, то хватаю мешок поуемистей да поцелей и чешу торопливым аллюром по бивуакам старопрежних пиров. Соберу, сдам по адресу — ладья моя. Не худой, все заметят, Илья себе челночок прикукобил, не так себе. А вы как думали, я скажу, полагали — лыком я шит, дулей делан? надеялись — мякина у точильщика в котелке? Нет, завистники, нет, нехалявые, это лишь с виду я юноша немудрой, понарошке только к навозу жмусь. Светлое будущее у меня настанет тогда с яликом личным. Вот когда мы за ягодами лесными в Заволчье повадимся, грибники ль записные. А то я приглашаю радушно, а с транспортом напряженка. Все же верю — в свое время и на ту сторону попадем, давайте лишь выдержку отработаем. Сапоги, повторяю, достаньте — кровь из носу, крапивой щиколки обстрекать по лощинам — пара пустяков, да и змея в буераках держится.

Да, и дождевик прихватите, вдруг дождь. Здравия желаем, долговязый Вы мой в макинтоше и в кепаре, залезайте, корма скучает по Вас. Мяты, медуницы, болиголова я там подстелил, чтобы Вам пахло недурно, чтоб ненужный запах отбить. И отчаливаем, наконец, с прибаутками и с козьими ножками на губах. Верней, Вы в последний момент закапризничали, отказались — и я в одиночестве отвалил. Отвалил я пошляться в свои мировые орешники, которые завещал мне однажды осенью один старожил. Завещал, показал, а к весне отойти предпочел он к умершим. Но орешники действительно хоть куда, в гранке каждой орехов, что у приблудной козы, не в обиду ей будет сказано, под хвостом катяхов. Правда, к стыду моему ни разу я после имение это недвижимое не навестил. Что за притча, зачем я туда не направлюсь уже на артельском челне? А затем, что пропили мы артельский артельным же способом раз двадцать пять. Пареной репе подобен, но всякую снасть или живность дозволяет пустить в оборот не единожды. Нету денег порой; ничего, дело ихнее, зато есть кот. Не у нас, понятно, точильщиков, нам ни к чему, мышь железа пока не кушает, у мельника, видите ли, имеется кот. И прикидывается один из шатии перехожим каликою и переходит к мельнику на бугор: какое это село тут будет у вас? Не обессудь, Малокулебяково, мол. А я думал — Мыломукомолово тут будет у вас. Нет, Мыкомулоломово — песня давняя, Мыкомулоломовым мы прежде звались. Хм, а Милокурелемово в таком варианте где? Малокулелёмово, рече, в другой стороне совсем, у нас мало никогда не кулёмали. И покуда он с мельником чепуховину эту мелют, пролазы наши за амбаром кота караулят с мешком. Кличет мельник на туманной заре ангорца сибирского, бродит, зычный, по-над Итиль-рекой, а тот — далече. Не дрейфь, растяпа, в добрые руки починщики его сбудут с рук. Сразу и новая смена рукава засучает. Верю, и сотрудники не подведут, мурлыку у покупателя со двора сведут тем же способом. Сходственная катавасия наблюдалась и с челноком. Не скажу теперь, у кого мы его впервой утянули, слишком событие удалено, да и

не суть это важно. Замечу только — сплавляли затем многажды и регулярно и тоже всенепременно понятливым. Напоследок, однако, срезались, осрамились, загнали весьма безответственному. По совершению купчей, после заката, в куриную слепоту возникаем как тать у прибрежных колов, где по сведениям прогнозов сударь сей лодку нашу намеревался держать. Смотрим — нет плоскодонки, лишь груда щепы лежит. Выясняется. Меж тем, как мы с беднягой торговлю вели, у него как раз баньку обчистили. Ковш забрали, мочало, обмылок и казанок. И сетку заодно выдрали из ручья, поскольку баня та при ручье. Егерята промыслили, сомнений на этот счет не лелеем. И когда покупатель приплыл на обнове домой и обнаружил ущерб — он тогда весь затрясся. Зачем смеешься, черемисы одни спросили, посиживали невдалеке, за воротник закладывая: что ли весело? Как же мне не смеяться, Вася этот — потому что это был он — отвечал. Как же мне не смеяться, он отвечал, сквозил мне в буреломе судьбины разъединственный огонек — мережа дыра на дыре, и мечтал в рыбаки податься, дощеник все желал прикупить. И проследите: то челн уке́ — снасть э-э́, а то челн э-э — снасть уке, ее выкрали. Нет, неправильно Михей Марафетин учил, будто всякий ставит брату своему сеть; здесь картина обратная: ты, брат, ставишь, а брат твою сетку тащит. И сотвори Василий топор и поруби наш струг за ненадобностью в ликованьи сердешном. Вот и обезлодили мы на старице лет, прогуляли ушкуй свой артельным путем безвыгодно. Как же, говорит, не смеяться.

Все-таки, положим, Фомич, промыслили мы с Вами посудину. Снарядились, достали и сапоги, и лукошко, и плащ; и что характерно — я отвалил, а Вы воздержались. Я всполошился: загрипповали, хвораете? Нет, здоровье по норме, хлопоты просто по службе наметились — с письмишком твоим спешу ознакомиться, а грибы мои, к сожалению, меня подождут. Истина Ваша, синица верней журавля; ознакомьтесь, вселите надежды великодушно. Отпихнулся чем водится —

и пошел жуком-водомером безвредным рывками ширь мерять. Точно как чибисы уключины плачут, ничуть не смазаны. Замечаете, погодка установилась — шепчет, давешней не чета. Не стрельнуть ли у Вас по этому случаю двоечку папирос, одну в зубы, вторую за ухо, про запас. Лепота невозможная. Бор — красный, лес — лис с подпалинами, Итиль — медом потек перламутровым — ложкой ешь. И вода просвечена, что луной, и ведомо-неведомо пустылок на дне, и нашлепку любую читаешь ярлычную запросто, как сквозь прилавка стекло. Поднырнуть бы, собрать бы сосуды бесхозные — да в Слободу. А? Что Вы, пустые мечтания, глубоко непомерно, а вовсе не водолазы мы. Вот пиявкам — доступно, сосут. А караси-то здесь где, ерши эти самые? Пригляделся — кемарили в ямах, в тени берегов, под корягами, и Орина плыла надо мной, ляжки ее разводя по-лягушьи, совсем. Будто в зеркале плыла она наверху, будто блазнилась, и волосы длинные тянулись, как тина вдоль боков и спины, груди же — чтоб не соврать — ходили парой крупных линей меж рыб. Из далекой близи моей мог без зазрения совести впечатление от женщины получить, и рассматривал всю, поскольку хватало воздуху, а когда не хватало — выплыву, подышу и назад. Статью своей разбитной нарочито гусей дразнила в Илье, но характер держал, не давая нервам амнистии, и терпенье хранил горделиво — дразни-дразни, нам, сиротам, не привыкать, мы вытерпим. Но поимей в виду: как набью я оскомину долгой мольбой, как принужу тебя, курносую, по всем статьям — уж попарю я, паря безродный, корягу плоти моей бессовестно, поманежу, как следует быть. Что ракушек касается, то и они, они тоже там были раскиданы. Эти просто раскиданы, лежали, отсвечивая, иные ползли старательно, не известно куда, и при том оставляли на грунте податливом, зыбком такие следы, будто Горыныч напо́лзал их, тонины небольшой. Спички и соль, намекаете, имел ли я при себе? Не совсем: в числе остальных специальностей находились в одеждах, а те, в свой черед, в скабиозах, в чапыжниках. До искалеченья — и даже поздней — до той бобылочки вплоть, которая пистоны

позастрочила намертво, дабы руками я попусту в карманах не шуровал, все достоянье хранил я обычай прадедов там содержать. Ныне манатки складирую частью в суму, частью в пустую штанину подвязанную — комфорт. Не было бы, говорит, удачи, да неудача была. Ну и вот. Что предсказывал я Орине в уме — то и сделалось. Навещаю по старому стилю того же июля числа, понимаете ли, двадцатого, у Ильи именины, а у нее выходной отгул. Неужели в апартаментах торчать — айда пошляемся. Пятый час. Воздух стыл его слабый, трогательный, но ляги, поди ж ты, расквакались, как ненормальные, зачуяли настроенье мое. Было мелочью рублей при себе четырнадцать, на станции с утра насшибал. Из них под платформой только обрел до рубля — растереха еще у нас пассажир. И вообще красота под перроном, уютно — коптишь, покашливаешь, и всем на тебя наплевать, где ты есть, или, может быть, кто. Наоборот, ты сквозь щели меж досками любопытствуешь и провидишь все досконально; некоторые, к примеру, барышни вообще почему-то без нижнего. Ну, и Орина аванец накануне взяла — гуляй, рванина. Был-имелся в те хитрые годы как годы трактир — не трактир, лабаз — не лабаз, а давай читать — забегаловка. Отстояла она от бараков — рукой подать, ближе близкого, фрамугами лупилась на тракт. Отоварились — и приютились за дамбой, в акациях, в самой дреме́. Оре я, как не нами заведено, лапсердак подстелил, сам — просто так. Закусили; таранка азовская вяленая, третий сорт, — та и сейчас перед глазами стоит. Спели, попели, потом я несколько рискованных приключений на память привел. А замолаживало, гроза от хранилища заходила, и пожалел я об этой затее своей, потому что достали нас — прямо достали квакухи хором большим. Мыслил я тучи вспять завернуть, да лень одолела, назюзился и размяк. Бог с ней, думаю, пускай гремит, скрытная вода в облацех, авось пронесет. Ан пролилось. На поляне пристигло нас, у самых качель. Поугрюмело все, зашаталось, закапало. Побежали, торопит. Сама на берег влечет. Там карбас перевернутый ничейный на гальке валялся ничком,

и рогатина невысокая его подпирала под обечайку, чтоб можно было подлезть. Спички подмокли, но кремень и огниво не отказали — трут подпалил я в момент. Щепок хрустких и гильз отработанных папиросных — всякой горючей мелочи нашлось в избытке; сварганился огонек. Озарило прекрасно светом этим Орину, осияло заодно и Илью, и пошли по обводам шершавым тени наши ходить. Шел бабай по стене, нес семеро лаптей, и себе, и жене, и дитенку по лаптенку, я ей, помню, сказал. Хлынь обшивку когтит и когтит, а нам — сухо, беседуем, на ветоши прилегли. Посвятил ты меня в свои случаи, подруга мне говорит, а желаешь — и я тебе что-либо поведаю.

9. КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Друг семьи, разъездной чиновник, чьи предки, сицилианские негоцианты, прикатили когда-то в Россию за партией tarantasos и на обратном пути навечно застряли в непролазной грязи где-то меж Конотопом и Сызранью, и чей портрет блистает отсутствием в экспозиции, принимает участие в нашем герое. Когда последний, по выражению первого, входит в действительный курс респектации, чиновник рекомендует юноше пуститься по своим стопам и составляет ему протекцию для поступления в разъездное училище. Судьба художника была решена. Лик его, наделенный приметами изысканной чувственности, выделялся из лиц остальных наездников ясной высказанностью характера и томнооко и полногубо реял над кавалькадой. Физиономии же однокашников были посредственны, уши у многих, словно бы для того, чтобы лучше улавливать цокот копыт, безнадежно оттопыривались. Из окон класса всякий час — река-клоака, и зачастую восторженный отрок дерзает морячить по ней на монструозном корыте. Как неотвязно за лопастями весел тянется и бумага, и тина! Янко не боится ни ветра, ни волн, вырастет — очнется в сумерках бытия кухмистером скользкой

от сала кухмистерской. Методическое помешивание черпаком, коловращение скверно пахнущих жиж вдруг живо напомнят картины беспечной давности, пору лодочных одиночных гонок с самим собой — воспаленным, мозглявым, когда по утрам хари окрестных строений обморочно зияют в грязно-желтой больничной мокроте окраинных растуманов и та — верно, рябая и гнилозубая — девочка за фанерною перепонкой, собираясь в свои дефектологические университеты, хнычет над рассыпавшимися по полу школьно-письменными принадлежностями и поет безмотивно и нескончаемо — дождик-дождик, перестань, я поеду в Арестань: одиннадцатилетняя, заячьегубая, пьянозачатая, — а ты на заре своей бедной юности просыпаешься, обсыпанный цыпками и лепестками белил, отлетевшими от потолка, просыпаешься, стараясь понять: ты ли это или кто-то другой просыпается тут и не знает: он ли это или кто-то другой, например — тот же ты, но такой же затурканный рахитос просыпается здесь, обреченный невзгодам малокровного дня, а мать шелестит газетой, шуршит плащом, хрустит замком и уходит в бухгалтеры в пошивочную имени политика Разина: Степан Тимофеич, куда вы задевали гроссбух? Между тем, среди разъездных механизмов образца батальных годов шагал неладно скроенный да крепко пошитый лихой военрук в подтяжках, предупредительно облачив стул в добросовестно отутюженный френч. Прибывал доброутренний, по-гвардейски румяный, с четою бесстрашных, словно бы полных ужаса, пепловатых навыкате глаз. *Портрет военрука*. Шагал нешироко, оловянно и, моросяморзянкой, доносил, что первое применение танка в бою произошло бабьим летом шестнадцатого на Бзуре. *Война*. Воздух сер, равнодушен, недвижим. Дождь перепал накануне, сонные прифронтовые растения медленно обнажаются. И когда стрельба затихает, слышно, как слетают, пикируя, по-жестяному тяжелые листья дуба в дуброве, и базарят вороны в той же дуброве на гладкой торжественной высоте, обозначенной на топографических картах отметкою двести семнадцать. Кроме того, слышно, как в лесопильне кто-то

пилит пилою, а некто, но тоже на лесопильне, пиликает на концертино. А в траншеях и сапах противника, за спутанными, ужасно окислившимися, колючими проволоками, за кучей-малой разношерстных, разноплеменных ощерившихся и босых мертвяков, австрийские флейты, контрапунктируя с мадьярскими барабанами, высвистывают надоедный Марш Кайзеровских Охотников, чуждый русскому сердцу донельзя. Словом, к зиме вид из окна класса делается слишком однообразен. И разве не очевидно, что он тем статичнее, чем более изучаешь его. И не всяк ли разумный, спешащий в путь свой, Ахиллу подобен: никто не в состоянии догнать свою черепаху, достичь ближайшего чего-то, чего бы то ни было. Анкета глубокой осени. Профессия — прохожий. Место работы — улица. Стаж работы по специальности — вечность. Не лучше получается и с другими принципиально способными перемещаться объектами — они не перемещаются, убеждая сомневаться во всем. Непозволительно затягивается перелет стай. Над ребристыми, мутно-бордовыми кровлями парят они, куртуазно пошевеливая краями крыл. В парке — духовой оркестр, но свободных мест на скамейках — полным полно. Естественно, что звук плывет, как если бы граммофон напрочь выдохся. Пусть. То же относительно всякого рода движения, а верней — недвижения, относительно статичности всего *Городского Предзимья*: пусть. Шли уроки словесности. Башмаки этого преподавателя, на которые парой использованных одиноких гармошечек ниспользали носки, были на редкость изношены, были разбиты. Сдавалось, вы зрите обувь заядлого ходока, завзятого пилигрима, калики, а то и самого Агасфера — известного сапожника без сапожной, снискавшего своей опрометчивостью вселенскую славу — раскаявшегося, но получившего-таки поделом. Но относительно статичности городского предзимья — пусть. Но неожиданно на экране окна пошло черно-белое немое кино *Первоснежья*, и если улица до сих пор не дарит унылому взору энергичных субъектов, благоволите найти их, представить, вообразить самому себе и, не мешкая, спроецировать на экран. Нате в некогда

модных клетчатых кепи мальчишек-газетчиков, вопящих сенсационные шапки. Благодарю вас, но вы не учитываете, что сенсации официально отменены, те мальчишки ушли на покой и газеты продаются только в киосках. Значит, следует показать бывших мальчиков, ставших ныне живым воплощением неизлечимых недугов, а сенсации — за неимением нынешних — набрать вчерашних. Вон они, мальчуганы, чешут по мосту вдоль чугунных имперских с орлами решеток, пытаясь сбагрить встречным ахиллам так называемые свежие номера. Впрочем, чешут — сказано сильно; однако в сравненьи с ахиллами даже и чешут. Обратите внимание, некоторые передвигаются на инвалидных колясках, а одного обрядили уже в последний путь: дубовую обузу поставили на полозья, и сослуживцы почившего влекут ее по свежей пороше. Как вы находите эти лица? Они затасканы. Неужели время не пощадило их? Никоим образом. Так-с, а души? Увы, души искалечены до неузнаваемости, просто гроша ломаного не дашь. Марш угрюмых субъектов с желтыми от желудевого кофе клыками в морщинистых ртах, с пачками пожелтевших от злости и лживых нападок листков под мышками, конвульсируя виттовыми телами и жестоко гримасничая, совершал продажный ход по маршруту А-трэма. Так называемые белые мухи роились над разносчиками, слепили их, щекотали им угреватые, переспелые их носы и, как перхоть, — почти столь же густо — облепляли их плечи. Распространители спотыкались о земные неровности, падали, шлепались, рассыпали несомое и, чтобы собрать, на карачках ползали дальнозорко. Все-таки они были очень тяжелые, те грошовые кипы. Но, может, то были совсем не газеты, может, пенсионеры вынесли на продажу истории своих болезней — такие тяжелые — таких тяжелых? Нет-нет, то были как раз газеты — истории болезней истории — такие тяжелые — таких тяжелых, а истории собственных болезней газетчики носили себе, сами являясь историями этих заболеваний. Бедные престарелые: они долго не могли одолеть чуть заметную горбинку замостия — гололедица. Едва

не достигая вершины, сотрудники по очереди соскальзывали вниз вместе со своим историческим грузом, причем одни удерживались на ногах, но не другие. Съехав к подножью, предпринимали новое восхождение и снова съезжали — сизиф за сизифом: потеха! А теперь дайте звук. Забирайте. Сначала хрипы и стоны, астматический кашель, шарканье обуви, харканье, всхлипыванья и т. п. После кто-нибудь что-нибудь потерявший вопит: да где же мое что-нибудь! Ответом — безмолвие, всем недосуг, каждый отвлечен процессом движенья — процессия. Процедура влачения импровизированного катафалка — звуки влачения. Крик: свежие новости! Клик: Русские Ведомости! Затем все разом, но разное: Голос! Новое Время! Биржевая! Петербургский листок! Сопение пневматических тормозных устройств — трамвай нагоняет и обгоняет прессопродавцев, и хлопотное лопотанье двенадцати пар колес, хоть и звучащее под сурдинку снегопада, глушит этот нестройный ор. Наконец последний вагон показал ветеранам овальный тараканий зад с торчащей и ворочающейся колбаской фаркопфа, с буквой А, шагающей агрономическим аршином, и с тихими человечьими мордами за мутными бычьими пленками тамбур-площадки. Часы над воротами парка военного отдыха свидетельствовали наиболее скушное время суток — пики откозыряли час и зашли под второй. Японию навестила ночь, и каратисты Хоккайдо, нахыкавшись, дрыхли на своих татами. В Китае рубили собачьи головы. Турция пахла кофе и табаком. В Албании, несмотря на землетрясение, у дома, где жил патриот Кастриот, ликовала толпа смугловатых зевак. Румыния опохмелялась рымникским, ноги делались легкими и сами пускались в пляс, никто не ведал, вторник или четверг. Безработная Италия весело ехала под оливами на похищенных велоциклетах, и лира, как всегда, ни черта не стоила. Маяки и ревуны Гибралтара бодрили штормующих мареманов, а тут, в России, в бывшей потешной деревне Ботфортово, отставные газетные сорванцы тщились сбыть отставные новости. Свидание императоров в Гоштейне! Башибузуки вырезали пятнадцать тысяч в Болгарии!

На Шипке все спокойно! Сибирская дорога построена! Цзай-Сюнь приговорен к харакири! Эвакуация Маньчжурии! Инцидент в Касабланке! Выйдешь — поневоле тяжело — хоть плачь, смотришь, через поле перекати-поле прыгает, как мяч, диктовал Агасфер. Перья старались. Парки и Мойры приговорили учащихся к разъездной жизни, и впереди у них было все золото мира. Светало. Еще в Лапландии не доили коров, еще в Назарете не кричал муэдзин, а на охотничей мызе французского короля все еще пили chartreuse. Наболтавшись о куртизанках, балах, с кубками вываливались на балкон и, вырывая друг у друга рожок, мычали звездам жалобу молодого быка, заколотого на каталонской корриде. Потом стреляли на воздух: выстрелы были слышны даже в Версале. Борзые там беспокоились, полаивали, стража вздрагивала и просыпалась. Фрейлины в пеньюарах и с ночниками в руках сплетничали на галереях: о, mon Dieu, когда он только остепенится — Monarque, а ведет себя, как Gavrouche. Друзья, провозглашает тот, стоя у балюстрады в окружении свиты и своры, я предлагаю тост за того удальца, который залпом осушит ствол моего мушкета, полный бургундским. Выносят. Приклад инкрустирован. Хозяин передает оружие одному из участников: отведайте, mon cher. Графа постигает неудача: он не в состоянии выпить и половины. Ствол пополняется и под хохот охотников вручается следующему из них. Он также терпит фиаско. Мушкет идет по кругу, и он, наконец, замыкается — лишь первый среди равных не испытал еще своих сил. Французы, говорит он, ваш любезный Людовик спешит вам на выручку. Сейчас он осушит сосуд, хоть и совершенно иным способом, нежели ваш — следите. Монарх затыкает ствол бутылочной пробкой и насыпает на полку голландского пороху. Лица присутствующих покрывает смертельная бледность. Ваше, — в ужасе кричат они, расступаясь, король стреляет (мушкет взрывается) и падает, все в волнении бросаются к распростертому телу, — Величество! Людовик немотствует, его изумительный фас, сотни раз писанный европейскими мастерами, изуродован, а белоснеж-

ный маскарадный костюм — весь забрызган. Ах, мой мальчик, шепчет королева, на миг пробудившаяся у себя в будуаре от дальнего выстрела, напомнившего ей хлоп карнавальной хлопушки, милый мой удалец. Белые локоны прекрасных волос ее Величества разметались по высоким подушкам, ей снится печальное: дерзкий вепрь с физиономией ненавистного ей горбуна-доезжачего восхищенно ласкает ее под сенью камелии возле купален. Совершив злодеяние, похотливая дичь исчезает в чаще. Стыд и омерзение охватывают королеву. Ей мнится, что некоторые из егерей, скрывавшиеся в беседке и бывшие тайными свидетелями недостойной сцены, желали бы насмеяться над ее августейшим бесчестьем. Светало. Следователь по особым делам Пожилых, специалист без каких бы то ни было примет, носил плащ-палатку и полевую сумку через плечо. В сумке — стандартные бланки актов, плотно скрученная портупея, карманный фонарь, сантиметр, лупа, вечное перо, подробная карта местности и очешник, где за подкладкой — фотографический снимок работницы местной публички, насчитывающей в своих фондах около ста сыроватых томов. *Воскресение Пожилых*. Ужин, вермут, накурено. Табак влажен и носит смешанный привкус одеколона и керосина — следствие нерадивости тех, кто ответствен за упаковку, хранение и перевоз. В глаза кидается яичница с колбасой, лабардан, банка тюльки каспийской, круто соленой. Различаешь число поимки, дату соления, читаешь и тюркскую подпись браковщика. Из мебели, помимо стульев, стола, — узкое, неудобное в любом отношении канапе. Буфет и прост и орехов. На полках — несколько тарелок и блюдец и несколько несколько плесневелых кусочков хлеба. Виднеется и флакон конторского клею — заклеивать окна. Бумажные полоски нарезать из газетных полей, клеить до заморозков. Вид из одного следовательского окна — дровяной щелястый сарай, из другого — тот же сарай. Летом при распахнутых рамах — запах жимолости и бузины, аромат разъятого дерева, звуки тенистого переулка — муха, мопед, тарантас, шаги обывателя. Будучи представителем прокуратуры,

Пожилых укладывается около десяти. Он читает в постели столичный журнал, не чурается стихотворений, поэм, и нередко по памяти декламирует то, что запало, запомнилось. В частности — *Подъезжая под Ижоры*, причем Ижоры воображаются большим деревянным градом на горе, посреди просторной пожухлой пажити. Через поле, оранжевое, как апельсин, под небом погожего, хоть и не слишком теплого полдня, катит дормез с громоздкими рессорами, сработанными из кованого металла. Пассажир, чернявый и бойкий, с небрежно расчесанными кучерявыми баками, высовывается и, слегка придерживая рукою цилиндр, предается воспоминаниям: и воспомнил ваши взоры, ваши синие глаза. Ижоры близятся, и золоченые купола так и блещут. В случае убытия за пределы уезда, особенно если в жемчужной влажности тумана мерцающе-светло парит смутность странного обмана, или попросту холодно, надевает непродуваемую душегрейку и бурки основательного пошива. Переночевав, велит запрягать да поживее. Позвякивает, светает. Эх, прокачу по тряской, ямщик с глазами, как у кролика, в лисьем тулупе, хищно осклабившись волчьей пастью, подмигивает с облучка. И точно, уж и светает. Справа, в полутора, а то и более, верстах — река. За нею — селенье со множеством бань и барок на берегу. Церковь вся отражается. Отражаются и вороны, роящиеся вкруг колокольни, как черные, вознесенные зефиром портняжные лоскуты. Село сие, ежели довериться плану, имеет прозвание долгое и бестолковое. В имени его чудится бухающий ход маховика, оно отзывается, машет издали квадригою крыл, не ведающих иного, высочайшего своего предназначения. Тут услышишь и звуки погрузки; тукая сапогами и крякая на всю середину августа, несут белесые пятипудовые кули и командуют стоящему на подводе: ну принимай! Тот и вправду кидается. Еще мерещится в настоящем названии косноязычие мельникова подручного, малоума и дылды, который на ваш вопрос — какое это село будет? — нисколько не возражает, но лишь сосет леденец на палочке да знай леденит вашу заезжую душу своим

подыжорским взором. Для музыкального уха название наше разражается целой симфонией, ведь обнаруживается в нем голос и самого мельника, что, услышав приведенную здесь беседу, с готовностью поспешает — если только возможно так отозваться о том, кто едва ходит, будучи обременен избытком здоровья, — спешит на подмогу косноязычному. Но мельник словно бы и сам насовал себе что-то в рот — не иначе каких-нибудь жерновов, так как зерна словес его сыплются на путешественника мукой шума. И не беда, что в тумане на миг забрезжит сокровенное имя: разобраться доподлинно — Мало-ли-то-Кулебяково, Мыло-ли-Кулелёмово — недостает проницательности.

10. ДЗЫНЗЫРЭЛЫ

Мол, все время я в бараках тут проживаю вообще. Парк приютный у нас, с качелями, жильцы тоже вполне приветливые, и овраг имеется свой — гуляй-не хочу. Прежде эта бабуля жировку со мной делила, старьевщица. Старым веяла пуще тебя, а я только в сока входила, мне руки мои по летам молоком самой пахли, волос вился, курчавился. И гулять я хотела, уйду и гуляю весь день. На опушках привольно — сороки, грачики. Как взовьются — полнеба нет. А блестящего ничего не оставь — уворуют. Чур мои деньги, бывало, кричу. Одуваны рвала большие, кашку-клевер собирала поесть, меня же сладким судьба не баловала. А однажды лисенка ловец поймал, то-то радости. И предсказывал: вырастет — станет лис. Но немного побыл лисенок у нас — пропал. Я искала в лесах — нету лиса, обидно, горестно. После отправились мы с бабулей уголь бросовый на насыпи поискать. Печку ж надо топить, дело к осени. Серый шлак с паровозов, Орина мне говорит, будто я сам никогда не искал, серый шлак с паровозов сбрасывают, а в сером — черное, не прогорелое, приметил — бери и все. И мы лиса нашли на путях разрезанного. Видно, люди какие-нибудь

посторонние изловили и привязали на гибель бечевками. Горе лису, пропал, зубы острые, хвост предлинный. А бабуля: да не реви, вот, не наш это, наш меньше́е, давай лучше шкурку спяливать. Нет, бабуля, ты не сбивай, это наш, вырос за лето. И ловец про лиса спрашивает потом. Но сокрыла я истину. Был ловец мой соседом нашим, но с ним не гуляла. Я сначала одна гуляла, ни с кем. Но ведь возраст берет же свое, и матросик увлек: кроме шуток, что страшного-то, говорит. Что ж ты думаешь, настоял-таки на его. По первоначалу тишком — трогал, ластился. Рот у него сладющий такой. Я смеюсь: что ли вы монпасье себе кушали? А моряк: я всегда применяю, знаешь ли, табака необходимо запах отбить, иначе командир заругается, нам курить же нельзя, мы невзрослые. Мы когда в экипаж из увольнения возвращаемся, он поверки заделывает — дыхните-ка, требует, юнги, скоренько. Ребята сен-сен в судовой аптеке берут, а по мне — монпасье полезнее, хоть и зубы пока не того, я ж в эвакуации рос, под Чистополем, все сплошь порченые, но зато от сен-сена типун выскакивает запросто на языке, а монпасье всю дорогу грызешь — хоть бы хны. Чаем тоже зажевывать можно, кофейными зернами, только чай в кармане просыплется пачечный как пить дать, и командир карманы как пойдет выворачивать нам — решит, что табак, и не докажешь, что чай, но и докажешь — тебе же минус: чай же тоже можно курить и чифирять тоже можно, так что с чаем так и так погоришь, да и с кофеем. Нет, по-честному, монпасье надежней всего, никакого шухера, и леший с этими дуплами, если так разобраться, главное, нервы дороже. А меня угостите? Согласишься, сказал, значит вся жестянка в твою пользу пойдет. А я ж сладким не забалованная. И увел, конечно, на берег, под бот сюда умыкнул, но я все одно не доверяю особенно. Папироску тогда раскурил и кожу на животе у меня прижигать собирается. Куда же я денусь, но так ни за что бы не стала с ним. Даром что щуплый он был, тебя-де, Илюша, щуплей, Чистополь, вероятно, давал себя знать, однако мы и чуть-чуть не выспались. Вылезли, а высерело уже, а началось —

еще канонёрку его учебную на середине видела через лаз: на рейде, хвастал, стоим. Смурая вся из себя, а пушка в мешке. И ветрено было, волнисто, хлябь. Дома бабуля приветила и ну шерстить, и монпасье все по полу раздрызгала. Что же, затем не отказывала уже пареньку. Как-то заглядывает — на нем бушлат: чуешь, как закрутило, кранты. Что ли не навестите впоследствии? Нет, весной заскочу, говорит, а по сугробам чего топотать-то бестолку, бабуля же, намекает, нам не потрафит, чтоб в комнате мы, а под шлюпкой почти немыслимо, намело, вот и всякого тебе до поры наилучшего. И мужчина некоторый в соседнем бараке тогда проживал, кустарничал, под лестницей помещенье держал, кожей пахнул да ваксами. Дальше — больше, бабуля шкуру лиса дает: на, снеси, может, дядька этот тапти мягкие стачает тебе за так. Отчего не стачать, он сказал, но за так, за мерси, не делается у нас покудова ничего. Как стал размер с ноги у меня снимать, так сразу дверь закрыл, крюк навесил — и на тебе. Забегай на примерку, он назначал, и я на примерки пошла частить. Тапти ладные стачал в январе месяце; ради крепости обсоюзил, для форсу хвостом оторочил — худо ли? Ловко получалось в них вдоль свеев к нему самому гулять, мягче мягкого. А к весне уже в положении. И ведь шила в мешке не утаишь небось, и вот сплетни разные по баракам понавыдумывали. Бабуля расстроилась: час от часу не легче, мол, была у нас Оря гулена, а стала гулящая, то ли будет еще, все нервничала. А по новой траве — моряк с печки бряк, опять под баркас зовет, ветоши корабельной полно туда натаскал. И, бывало, утрами я с кустарем, а зорями на лукомор спешу, как закон. И уже так притерлась, владилась, что как день-другой без обычного — так беда, изовьюсь вся, изноюсь внутренне, ну словно лед у меня там горит. Ты скаженная делаешься, матрос предложил, не возражаешь, если я кореша в выходной прихвачу. И они вдвоем повадились навещать, только и совместно не успевали за мной. Как вдруг у них отгулы большие на канонерке — команда дана, и они четверых мне представили. Запротивилась, со всеми-то не в расчет,

да и речи их, новеньких, не понравились, больно просто у них, как послушаешь, получалось в отношеньи всего. И тогда понарошке прикинулись, что будут только вдвоем, по-обычному, а дружки невдалеке погодят. Но когда на пару с приятелем разбередили меня, то и тем ухажерам они свистят. Поняла положение — задумала отвертеться от них, но слова лишь на ветер растратила. Вот ведь как обмишурили, да синяков еще насажали. Ничего мы уволились, один разъяснял потом, а то бродишь, как цуцик, заскочить не знаешь к кому, мы ж не местные, знакомых нема, но время же надо убить, мы ж мóлодежь. Ну там в перукарню марафет навести забежишь, ну, к армяшке штиблет подраить, шнурок сменить, ну в кино, на каток на худой конец. Но каток ведь не круглый год, а кино круглый год не смешное кажут, а желаешь дымить, то дыми в рукав, а то выведут. Да и на катке особо не разбежишься, приятель поддакивал, уволишься, поедешь ты в эти парки, ножики возьмешь на прокат, в точку сунешь, туда-сюда, морсу выпьешь в буфете, потом пропилишь по главной аллее разок — сразу мокрый, хоть робу всю выжимай, нам бушлаты ж на вешалку сдавать не к лицу: попортят еще, потибрят, заденут флотскую честь. С этих пор за обычай взяли по очереди. Кто-то тут, а остальные снаружи находятся. И заметили, что пацан подглядывает из кустов. Изловили его, втащили, насмешничают. Попросила — а дайте я с ним одна. Отошли, им без разницы, картошки начали печь. Поначалу чурался ловец мой, такой недотрога был, но приласкала дотошней — освоился. Задремала, очнулась — а он пропал. Моряки возвратились — картошек дали, портвейного, а в октябре родила я — не вовремя. Все не как у людей, бабуля расстраивалась. И много чего случилось кругом. То матросы тоже пропали, то сапожник слинял, и бабуля куда-то девалась, и сын мой канул, а я все здесь; полные свои мимолетия тут бытую, как правило. Встрепенулись гуси в Илье, Фомич. Ведь каким же растютей, пронзило, себе же и ей предстаю, что за игры глупеющие творились, к чему это резину дешевую пришлось месяцами тянуть, что ли выказать

я желал уважение-унижение. Вроде этого мыслил, а мыслил рывками я, водомер. Рваный ход мой по веку и сам оборвался, дрянь. Будто псами трачены обновы мои вековечные, да частично и псами. Я к фацеции этой приник со рвением, и в тошноте души осознал, что бабуля та, пробабуля, сквозь землю провидела, старьевщицей трубила не зря. Да, слыла ты, Орина, гуленой, а сделалась шлендра типичная. Не взыщи, подустал я жантильничать и понужу тебя, ломаку, прямо нынче же, тут, на канонерском тряпье, не дожидаясь иных оказий. Вечно я немочь буду, но был не всегда. И придвинулся. Об этом, пишется, буду выть, как шакалы, и росомахой рыдать. Соблазнился Илья к шутам и пошел через бабу вразнос, повело его, как того кота, подмочило ему репутацию. Знать бы, где шмякнешься, там соломки бы подстелил, и ветошь позорную — пусть пайков специальных сухих от конторы своей не вижу в последние сроки ничуть — молоньями бы всю полномочно спалил. Да ведь не манной единой, ракушек еще на наши века достанет, ракушек-то. Вот пеку не спеша, дело к ужину. Всюду сумерки, повсюду вечер, везде Итиль. Но там, где Зимарь-Человек на телеге супругу на карачун повез, лист сухой в самокрутку сворачивается на лету; под Городнищем, где речь про Егора, про Федора — чистый декабрь; а на нашей на Волчьей — не верится даже — там иволга, там желна. Парко, жарко ракушкам в геенне их, эк скрипят, соболезную. Все ж одну за другой глотаю и ем, отскребая от перламутров съедобное. Скорбно и Зимарь-Человеку жену губить, но и он от решенья не отступается. Жаль тебя, он ей плачется, топить ведь везу. А не вез бы, она ему, шельма ветхая, совет подает, сколь годов, оглянись, вместе отбыто. Да вот тот-то и оно, Зимарь сетует, столь годов, что терпеть тебя ни дня более не могу, опостынула. Но прошу, продолжает, в положенье мое войди и зла на олуха не держи особенно. Что уж там, она ему отпускает грех, вольному воля, охулки на руки не клади, только и ты, дружочек, не обессудь: вероятно, обеспокою порой. Не обязательно, говорит, еженощно жди, ну а все-таки нет-нет да и загляну постращать. Мастера

про Петра: что с Федором? И никто ничего не знает как следует, все с концами забыли, фефелы халатные. Один я почему-то, средь них в декабре стоящий, все в памяти удержал. Заводили, стало быть, счетовода сидни насчет повеситься — де, не храбрый ты, хоть и Егорий. Разобиделся он на бражников, удаль его, видите ли, поставили под вопрос, — и вскорости ко́су покинул, дабы в эту же синеву доказать, что с ним подобные номера не проходят. И спроворил что надо где следовало, и завис без истерик на дратве вощеной и скрученной в восемь раз, знаменитую ту балясину перебросив с сосны на другую на правильной высоте. И находят его сторожа охот в независимом таком положении, и выписывают того ли фельдшера из Городнищ: окажи, надо помощь. Притащился, ему показали — врачуй. Фельдшер им: лично я свидетельствую удушие. А мы думали, просто не климатит ему тут, ну, а быть, быть-то будет? Чего не обещаю — того не обещаю, им лекарь сказал. Медицине видней, говорят, отзвенел, видать, горемыкалка одинокая, откуковал. Приласкала, правда, дама его эта под самый конец, но и то рябам на смех — с пятницы на четверг, салом, словно бы, по сусалам. С кем, забавно бы выяснить, со следующим она побудет теперь, кого осчастливит, а кого, гадали, осиротит. Так гадали мелкоплесовские сторожа в районе села Вышелбаушн, а она уже, надо думать, наметила тайно, кто именно. Выяснилось потом, в теченье поминок по Федору, куда в сравнительно недалеких видах физкультурной зимы не погнушались зазвать и меня. Оттаранили его мы на Выгодощи, посовещались и тризну постановили вынести на общий простор, на Кабацкой Зари острова, о которых с таким почтением отзывался всегда отчаливший. Нет, может быть, местечка на целой Волчьей годящее, нежели те земляные клочки. С первого взгляда — гряда как гряда: моховина, болотина, ну березка мелькнет, ну рябина. Но проскучаешь с неделю там, порыбалишь да поваляешься с ватагой ушкуйников в мураве, на облака тучевые дивясь, и промолвишь навзрыд тихохонько: Господи, хорошо нам здесь быть с тобой. Веришь ли, как вода мимо нас

идет — как пишет, идет — как стоит; купол небесный так неприметно крадется всю ночь к утру, и Царствие само Небесное так: грядет-не-грядет. А присмотришься резче — летит, летит всей плотью плавной Итиль. Чудно бы, честное слово, окочуриться на этих привольных клочках. Отойти мечтается в пору ягод, чтоб пригоршней земляники уста себе усладить и в Жизнь Вечную с тем и выйти. Право, Господи, не лишнего ли звеню, и вообще — что забыл тут, чего не видел, к кому пришел? Или точила шершавого не видал? Нет, не надо мне ничего, ничего не забыл я тут, и любому дяде троюродный я плетень. Где ты, смертная година, чего замешкалась в отдаленье, подай мне знак. Но вернешься на материк и разом за суетохой забудешь резоны свои, снова терпишь и лямку тянешь в отличие от Петра и других удалых калек, что лямке веревку надежную предпочли. Да, не рисковая, не лихая мы косточка, не высокого мы, на поверку, парения.

Крылобылка, змей вещий, на поминках рассветом как-то восстал, весь от костра светозарный, весь в травинках и мурашах, и объявил в полный голос, чтобы у прочих огней, в том числе и блудящих, на его и на остальных островах, спящие пробудились: братрия возлежащая, ныне провожаем в пакинебытие такого вежду окрестных охот, как Федора, Егора, Петра. Его мы все знали, затем-то нам и печально, поэтому и беспробудничаем столь бессонно. Помянем же усопшего по-человечески, возвестим каждый всякому, какой он здоровский жителин слыл. Зашумело в тот понедельник по островам гуще прежнего, стали званые и незваные удавленника добром поминать, и алкать завелись по следующей. При затменьи во вторник настал мой черед, и докладываю, что, не скрою, виновник наших невеселых торжеств клиент был достойный, и что ножи ему беговые или булатные я точил регулярно и остро, со ссылкой на прейскурант. В среду почтарь один сизокрылый слово берет. В Федоре, признается, души я не чаял, почту всегда доставлял ему в разумные сроки, писем его из чистого любопытства не распечатывал,

но если и распечатывал, то запечатывал заподлицо. А в четверг погребальщик разговорился. Незаменимый, уверяет, покойник наш был верховет, но и я же не промах — покои ему сварганил на-ять. Прокураты они, погребальщики, невозможные. Дам пример. Пробовали вы в морозные поры лопатой землю долбать? Слишком уж механически получается, невпротык. Наломались, намаялись и быгодощенские на копке сперва ледяной. И приелась им таковская канитель, прекратили по холоду ковырять, летом и осенью роют, впрок. То есть, прикинут примерно, сколько на круг по окрестности публики за сезон отойдет — столько ямин и сделают, даже гака не ленятся прихватить, а в дальнейшем лишь подровнять там да сям, и надзор. И учитывая, что с середины четвертого квартала до середины второго платы взимают по мерзлому ценнику, то становится очевидно и завидно — зима задается у них непыльная. А затесался меж нами Калуга по прозвищу Кострома, харей мордатый и матерой, до того матерой — что аж шеи нет. Суету деревенскую не уважал, сидел на острове, в бочке, оброс и властей недолюбливал ни в какую. В воскресенье приплыл на плоту в нашу заводь и замечает: нечего было Петру с этой бабой идти. Интересно, куда ты денешься, волчатнику возразили, не ты же ее выбираешь — наоброт. Все одно, отвечал, нечего было ему идти, не сходил бы — не сбрендил бы из-за нее и с сиднями бы в чекушку не лез, а не лез бы — со всеми нами бы нынче гулял. Берегись, Крылобыл Калуге предрек, как бы чаша и до тебя не дошла. В тот же день при закате солнца просыпается Кострома не в себе: кто это меня из осоки сейчас поманил? Да никто тебя не манил. Нет, манили, пойти поглядеть. Он в осоку юркнул точеную и пропал, а когда обернулся на третьей заре, обступили, расспрашивали: ну? Он сказал им: она. Сладко было? Не спрашивайте. Сам лыбится, как в родимчике. Берегись, Крылобыл остерег, как бы горько не сделалось. В среду ягоды волчьей Калуга поел; умирая наказывал: будьте бдительны; сыздетства на нее я зарился, но терпел, а сегодня увидел куст — и не вытерпел, крушина спелая, крупная, да и кручина моя

велика — побаловались, она велела, и позабудь. И се, пощупайте, копыта уж — лед. И задумался. Ты гляди, не фартит как, сетование распространилось по островам, самый лещ по ручьям на нерест пошел, сети рвет, а у нас — то поминки, то похороны. Отвлекусь я. Догадываетесь, кто дама эта, Фомич. Раз дремал в катухе я дремном — приснились яйца. Кто-то явится, так и знай. Пробудился и выхромал помолиться на двор. Пала звезда бирюзовая, остыла Волга, поредели други мои и друзья, и заборы все в инее, и сам я не более, нежели имя на скрижалях Ее. И смешливый, и невелик аз есмь, неразумный. Ночь — как ямина долговая: когда еще вытащат. Но Ты — кто бы ни был, Ты — не покинь. Так молился. И тут голос мне сразу же: посетит особа некая ваши места и пойдет через пень-колоду все здесь. Я потек, упредил; сомневаются. Что такое рассказываешь нам, что еще через пень-колоду может у нас пойти. Как желаете. И препожалует раз в знакомое вам кубарэ непреклонных лет человек Карабан. На пороге споткнулся и сосуд небольшой прозрачный в виде чекушки — вдрябезги. Будет вам бражничать, в треволнении отрубил. Тихо образовалось, как у глухонемых. Преподнесли ему. Выкушал. Отдыхал я, повествует, под ильмами, возле банного пепелища, у портомойных мостков. Ночь как ночь, только в зелень ударяет из-за звезды, и луна как луна, только рыжая. И по рыжей дороге лунной, как по мосткам, от Гыбодощи сюда, к Городнищу, близится плесом неторопясь непонятная незнакомая. Собою — бывалая, битая, но и телом щедрым под стать — бедовая, тертая, словом — раскрасива до слез. Грешным делом решил — тетка просто помыться надумала, забыла, что сгорело порхалище наше давно. Как вдруг пригляделся, а это Вечная Жизнь уже. Села рядом, и мы с ней нежничали, но не прямо-таки, а будто бы заказал нам кто — полегонечку. Побаловались — пошла себе, легка на помине. В общем ясно, посетила она, посетила, Карабан заключил. Приняли мы тогда, зажевали. Не хлещем, говорит, но лечимся, и не как-нибудь, а как простипомы.

11. ОПЯТЬ ЗАПИСКИ

ЗАПИСКА XIX
Портрет знакомого егеря

Март хрустящ и хрустален
И сосулькой звенит,
И дыханьем проталин
Через фортку пьянит.

В сумрак, настом подбитый,
Настом, как наждаком,
Ты выходишь, небритый,
Штаны с пиджаком.

У тебя есть ботинки,
Но не в этом ведь суть,
Можно ведь полботинки
Смастерить да обуть.

Труд сей, право, не сложен,
Зашла коли речь:
Надо лишние кожи
От ботинок отсечь.

Ты — бродяга, ты — странник,
Лохмотник хромой.
Странен край твой на грани
Меж светом и тьмой.

Вон идет коромысло
О ведре лишь одном,
Ну да в этом-то смысла
Боле, чем в остальном.

Ты — заядлый волшебник,
Ты кудесник хоть плачь,
Но не плачь, есть решебник
Всех на свете задач.

Ты — обходчик, ты — егерь,
Пальцев — пять на руке:
Отпечатки на снеге,
Оттиски на песке.

В этом хвойном заречье,
В деревянной глуши,
Раскудряв и беспечен,
Живешь на шиши.

Жизнь твоя — дуновенье,
Ветерок заводной
И бобылки сопенье
Благосклонной одной.

А живешь ты в сторожке,
Есть-имеются где
И гармошка, и плошка,
И ружье на гвозде.

На газетной бумаге
Сообщение есть:
Стерляди в Стерлитамаке
И в томате — не счесть.

А еще ты — гуляка,
Помалу не пьешь,
Оттого-то собаку
Свою волком зовешь.

Побеги ж на пуантах
К родимой реке,
Сыт и пьян, сыт и пьян ты,
И нос в табаке.

Споткнулся, свалился
И веселой гурьбой
По щеке покатился —
Уж ты, милый ты мой.

ЗАПИСКА XX

Баллада о городнищенском брандмайоре

Снова жадаешь луку во сне,
А на зимниках — жижа, зажоры.
Только мжица дожрет этот снег,
На пожарку прибудут стажеры.
Удалые прибудут, бодры —
Нараспашку душа, в разлетайках,
Коротайках, угрях, таратайках,
Худосочные — прямо одры.
Дупелиных полян знатоку
В газырях и в мерцающей каске —
Не лупить глухарей на току,
Но давать горлопанам натаску.
Брандмайор — человек при усах,
Но презрев почечуй и одышку,
Он в апреле взойдет при звезда́х
На свою каланчу, или вышку.
Козыряет дозорный стажер,
Газырям говоря про пожары,
Что они — над районом Ижор,
Разумея лукаво Стожары.
Не у нас, отмахнется службист,
И глядит в направлении дельты,
Где прожег свою многую лету,
На брандвахте варя брандыхлыст.
Поглядит — и утратит покой.
А на утро, со злобой какой-то,
У брандмауэра стажеров строй
Брадмайор обдает из брандспойта.

ЗАПИСКА XXI
Вышелбауши
(венок записок)

1

Безвременье. Постыдная пора.
От розыгрышей уши, лбы пылают.
Был спрошен: Вышелбауши бывают?
Ответствовал: то хутор в три двора.

2

Достойно ли вести, как детвора,
Глумясь над всем, подобно стае бестий,
Не почитая завтра и вчера
И позабыв о совести и чести.

3

И я хорош — доверился, простак.
Неужли было трудно догадаться,
Что выше лба ушей не может статься,
А хутор Вышелбауши — то так.

4

Развесил уши — и попал впросак.
Ползут по местности невыгодные слухи,
Что я, Запойный, олух и чудак,
И голова садовая два уха.

5

Безвременье, постыдная пора,
Достойно ли вести, как детвора,
И я хорош — доверился, простак,
Развесил уши и попал впросак.

ЗАПИСКА XXII
Прощание городнищенского лудильщика

Шуга отошла. И на пристани
Защелкал на счетах кассир.
Всмотрись в обстоятельства пристальней
И валень повесь на блезир.
Хромая и как бы случайная
Весна забрела на Валдай.
Скажи — прощевай, наша чайная,
Холера тебя забодай.
Послали козу за орехами,
Пустили козла в огород —
Лудить самовары за реками
Артель направленье берет.
Прости-прощевай, наша чайная,
До белых сыпучих путей,
Местечко отнюдь не скучайное,
Уют слепаков и культей.
За реками луда блестящее,
Там гуще и щи, и камыш,
В лузях с балаболкой ледащею
Поладишь — в лузях и лудишь.
Вольготная жизня за реками,
Но ярче бы тульских полуд —
Остаться мне было б с калеками,
С гуляками на лето тут.
Прощай, Городнище, товарищи,
Махни, говорит, мне крылом,
Сойдемся Бог знает когда еще
За нашим всегдашним столом.
Да брось ты возиться с проруxами,
Не терпится в путь посошку,
Плесни, дорогая старуха, мне
Стопездесят грамм портвешку.
Имеется график на пристани,
А на пароходе — кафе.
По-графски важнецки и пристально
Буфетчик стоит в галифе.

ЗАПИСКА XXIII
Портрет перевозчика

Пой, перевозчик,
Ушкуйник ушлый,
Рыж-конопат,
Пой, раздобарщик,
Ушкуй твой утлый
И конопать.

Воспой обводы,
Уключин крепость
И якорек,
И наши годы,
Всю их нелепость,
Ёк-макарек.

Люблю я, друг мой,
Когда корявый,
Живой, как ртуть,
Зачинишь вдруг ты
Не ради славы
Чего-нибудь.

Стучит в апреле,
Манит на волю
Твой молоток.
И в самом деле,
Пройтицца, что ли,
Под вечерок.

Пропахла сечкой,
Портянкой, свечкой
Вся сторона,
Чудной чумичкой
Глядит с отвычки
Мадам Весна.

Из дальней дали
Меня заметив,
Глаз-ватерпас,

Забудь печали
И, ликом светел,
Достань припас.

Не жмись, щербатый,
Открой, как душу,
Свой бардачок.
Я ж, тороватый,
Тащу покушать
На пятачок.

Катятся воды
Сами собою,
Своим путем,
Уходят годы,
А мы с тобою
Себе живем.

ЗАПИСКА XXIV
Меж собакою

Меж собакою и волком
У плакучих ив
Потерял мужик иголку,
Дырку не зашив.
Он в траве руками шарил,
В молодой траве,
И нашел какой-то шарик
В этой мураве.
И тогда зовет он: братцы,
Чего я нашел!
Те пришли — и ну играться.
Было хорошо.
Шарик то они подбросят,
То поймают, а
Между тем уж пали росы
Прямо на луга.

И туманы выползали
Из реки Итиль,
В избах люди зажигали
Ламп своих фитиль.
А туманы выползали
И лизали кил,
В лампах было мало сала,
И фитиль коптил.
Проходили пароходы,
Баржи волокли,
Волоклюи и удоды
Сватались вдали.
Пароходы проплывали
С баржами и без,
И неясно волки али
Псы промчались в лес.
Неожиданно от шара
Свет пошел — да-да,
Пригляделись — то Стожаров
Главная звезда.
И на той звезде туманной,
Взорами горя,
Много правды необманной
Знают егеря.
Там туманы выползают
Из реки Итиль,
В избах люди зажигают
Ламп своих фитиль.
Там собакою и волком
У плакучих ив
Потерял мужик иголку,
Дырку не зашив.

ЗАПИСКА XXV

Портрет разъездного
(второе воспоминанье о городе)

Что значит разъездной? То значит,
Что по делам чужой удачи,

Мечтая свет переиначить,
Один чудак по свету скачет;
То род призванья — разъездной.

Он холост. Тщетной головой
Черемух ветви задевая,
И ей вопросы задавая —
Что значит, скажем, разъездной —
Носки заштопать забывая,
И дым глотать не оставляя,
И бицеклет терзая свой,
Он мельтешит, как заводной.

Он беден, глуп, ему не спится.
Не спится, няня, что со мной?
Он, если стар, то молодится,
А если молод — вскоре стар.
Он бредит: у него катар
Путей дыхательных. Бодрится:
Побриться ль? Няня, помазок!
Да что же на ночь-то, сынок?
Молчи, стряпуха, мне Жар-Птица
Вчера привиделась во сне
И предрекла нам пожениться.

И хоть порезаться боится,
Все правит бритву при луне.

Крутясь в такой-сякой стране,
В провинции или в столице,
Он поражен, как мир вертится
И возмутительно дробится,
Являя случаи и лица
Почище всякого кино:
Там маскерад, там ловят львицу,
Здесь — полуголая девица,
А тут — извольте насладиться —
Полуподвальная мокрица.
А мать твердит через окно:
Заклей-ка на зиму окно.

Зиме конец — весне случиться.
И разъездной на слякоть злится,
Которой улица стремится
Ему заляпать ягодицы,
Употребляя в дело спицы
Великосветских колесниц и
Кабриолетов и ландо.

Подобно крякве подсадной,
Под дулом крякать обреченной
И бельевою бечевой
С охотником соединенной,
Навряд ли знает разъездной,
Какой он мог бы быть иной,
Будь не заезжен он ездою,
Как утка — службой подсадною,
Родись он только под звездою
Какой-нибудь не разъездною,
А утка — не под подсадной.

(Apropos, вечером в реке,
Когда нельзя уж в бильбоке,
Когда поспели самовары
И на террасах тары-бары,
Когда, вязанье отложив,
Ваш дед *Над пропастью, во ржи*
Читает бабушке, когда
Та призадумалась, а сыр во рту держала,
Когда зацокали кресала,
И вот еще одно *когда* —
Когда пропали провода,—
Мы видим звезды в глубине:
Ведь подсадные все оне,
А остальные к ним с небес
Катят отрадою очес:
Загадывайте без промедленья.)

Но не дано. Судьбы решенье
Пересмотреть, alas, не нам.
Из некоторого учрежденья
Я тут привез пакет, мадам.

Позвольте, что опять за хлам!
Помилуйте, виднее вам,
Однако, распишитесь — там.

И снова едет разъездной,
То прямо едет, то свернет.
Мил человек, ты кто такой?
Да я, папаша, сам не свой.
Собака гавкнет на него,
Дебило глянет и сглотнет,
Сглотнет и глянет, и икнет,
И носом клюнет,
А после сплюнет и затрет
Подошвой слюни,
И не с того да не с сего
Распустит нюни.

Настанет время — все пройдет:
Народ ликует. Каплет мед,
Минуя високосный рот,
Пирующему на манишку,
И клянчит у пивной Удод
Рублишко на винишко,
А изнутри другой орет:
Винишка хочет — ишь ты!

То соловей муку дает,
То мельница засвищет.

Крутясь в стране такой-сякой,
Стране немазаной, сухой,
Давно немытой головой
Себе вопросы задавая
И ею ж ветви задевая,
То мчит, то скачет разъездной,
А к утру, воротясь домой,
Мычит и плачет: Боже мой,
Так вот что значит...

ЗАПИСКА XXVI
Почтовые хлопоты в мае

Что это мне oncle мой любезный не пишет,
Времени, что ли, опять у него совсем нету.
Странно, посулил ведь — напишу тебе непременно;
Вот, свидетельствуйте, не пишет и не едет нимало.
Очи, за реку глядя, проглядел я все, право,
Хоть бы пиктограмму он предпослал, родственник милый,
Так-то, мол, и так-то, такие-де у меня планы,
И́наче же и кинуться куда — ума не приложишь,
Вечно с дядей таким шиворот-наоборот происходит.
По́ходя ноги себе росой умывая,
Выбегу о заре встречать нашего почтальона:
Нету ли ныне пакета на мое, так сказать, имя?
Нету, разочаровывает, по-видимому, разочаровывает, пишут,
Тщательные, видать, задумчивые у тебя адресанты.
Ладно, постоим, поточим лясы слегка мы,
После в хоромы я его к себе зазываю:
Эх, заскочи ко мне теперь, Сила Силыч,
Гостем будешь, понимаешь, потолкуем немного,
Зря я разве сварил вчера не́ктар.
Зря, мой Нестор, нектар у нас не варят,
Зря на свете, практически, ничего не бывает,
Зря и заяц не приснится никому кучерявый,
Нектару мы, конечно, твоего немедля пригубим.
Вот заходит ко мне дражайший почтарь Сила Силыч,
Капельный такой, видом на редкость никудышный,
Впрочем, перепивал, бывало, и самого Крылобыла;
Внешности, получается, доверяй, да проверяйся.
Да, заскочил, стало быть, ко мне Сила Силыч,
Ух, заскочил, шапкою, сняв, губы вытер,
Ну, и я сразу связисту и себе наливаю:
Пейте, пожалуйста, добрые люди, селяне,
Пейте, а то теперь живы, а завтра, что называется, ой ли.

Ой ли, ой ли, кивает, тут ведь не в курсе,
Где обрящешь, а где в одночасье утратишь,
Толи дело, когда уже в ящик сыграть соизволишь,
Там уже пиши — не пиши — все прахом пропало,
Там постскриптумы твои, что мертвенному припарка.
С этим Силыч стакан весь незамедлительно и пригубил
С Силычем и я тут поступил вполне сообразно:
Принял, а после, не мудрствуя, нацедил снова,
Дабы со следующей нам не мешкать лукаво.
Так вот, я ему говорю, Сила дорогой Силыч,
Так вот и живем мы с тобой, хлеб жуем мы
Черствый, а то знаешь, на сем берегу что болтают,
Разное, признаться, болтают на берегу сем,
Волки, болтают, на том тебя, вроде, съели,
Как ты мыслишь — факты это или же байки?
Слышал, слышал, докладывали и мне известье,
Гость, поглаживая оцелота моего, молвил,
Только я и сам легонечко сбит с панталыку,
Может, съели, а может, пустые то враки,
Бабушка, выражаются, пополам говорила.
Тут мы с Силычем пригубили опять, снова-здорово,
Или, что называется, подовторили.
С другом Силычем зелье губить наладив,
Друга Силыча решил я кое на что подзадорить:
Вот бы нам почитать невзначай некоторые цедулки.
Верно, Яша, резонно у тебя черепок варит,
Силыч мне с достоинством на то замечает,
Что мы, разве других письмоносцев плоше,
Где это слыхано — чужих не читать эпистол,
Что же нам прикажете читать себе еще тут.
Вскрыли мы тогда несколько с ним свитков.
Смотрим — чего только не сочиняют люди друг другу,
Что, оказывается, их всех только ни заботит:
Сильно, мощно разлита в народе эпистолярность,

Словно эпидемия какая-то распространилась.
Павел Петру в Городнище из Быдогощ, скажем, пишет,
Дядю дрожжей закупить молит браговарных,
Букву какую-то непременно найти его умоляет,
В душу лезет, пристал с ножом к горлу,
Дяде в кубарэ не дает надудлиться малость.
Петр Павлу в Быдогоще из Городнища отрезал:
Букву эту, милок, сам себе ищи неустанно,
Деньги ж, даденные мне тобой, я профиршпилил,
Знай поэтому, что дрожжи тебе завезу ой ли.
Кроме этого, наждачник Илья пришлый
Тоже потянулся на старости лет к стилу вдруг,
Жалобу Сидору Фомичу Пожилых накатал он,
Сетует — костыли у него в метель увели-де,
Егери, якобы, Мелкого Плеса унесли их.
Дайте сроки, получит ведь грамотку и доезжачий:
Псарь мой ловчий, когда б не случилось в том ну́жды,
Стал бы я разве нижеследующее к тебе строчить? Нет.
Слямзили люди твои, ау, моих опор пару,
Пусть-ка возвернут поскорей, зимогоры,
Или, передай, покажется вам всем небо с овчинку.
Егери точильщику царапают бересту купно,
Видимо, передал им доезжачий Ильин ультиматум:
Мастер-ламастер, упырь и дурной и вздорный,
Зрели мы тебя в гробу с твоими костылями,
Прыгал бы ты, одутловатый, к бобылке на хутор,
Ябедничать же станешь — изведаешь, почем фунт лиха.
Грамоты прочтя и жеваным мякишем их запечатав,
Допили, догубили до дна жбан емкий,
Время расставаться тогда нам с Силычем накатило.
Эх, он шапку тогда свою напялил и вышел,
Обнял меня, духарягу, расцеловал — и дальше.
Силыч, говорю, чего это мне мой oncle все пишет?
Зря, возражал, и заяц никому из нас, кучерявых.
В Быдогощах, между тем, бузина вся — цветенье.

ЗАПИСКА XXVII
То не вспарочной Жар-птицы

То не вспарочной Жар-птицы
Сполох дольний — скок-поскок,
Издалека в колеснице
Скачет к нам Илья-Пророк.
Ну и Бог с ним, ergo — буря,
Ergo — грянет, ну и что ж.
Егеря расселись, курят,
Ждут-пождут, но медлит дождь.
Вижу я, как только видно
Все становится на миг:
Над бадьею змеевидный
Так и вьется змеевик.
Этот аспид самодельный,
Благ источник и утех,
Был точильщиков, артельный,
Но утянут был у тех.
Оправдания не ищем —
Ну украли, что с того,
А кто ругается над нищим,
Тот хулит Творца его.
Процедура постепенна:
Капля медлит — егерь ждет,
И напротив — сколь мгновенно
Ловит жужелицу кот.
И еще обыкновенно
Жизнь мгновенна, как назло,
И напротив: сколь нетленно
Никчемушное грязло.
Перейду. Непостижимо.
Покрутился — и уж нет,
На души моей обжимок
Набредет слепой рассвет,
И под брань моих бобылок,
Чубуром жмыгуя хвощ,
Тела белого обмылок
Повлекут на Быдогощ.

Но покуда — вот я, в кепке,
С мужиками у реки.
Сохрани нам, Боже крепкий,
В эту грозу челноки.
В упрежденье ауспиций
Шью охотничий костюм,
Но летят из рук вон спицы:
Ergo — в дупель, ergo — sum.

12. ЗАИТИЛЬЩИНА

Содвинулись все происшествие обсуждать, но тут раздался оркестрион и от попурри не воздержались. Эх, шерочка, да ты машерочка, косолапочка, престарелочка. Горе тебе, Городнище большое, мощнеющий град, в минуту пляски у меня мелькнуло немножечко. И действительно. Именно с того дня есть-пошла эта смутная Заитильщина, то есть те нелады, ради коих и разоряюсь на канцелярии. Слышали новость? Налимы, в луну влюбленные, с целью к ней воздусями проплыть, исподволь лунки во льду просасывают. Наподобье того и мужицкая особь сбеленилась и тронулась из-за дамы той. Выплывут, карасики, в смутный час на бугор, сядут на что попало и мечтают напропалую о ней, из горла посасывая. Ждут, что снова она наведается, хоть любому известно — бывает редко, а когда и бывает, то зрят лишь считанные, которым свиданки эти, как правило, идут не впрок. Воздадим тем же Гурию, Федору, Калуге, или же Карабану В., кто пока что не отошел, но усох и лает: першит. Горе, горе тебе, Городнище с окрестностями, все вокруг и пустое, и ложное. Заверяет бобыль бобылку: еду на затон поботать. Но покрутится меж островов, сделает немного тоней — и все его видят вдруг среди себя в кубарэ за чашкой вина. Возвращается индивид во свои круги, берется за прежнее. Баламутим, чудим, проказники, ни о чем не печемся, отвратно на нас поглядеть. Полагаете, достойных манер не знаем? не благовоспитаны, как надлежит? Знаем,

благовоспитаны, руки даже перед едой, фарисейничая, умыть норовим, но в основном все одно — бедокурим, не в рамках приличия состоим. Жадность также нас обуяла. Лежим под вязами, затрапезничаем, и подвязаются разные: а нам не предложите? А мы не даем, мы хаем: ступайте, еще открыто, соображайте в своем пиру, алкаши такие. И татьба, извините, татьба несусветная, и отпихнуться сделалось нечем как есть.

Шел, читайте, из-за всеобщей реки, выдвигаясь в Сочельник от Гурия, с его похорон. Угощение обустроил тот погребальщик, он приглашал: заползайте, желающие, куликнем на старые дрожжи, черви козыри. Я заполз. Гнил парнишка, рассказывают, в кавказском сыром кичмане, а надоело в неволе — бежал. А наскучила и мне эта тризна, захотелось к своим починщикам, с ними захотелось вкусить Рождества. Затерялся мальчонка в горах — я в сумерках. Я катил восвояси, и вихорь слезу вышибал, и она же катилась радостно. Щи не лаптем хлебаем покудова, соображаем, что значит острым ногу набуть. Грустновато, тем не менее, между собакой на просторе родимых рек, хныкать вас подмывает, как того побирошу в четверть четвертого. Хмарь, ни кожа ни рожа, ни тень ни свет, ни в Городнище, ни в Быгодоще: взвинтил я темп. Штормовая лампа горняцкая, даренная главным псарем за долги в счет мелких услуг, телепалась в пещере за плечьми, и во фляге ее побулькивало. Но возжечь не спешил, в курослеп еще хуже выслепит, и вот — называем летучая мышь. Противоречье, погрех. Слепит не ее ведь — нас лучами ее слепит, мы, выходит, летучая мышь, а летучая мышь не мы никогда. Почему, разрешу спросить, Алладин Рахматуллин не с нами, а подо льдом скучает сейчас? А чего ж, скороход опрометчивый, лампаду в сероватости засветил. Залубенели бездомные облака, залубенело и платье мое, поползла поземка по щиколку. И лишь город бревенчат картинкой сводною сквозь муть проступил, понял я, чуня, что домы его все шиты из пепловатого такого вельвета с широким рубцом, и кровли их — войлок, а может,

с фабрички шляпной некрашеный фетр снесли. Чу, вечер вечереет, все с фабрички идут, Маруся отравилась, в больничку повезут. С фабрички-не с фабрички, но шагал на гагах и снегурах по тому ли по синему гарусу различный речник; кто с променада идеей, кто из лесу с елками, кто в магазин, но все далеко-далеко, не близко. Неприютно оборачивается одному, растревожился. Веришь-не веришь, но есть кое-кто тут невидимый среди нас. Тормознул и светильник достал — гори-гори ясно, с огнем храбрей. И тут волка я усмотрел за сувоями. Не удивляйтесь, зимой эта публика так и снует семо-овамо, следов — угол. Лафа им, животным, что во́ды мороз мостит, и без всякой Погибели обойдешься. Перевези, ему говорят, на ту сторону козу, капусту и даже чекалку. Только не сразу, а в два приема, чтоб не извели друг дружку по выгрузке. И кто с кем в паре поедет, а кто один — решение за тобой. Ни козу, ни капусту везти не желаю, Погибель сказал, а тем паче его, пусть и в наморднике, перипетий нам на переправе хватает и без того. И когда усмотрел за суметами серую шкуру и глаз наподобие шара бесценного елочного с переливами, то заскучал я, козел боязненный. Побежать — увяжется хищник, в холку вцепится — и пиши пропало, копыта прочь. Да, смутился, но более осерчал, возмутился. Умирать нам отнюдь не в диковину, а по изложенным выше причинам и надлежит. Но от твари дремучей мастеру смерть принимать неприлично, неудобняк, уважение, хоть малеющее, должно к себе заиметь, мы ведь, все же, не вовсе заживо угнетенные, не вовсе шушерский сброд. Не отдамся на угрызение, стану биться, как бился тот беглый парнишка в чучмекских горах, торопливо дыша. Мышь летучую поставил на снег, скинул пещер, ободрился. Зверь сидит, наблюдает, голову набок склонил. Что кручинишься, Волче, налетай, коли смел. Уперся, нейдет. Достаю из запазухи горбулю обдирную и маню — на-ка, слопай, голодом, вероятно, сидишь. Волк подкрался, свирепый, хвостом так и машет — хап — и пайку мою заглотнул. Изловчился я, гражданин Пожилых, ухватил его за ошейник — и ну костылять. Мудрено

индивиду в таких переплетах баланс удерживать, в особенности на лезвие́, ну да опыт накоплен кое-какой, без ледовых побоищ у нас недели тут не случается. Как сойдемся, обрубки, на скользком пофигурять — слово за слово, протезом по темечку — и давай чем ни попадя ближнему увечия причинять. Толку мало, конечно, в подобных стратегиях, однако есть: дружба крепче да дурость лишнюю вышибает долой. Супостат изначально упорство выказал, вертелся лишь, как на колу, скуля, но не вынес впоследствии — рванулся, Илью завалил, но доколе ошейник выдерживал, я побегу препятствовал, и валялись мы оба-два дикие все, белесые, ровно черти в амбаре. А вдруг лампада моя угасла, рука моя ослабела — чекалка утек. И взяла меня дрема хмельная, лежу испитой, распаренный — судачок заливной на хрустале Итиля. И пускай заползает заметь в прорухи одежд, пускай волос сечется — мне сладостно. Положа руку на сердце, где еще и когда выпадает подобное испытать, ну и виктория — хищника перемог. А поведать кому — усомнится: где шкура-то. Черствые матерьялисты мы, Пожилых, в шкуру верим, а в счастье остерегаемся. А с холма, с холма высочайшего, словно государев о поблажках указ, пребольшая охота валила вдоль кубарэ, ретируясь из чутких чащ: Крылобыл на хребтине какую-то тушку нес, а стрелки, числом до двенадцати, — вепря труп. Интересно, что рожи у тех носильщиков от выпитого за срока стали точно такие же, колуном, да и шли они как-то на полусогнутых. С полем, с полем, охотников я поздравлял. Олем, олем, мрачные они трубят, будто умерли. Очевидно, мороз языки их в правах поразил. С наступающим, я сказал. Ающим, Крылобыл передернул, лающим. Славный, слышь, выдался вечерок, говорю, приятные сумерки. Ок, старик согласился, умерки.

Наконец докатился я, заваливаюсь в цеха. Там сошлась к тем часам вся точильная шатия — сошлась, разыгралась. Где в жучка святотатственного завелись, где в расшиши, а некоторые, грыжи не убоясь, чеканку себе позволили, тряпок несколько на живую нитку

сплотив. Озорничают, разгульничают, а одернуть, поставить на вид положительно некому, вольгот развелось всемерных — мильён. И тогда, хватанув рассыпухи, сказанул я коллегам сочельную исповедь-проповедь. Доходяги и юноши, я призвал, больше тысячи лет назад родился у южанки Марии Человеческий Сын. Вырос и в частности возвестил: ежели хоть единая длань соблазняет тебя — не смущайся: немедленно отсеки. Потому что куда прекраснее отчасти во временах благоденствовать, нежели целиком в геенне коптеть. Все мы усекновенные, и грядущее наше светло. Взять того же меня. Отпрыск своих матери и отца, штатных юродивых с папертей Ваганьковской и Всех Святых соответственно, начинал я с того же, но после известного происшествия судьба моя окаянная, овеянная карболкой и ладаном, меняется вкруть. Припускаюсь в различные промыслы и профессий осваиваю — куда с добром. В результате мытарствий, в итоге их, прибываю сюда и зачисляюсь в эту артель. Предстою я тут перед вами, вы все меня знаете. Пусть нагрянет к нам завтра в обед Мерзость полнеющего запустения, карла одряблая, дряхлая и картавая: с дятлым клювом. Но инда и перед ее физиомордией я скажу, говоря и с гордостью, что не ведаю выше имени, чем скромное прозывание русского по-над-речного точильщика. И если грянет мне голос — да брось ты свои ножи-ножницы, заточи, понимаешь, ради общего дела Итиль по правому берегу до грозного жала, навроде косы, то отвечу: пожалте бриться. Но не завидуйте, что снаружи могуч и сухарь — я внутри прямо нежный. И точу ли с кем лясы, железы ль — я их, а меня — по Орине грусть. Что за женщина, не изживешь ни за что. Но не корите, а кайтесь. Не у всех ли из вас завелись знакомки свои постоянные, но на медок потягивает к незнакомкам, к непостоянным, вожделеете ко греху. Знаю, бобылок своих привычных жалеете до гробовой доски, ибо тел и натур ваших порченых неудобоносимые бремена они, крепясь, переносят. Но возлюбили также и даму пришлую, и любите беззаветно, которая вам никто, и это тоже наравне с безобразиями и татьбой

нареку Заитильщиной. Пламень, в принципе, надо б на вас низвесть, но пока погожу, потому что и я же хорош, сам не лучше — с одной прописан, хозяйство веду, а по другой пламенею. Потому-то и донимают Илью побасенками запечные эти сверчки. Чуть заслышу — всплывут наши с ней вылазки и поездки по пригородным городкам с кузнечиками. Так не корите, и дело с концом. В те хмельные периоды возникали различные пришлые типа лудильщиков, бакенщиков, щепенникóв. Извинялись — на огонек, а в действительности — на дармовщинку. И они заодно разведовали: не подскажете, кто это из суки псаревой паршу всю повыколошматил? Господа, я в неведеньи, вот чекалку — да, его били, клочочки по закоулочкам. И выдал им про баталью, сорвав приличный аплодисмент. По прошествии праздников покидаю артель — восхожу, бахвал, в Городнище. Тоска по домашней оладье гнала под приютный кров, желалось и ласковости. Что я понял, бродя, — через что все устроено? Ничего я не понял, бродя, в том числе, через что все устроено. Вижу только — бобылка есть вентирь, Фомич, она — вентирь, а ты — натуральный ерш, и пораньше, попозже — но ты ее. Помните случай — не ждали. Я тоже притек, покаянный, она же бранит: что, притек, окаянный? Понапраслины не стерпел, распустил я тем Сретеньем руки, но и приятельница в долгу не осталась, воспользовалась моим обстоятельством. После чего примирились, оладий, раздобрившись, напекла, а там и до себя допустила. Едва проерыщилось, выскакиваю в сенцы — нет моих принадлежностей неотъемлемых, а оставил их тут в твердой памяти, в огуречной кадушке, крышкой даже прикрыл. Их держать тут привык — бобыльское ее чистоплюйство с костылями в горницу не велит: оно и с одною подошвой вашей хлопот полон рот, подтирай зá вами ходи. А подсолнухи сами на пол лущите. Вас я не спросила, чего мне лущить, не я здесь покуда жиличка у вас, но вы. Поглядел на крыльце — аналогия. Ведьма варево на лежанке тогда разогревала уже. Друг мой, я женщине этой рек, отчего вы опоры мои истопили в печи в угоду огню негасимому? Ой, плетете вы

сами не знаете что, окорачивает. В таком разе спровоцены, я заключил. Поделом вам, глумилась, ведь сколь упреждала, чтоб с вечера не отлынивали штырь в щеколду совать — и ухом вы не вели, вот и расхлебывайте. Нет, это вам поделом, пипетка вы этакая, это вы заставляли в тамбуре их оставлять, значит обязаны отныне Илью повсюду на санках возить, ибо новую пару приобрести я лично не усматриваю накоплений, а хватит ли у вас сил с убогим возиться, не хватит ли — никого не касается, а на которых салазках первомаем рассчитываете выгуливать, и вовсе не интересует совсем. Тэ-тэ-тэ, твердит, тэ-тэ-тэ, тараторка трепаная. В сей же день я обрел у ворот подметную грамоту, обмотанную срамной резиной от панталон и называемую — расписка. Цитатую. Дана гражданину И. П. Синдирела в том, что его принадлежности плакали связи с тем, что того-то числа ледостава-месяца он метелил ими гончую суку Муму, а возвращены ему будут вряд ли бы; мелкоплесовские егеря. И строчу я ихнему доезжачему — волк. Доезжачий ответствует — выжловка. И пошла у нас летопись. Она шла и идет, а я сиднем сижу-посиживаю. Профмозоли мои начинают понемногу сдавать, да зато набиваю писчие. Чем еще увлечен я? С дурындой грызусь, частушки ей вспоминаю смачные. Девки спорили на даче, у кого чего лохмаче, оказалось, что лохмаче у хозяйки этой дачи. Заливается — колокольчиком. Еще прошлое озираю — путешествия, странствия.

А изобрази на прощанье чего-нибудь, разъездной горевал, заделай нашу, побеспризорнее, или же общежелезнодорожное наиграй. Растянул я меха, а инспектор описывает. Он описывает — я пою. На Тихорецкую, я пою, состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, глаза печальные. Ух, нормальная, брат горевал. Я пою — он докладывает. Про охоту, про то, как отправился он на охоту по жароптице не так давно, и ботинки его охотничьи на подступах к Жмеринке внаглую из вагона снесли. Или про то, как загляделась на него в его молодости персона, служившая на энском

разъезде, где пестроватый шлагбауман, а поручик, в те годы корнет — ноль внимания. Начнет расспрашивать купе курящее про мое прошлое, про настоящее, налью с три короба — пусть поражаются, с чем распрощалась я — их не касается. На охоте, ошарашенный кражей, по цели выпалил, да не попал, но теперь, весь в регалиях, но век до нитки спустя, рассуждает, что главнеющую птицу судьбы проворонил, скорее всего, не под Жмеринкой, а на том пестроватом разъезде, деваху мурыжа холодно. Вот и нашли ее, говорит, под насыпью. Откроет душу всю матрос в тельняшечке, как тяжело-то жить ему, бедняжечке, сойдет на станции и не оглянется, вагончик тронется — перрон останется. Пел и мучился: ласточка ты моя, на кого покинула, сына забрав и фамилию обменяв ему и себе, и где вы оба сейчас — кто вас ведает. На берег Дона, на ветви клена, на твой заплаканный платок. Величали тебя по баракам — Орина Неклина, чья теперь ты, какого, положим, Паклина? А матросик — моряк-то, который в купе тебе встретился — смекаешь ли, кто? Прежде и я не знал — кто такой, какого флота, пропал или списан? Такой неизвестный казался, хоть памятник ставь. Ныне верю — матрос Альбатросов, и списан вчистую. Позвольте, знакомство с ним наше по ходу поезда. А попечитель слезу распустил, все песней не налюбуется. Видите, русский наигрыш даже и крупных чинов прошибает, а что уж с меня, с мизерного, взять — я очень расстроился. А посмотреть за окошко — там тоже веселого мало: хибары, декабрь. И какой-нибудь цы́ган, сума переметная — копия нас — с котомкой на палке и связками сушек на шее заместо монист — топчет саван родимых пространств, и пусть держится кандибобером, в очах его прочитаем, что положение швах, что брести далеко и всегда, пусть порой и не лично нам, а подохнем — настанет других черед, и поблажек особенных не предвидится. Худь свою прошлую и настоящую я в двух словах изложил — и мотало на стрелках. Да, блажен, блажен ты, Илья, позавидуешь, претерпел и хлебнул как следует. Не говори, говорю, так блажен — что-то дикое. Опрокинули,

пропустили. На боковую? — инспектор икнул. Я — ему: не потягивает, я по больницам свое добрал. Зубы чистить пойдешь? Виноват? Зубы, спрашиваю, спрашивает, пойдешь чистить? Извиняюсь, я — пас, не требуется. Совпадение, он сказал, обе челюсти не свои. А чьи же? — я посмотрел. Государственные, на присосках, поручик сказал, на. И вынул. Я посмотрел. Понравились сильным образом — белые, острые, что костоправ прописал, вот санитария шагает. А ты примерь, примерь, не стесняйся, поручик подбил. Я вправил. Ну как, приходятся? Как в аптеке, поручик, как на Илью они эти детали лили. Дарю, он вскричал. Что ты, что ты, возможно ль, такие презенты. Сродственник ты или нет, он вскричал, имею я право брательнику зубы преподнести: соси и помни. Ну добродетель, ну выручил, я всплакнул. Не бери в голову, попечитель смеялся мне, пусторотый, играй. Я запел, заиграл — бегло-бегло, словно бы из сибирских руд. Горя мало инспектору, что теснота — в пляску ударился, прелестями трясет. В светлой памяти юности мы таких пареньков жиртрестами прозывали: ничего, откликались как миленькие. Карусель я заделывал, вероятно, в ритме перебранки колес. Карусель филигранную: шевелись, раззадоривал, шевелюра. И находила на Илью в том же ритме удачная мысль, что, мол, зубы вставил негаданно задарма. Ай, зубы вставил я, эх, зубы вставил вдруг, мне зубы вставил сам, и так далее. Чего только не перемелет русский дурак за дальнюю дорогу из лазарета в Терем под скрип реборд; перемелет — и станет мука. И мотало на стрелках. До упаду плясун мой плясал: завалился на полку — и храповецкого. Снял я, значит, ботинки с него высокие меховые, бросил на добрую меморию в заплечный мешок, добрал, что оставалось в баклашке — на посошок, и приветствую в тамбуре моряка: на побывку, до маменьки? Вышло, говорит, у нас в каботаже нижеследующее чепе. Плавали на мариупольском сухогрузе два кореша, два кочегара — второй и первый, и море раскинулось им вполне широко. Но ведь когда второй из лучших соображений привязанности к анапской пацанке первого подбросил ему

в антрацит какое-то нехорошее вещество и ушел, то шли они как раз в Балаклаву, на завод газводы. Товарищ ушел, он дверь топки привычным толчком отворил — и готово дело. Значит, когда он врубил поддув и посунул свой шобер по самую, как выражаются на флотах, сурепку и пошел этим шобером шуровать, то шарахнуло — полный кошмар. И пламя его озарило. Тут заскакивает в котельное отделение тот кочегар, а кочегар ему: вот, полундра, имеем аварию, плакали наши золотники со всеми их клапанами — дай мне в зубы, братишка, по этому поводу, чтоб дым из меня пошел. Дать не жалко, братишка, над ним ухмыляется, только чем ты ее, папиросину, желал бы я знать, прихватить имеешь в виду? Я посмотрел, говорит, а у меня кистей моих что-то нет, оторвало — слезой блестит — как отрезало. И я, говорит, сказал тогда — кочегар кочегару: тоже мне, кореш еще называется, кочегарически говоря, швабра ты после этого, а не матрос — и мать твоя переборка.

13. КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Изморози — перейти. Курам — ходить по песку, удивленно печатая своими курьими ножками. Не любить этих птиц, но любить наблюдать, как печатают на мокром песке, не подозревая об этом; и ни о чем. Балаболки заслышались. Перекликались, но не аукались, т. к. шли вместе, сплоченной стаей. Мойра, проводившая в палисаднике на скамейке свои перезрелые годы, тоже зачуяла голоса. Тогда она отложила спицы, которыми с утра ковыряла в ушах, привскочила, всмотрелась в ту сторону и выкаркнула: ведут. Клубок серой шерсти скатился с ее колен, скакнул на клумбу и, сминая анемические ханимуны, покатился куда-то клубком брачующихся гадюк. Баракам — ждать. Вступая в обитель апрельской прелести простоволосо и в шапках, и не вытерев ног, говорили: ведут, накачалась. Сложному, смешанному духу самокруток и папирос

государственного кручения витать над собранием интересующихся. Никого тут не знать. Неплательщик усеченной каморки обыкновенно был вне, ему — пропадать на хранилище вод, у эллингов, клянча фантики у бесстыжих гребчих. Мускулистые тренеры, люди среднего возраста, уничижали просителя. Шла с распущенными, голову запрокинув, чтоб видеть сплошное синее. Белое демисезонное, распахнутое. Но завтра пригреет — и уже в сарафане. А кикиморы — в черном. Шоссе фиолетовое, в лиловых лужах, и если еще о красках, о впечатлении, то вот — мелкая молодая листва, на фоне которой дается шествие, сообщает вам впечатленье зеленого дыма. Две смертельно костлявые — под руки. Прочие шли, охраняя, кольцом, и все искали дотронуться. Уже давно, несколько мгновений замечал происходившее там, несколько лет замечал все из окна. Впервые — когда-то, потом — то и знай, а затем — постоянно. Когда бы, куда бы ни: черная ликующая сороконожка, горбатая мокрица полуподвальная. Меняется время года и дня, длинные платья стаи меняются на долгополые балахоны. Меняются декорации, освещение, обувь статисток, но жесты, гримасы, походка — не обнаруживают варьяций. Когда октябрь и на черствый сухарь гудрона ложится субтильное масло слякоти; поскольку туман и по сточным канавам старушьих морщин сочится милдью, ложно-мучнистая божья роса; если поздно, темно и осколки бутылочного стекла не блестят ни у пристани, ни в мусоре мусорных куч; то ли январь ставит болтухам ветроснежные кляпы в их тощегубые рты; ниже февраль-кривотроп, снабдившись клещами вьюг, тщится вытащить вещим трещоткам их сухожилые языки; или же лето, но пасмурно, и растут, возрастают над местностью слоисто-кучевые, выменообразные, — когда и поскольку, да если, да то ли, да или — тогда и постольку, и следовательно, стало быть, — никто не заметит приближения экспедиции, а и заметит — не выкаркнет, а выкаркнет — не будет услышан, а будет — безрезультатно: ютясь в керосиновом теплом чаду, опасаясь полипов и гланд, бараки не встретят, не выглянут. Лишь ты, начинающий

лицедей, прикинувшись ревнителем цельсиевой шкалы, а в действительности оценивая мирозданье, точнее, один из его путей, всякий раз обнаружишь их снова на пути их к фанерной обители. Если свет помрачился, угас, злыдни засветят свечные огарки. Бедных, косматых и некрасивых узришь ты; черты их истошны. Стоило шествию, впрочем, спуститься с насыпи, приблизиться к огородам, где сутулились пугала, ступить на убитую детскими играми и печатными курьими ножками дворовую твердь, как все, достигнутое балаболками в деле преодоления расстояний, оборачивалось фикцией чистейшей воды. Не помышляя вернуться, не отступив назад ни на шаг, шествие уже возвращено, сдвинуто, смещено на исходные рубежи, к горизонту, и, явно не замечая случившегося, продолжает однажды начатое — шествует, марширует, шагает, влача и толкая, понукая и поучая ту, чья голова запрокинута и увенчана столь несвежим, а издали — чрез очищающий кристалл пустоты — бантом поразительной свежести. И когда немало апрелей спустя один из ослушников разъездного училища окажется невольным свидетелем сизифого скольжения при клоаке-реке, оно, со всеми его особенностями, не явится вдохновенному юноше пугающим откровением. Сопоставит, сравнит два марша, отметит их сходственные черты и различия. Обернувшись при помощи байки в подобье кокона: они оба, заверишь как-то себя, грядущего на казенный общежитейский сон, они оба — симптомы неизлечимого временно́го недуга, исказившего естественное теченье событий и лет, течение бытия, русло течения. И зима навестила — вся в шевиотах и оттепелях. Пришла, горячо дыша нутром прикроватной тумбочки; то была сумма запахов — аседол, паста, вакса, копеечное средство, названное безо всяких обиняков средством против потертостей, мыло, и, разумеется, галеты Мария, присланные ею заказной бандеролью. Ты предпочел бы зиму, веющую маттиолой, желал бы аромата гавайской амалии, однако не морщился, не отворачивался неприязненно из опасения, что обидится и пройдет, а ты ведь хотел получше запомнить ее — дабы на завтра, весной,

оставив кокон до рога побудки, предать свидание карандашу и гуаши. Пришла и дышала. Пеплогривая, странная, цокающая ледяными подковами. И очнуться в цветах и цикадах, под одеялом с вышитыми верблюдами, которое вдруг стало мало. И очнуться в египетском саркофаге, в охотничьем шалаше, в башне господина Флобера, в Пизанской, в дупле тысячелетнего баобаба, обернувшись большим большеухим коало, вниз ушами висящим. И очнуться в значении меньшем или же равным нулю, в качестве тушинской пригоршни праха, туго забитой в тульский мортир. Мария уходит, рассвет. Разбить и пожарить и съесть три яйца. Крошками хлеба кормить свиристящих двух птах. Склюют и почистят перья, и снова засвиристят. А другие птицы за стеклами летели в сторону солнца, а другие сидели на белесых ветвях, а четвертые пытались печатать на смерзшемся розоватом песке, но следов, к сожалению, не оставалось. Искоса глядя на фабрику, на дымы отдаленных заводов и на работника, что, страдая, катил по настилам сверхурочную трясогузку с тряпьем, восходило светило. *Визит тряпкореза.* Жанрист-подвижник не нужен и неизвестен. Кухарка разорившегося аристократа потчует чем-нибудь завалящим заглянувшего на часок ухажора. Чаевничают на кухне за липким столом. Двери на задний двор приоткрыты, видна тележка, груженная благородным старьем. Непосредственно за двором берут начало задворки. За ними угадываются: кабак, шлагбаум, версты размытого тракта, острог, Сибирь и погост. Визитер неухожен, расхристан, корытолиц, его обличье носит следы всевозможных излишеств; кухарка ж вообще нехалява, а барин ее, худосочный седеющий ремоли, отчего-то прячущийся в чулане и робко лорнирующий работника (самый жухлый угол живописи), слегка отведя изысканной длиннопалой рукою замызганную занавеску, сам хозяин, в ночном колпаке и каком-то убогом, с обремканными кружевами жабо и манжет, исподнем, — совершеннейший нехолюза. Да не очнуться ль в его родовом поместье? В библиотеке? на витиеватой козетке? в лучшие дни владельца? им же самим? Сочинениям честолюбцев

покойных мерцать в шкапах золотыми тиснениями корешков, коль скоро Селене, безмозглому детищу глухонемого сумрака, будто бы проглотившей себя и тем потрясенной и возгордившейся, Селене с чертами диктаторствующей идиотки — вбирать своим сардоническим ртом, порами своего высокосиятельствующего лица кабинетную темноту, и свету — преобладать, и всему, что способно отсвечивать, отражать, блестеть и поблескивать — всему тому поблескивать, блестеть, отражать и отсвечивать. Но вот шевелению тополей, шебуршанию их мясистой листвы — предвестить скоропостижное утро, и луне начинать уже меркнуть и запрокидываться, закидываться, как в припадке падучей, скатываться с крыш несъеденным колобком, закатываться за них, капать в гофрированную ушную раковину, куда дудят по субботам щекастые дудари, сваливаться в парк военного отдыха, в купы платных платанов и публичных лип с их шевеленьем — скатываться, сваливаться и вертеться в их шебуршении чертовым колесом. Заря развенчивала, умаляла луну; так проходила ее слава. Сияние с неба проницало смеженные веки твои, лицо твое реяло. Но даже и в эти, исполненные высоких прозрений мгновения младости ты, в то время обыкновенный стажирующийся разъездной, не осмелился бы и предположить, что настанет пора — и ты сделаешься доезжачим. Первые метлы и скрежет хлебных лотков, изымаемых из ячей хлебовозов, и визг тех же лотков, съезжающих в преисподнюю по Бремсбергу: хлеб чьих-то ранних лет. А некто, столь же героически ранний, шел, страдая одышкой и сквернословием, а несколько погодя из пурпурных перст Авроры выскользнула первая конка — скользила по рельсам, везла пустоту, шипела подшипниками и троллеями и: вот и утро в мантии багряной ступает по росе восточных гор, — опубликовано было на маршрутной табличке приличествующими случаю иероглифами. И вообще — вдоль всей улицы самокатно шумели битком набитые экипажи. Вид пассажиров казался уныл, словно запах раскрытых, заклинивших, как назло, зонтов, которые с точки зрения исподлобья так

живо напоминают подмышки архиоптериксов, и которыми так и тычут друг другу в нос восторженно-сыро ворвавшиеся на остановке Театр восхищенно-сухо вырвавшиеся из него провинциалы после премьеры, открывшей очередной эзопов сезон. Неприметный сверчок окраин, в октябре ты особенно скрытен. Грустноглазый, вяло реешь клочковатою мгой, вечером тихо идя от качелей, от стапелей, от серых, как мокрая парусина, водно-моторных вод. Возникаешь, исходишь, находишь на: мелкий татарник перед шоссе, потом — на шоссе, на мелкий татарник за ним, на уютную балку Пренебрежения, на ненаглядные — ненавистные — ненужное зачеркнуть — палисады и кровли, чтоб и сонно, и слепо, и холодно заслонить это все, спрятать, сокрыть, утаить от чуждых свидетельств — клубясь, извиваясь и корчась раздавленно и бесшумно между пятью и шестью. Прячешь, скрываешь, таишь, а если спросить — отчего — не ответишь; наверно, не знаешь ответа? нет, знаешь, но не ответишь — и только. Только ответишь когда-нибудь, отъюношествовав, отгоревав, отгорев, но, как и прежде, ревнуя ту давнюю местность к чужим на ней, ответишь за все. Неразумная девочка, сирота и дитя сирот этой земли, я зову тебя — оглянись. Ведаешь ли, как ясен и чист неумытый лик твой, и сколько земных печалей сестер твоих слилось в неземных чертах его. Одинокая и единственная из всех единственных и одиноких, коим числа несть, гори-гори ясно — там, на булыжном шоссе, здесь — на разъезжей росстани, и в тупике, где лопух. Гори белым цветом, безгрешным цветком, гори, горькая, гори, робкая, гори, заветная. Гори для Якова, гори для всякого, смятенно спешащего на свет твой. От Георгия до Покрова, от рекостава до рекоплава, и от черного поля до белых, осеняющих осень путей — гори вселетье, гори всезимье, и белой пастушьей звездой твори повсюду свет кроткий, тайную милость твою. Радуйся — ни к чему не причастен извечный, нездешний твой образ. Там, на булыжном шоссе, здесь — на разъезжей росстани — гори негасимо в кругу погребальных старушьих голов-головешек — седых и чадящих. На том ли погосте, на той ли

горе — белей отдаленно, гори вознесенно, плененная воинством людоподобных крестов, бурые бугры оседлавших. Гряди, радуясь, — все-то небо оглашаешь ты кликушеским балабала. И приидоша сумраки, и темные летуны к ночи совокупляются в черные стаи — и только выспренние пространства внемлют сему ответу.

14. ОТ ИЛЬИ ПЕТРИКЕИЧА

Клеши, мичманка с крабом, бушлат в якорях — картинка. Представляется: матрос Альбатросов, списан без рук с сухогруза на бал сухопутной участи; а сам-то с которого года? Рекомендуюсь и я. В нашу гавань, говорит, заходили корабли, большие, говорю, корабли из океана, в таверне, говорит, веселились моряки и пили, говорю, за здоровье атамана. Все это так, черноморец сказал, но коснись-ка ты мне за любовь, перетряхни чуток музыку. А Хризантемы хочешь? И предложил вниманию слушателя песнь заветную, жалостную. Отцвели во саду хризантемы давно, а тоска все цветет в моем сердце родном. Свесил румпель на квинту мой Альбатрос, заперхил, кашель сухой морехода бьет. А как раз полустанок, и рохля хохлатская жмыхами обносит — периферия, окраина. Дверь рванул и ору: товарка, тэ зуби трэба? а то поиздержался в пути. Ой, трэба, трэба, без них зажурылась. Уступлю за трояк обе челюсти, подывысь, яки билы — кость. Уступил и сделался шепелявым сызнова. Ерунда, перебьемся, для благодарного закадыки и глаз на анализ. Скорый дальше — а мы в его ресторацию: кушай с голоду, лечись с молоду. Оккупировали на абордаж два посадочных и приказали всего восхитительного — до головизны вплоть. Огорчил ты печенки мне хризантемами этими, щукой быть, ведь когда был салагой, то я базировался на учебном плашкоуте, на утлой барже́, и не успел я очухаться, как на заплешине парка со всякими каруселями замаячила одна отчаянная мамзель — пацанка смурная, но безотказная. Поначалу один я

с ней цацкался, потом корешей свободных от вахт прихватывал, и как раз она все песенкой этой мучилась. И как с якорей снимались, я от аврала оторвался на час — и к девочке. На прощанье сует листок: все куплеты списала, и адрес на обороте — переулок, строенье и комната. Дескать, не забывай, шли фоточки. Но в походе писать особенно не о чем, запрещено, а после нас всех в училище на поруки приняли, а уж там тем более не до писем, времени — полный обрез: то губа, то приборка, то переборки зубришь, а то с кадетами из-за шмар номера — кроме шуток. Нет, морская душа, моя адреса не оставила, уехала просто неизвестно куда, и попробуй взыщи. Пробедовали мы с ней, проживательствовали в хавере ее весьма основательно, но не нажили ничего, кроме Якова — умненького, а все-таки дурачка, да и то — намекала, что не я его счастливый отец, со стрелочником пролетела якобы, потому что при стрелке она состояла, сутками дежурила на первых порах. Где и как, дознавался, в котором часу? Да на куче дресвы подсыпной, выясняется, у подсобки, где ужинали. Ужинали-не ужинали, поди проверь, но я горюнился сильно. Резала Оря меня без ножа, но было, подчеркиваю, втерпеж, а невтерпеж наступило, когда перешла в диспетчеры, где бестактничала вообще беспримерно. Гребень как гребень, а твой, черепаховый, на путях утеряла. Спрашивал, сплошь обманутый, не решаясь на схлест — ну, а этот-то с каких барышей? Отбояривалась, вся наглая, — его на путях же нашла. Юдоль твоя путевая, мыслилось, сама же ты — непутевая, не моя, не со мною твоя главнеющая приязнь, не в этой вот конуре, не на этой лежачей возможности, а на все тех же путях, даже Яшку тебе на шпалах изобрели. Я задумался.

А заря, скажу откровенно, занимается в зеркале похлеще любой заволческой, хотя Вам, наверное, мало понятно, что мы, которые население, Заволчьем зовем. Почему и гребу, водомер, на ту сторону. Резко-резко гребу, споро-споро, и мачты гнутся и скрипят, но Итиль широтою превысила спорость мою, и тощанка дневная

утреннему комариному толкуну на ходу подметки срезает. Достигаю к обеду, и ялик рыбкой с размаху выбрасывается на песок. Перекурил достижение дукатиной Вашей второй и тащусь на скрипучих вдоль, наблюдая, как лилéи растут. Подтверждаю: не трудятся, не прядут, но одеты с иголочки. Но пробегая мои настоящие очерки, Вы вправе воскликнуть протест. Недоуменье улавливаю, не дышлом кроен, хоть гондрыбат, но давайте условимся раз навсегда: костыли — костылями, грибы — орехами. Не могу же я из-за первых, по мере их неприсутствия, тридцать лет, как тезка из Мурома, сиднем сидеть, оставив поездки по третьи и по вторые, да три по рогам. Слава Богу, навестил меня Крылобыл и, соболезнуя, надоумил. Илия, мудрит, Петрикеич, настаиваешь, время единовременно, что ли, повсеместно фукцирует? Я сказал: я не настаиваю. Мне таить, Сидор Батькович, нечего; если настаиваю — то настаиваю, а нет — то сразу: не настаиваю и баста, зачем темнить. И я прямо ему сказал: можешь обижаться, серчать, твое право, но вот тебе мое слово: ну не настаиваю. Смотри, Крылобыл, этот умняга, учит, давай с тобой не время возьмем, а воду обычную. А давай. И останови впечатление, тормошит, в заводи она практически не идет, ее ряска душит, трава, а на стрежне — стремглав; так и время фукцирует, объяснял, в Городнище шустрит, махом крыла стрижа, приблизительно, в Быдогоще — ни шатко ни валко, в лесах — совсем тишь да гладь. Потому и пойми уверенье, что кража, которой ты — жертва, случилась пока что лишь в нашем любимом городе и больше нигде, и на той стороне о ней и не слыхивали. Стоит, значит, тебе туда переехать — все ходом и образуется. Принял я это к сведению и заездил на будущем челноке в позапрошлое. Главная сложность — добраться до причальных колов. Несмотря на графы, параграфы волонтеров ущербным способствовать недостаток у нас остреющий был и будет, на то мы и избраны. Посему в похождениях известного толка мне, дяде, соучаствуют знакомые Вам троюродные плетни. Перегреб и тащусь вдоль кромки Лазаря наобум, хромотой хромоту поправ, Вы же — здесь,

в настоящем периоде, изучаете сей волапюк. Поднялись на терраску проветриться и обратили воображение на меня: наш пострел-то, заститесь, всюду поспел — в Заволчье точильщика зрю. Нет, это я Вас там вижу, ибо не я там, а Вы. Словом, оба мы правы. Ведь поскольку на разных мы сторонах, то и различная у нас география: Вы за Волчьей и я же. Ну и вот, дитя вниманьем забросила, возвращается выпитая, а я — скандалист. И однажды Орина мне напрямик, что давай-ка игрушки мы пополам. Илие делить было нечего, его всех игрушек из рода скабра типа тарелки-портянки — раз-два и умылся. Поместил амуницию во влагалище неветшающее, в мешок, поклонился изменнице, сынулю неро́дного, вероятно, поцеловал, съехал по перилам на нулевой этаж и открыл под лестницей как бы скорняжный цех, как бы холодным заделался скорняком. На поверку же промышлял крашением и сбытом надувных аптечных шаров разных, изобретал и уйди-уйди. Не вызывает сомненья, что тут и спал, и слегка погодя, во избежание недомолвок с держащими власть, промыслил патент. Каким Макаром — статья одиннадцатая, но заказов набрал — кот наплакал, приходилось вертеться по местным составам и перелицовывать койчто из старья; поднаторел и на инструментах. А то — зальешься, бывало, зарею на свалку — и ищи-свищи тебя, непоседу. Широко и вольготно, рискну заметить, раскинулись отхожие эти поля; далеко-далеко отойдешь порой в поисках радостей — затеряешься. За трудами все тянется незаметно, вот уж полдень, и если не заморозки, то жаворонки. Заберешься на гору хлама передохнуть — дух займется: сторонушка хоть куда. Осмотри́тесь. На западе ветошница при долине граблями мусор гребет, на севере сучара трехпалая рыщет насчет пожрать, на востоке сержант в запасе в ручье ковыряется — мотоциклетку бредит собрать по частям, а на юге шантрапа радеет по части чинариков. Мир, покойно, никто никому ничего, потому как человек человеку тут человек, не более; и дымки отечества повсеместно, как в то восстание — мусор тлеет по-тихому, панорама — куда ни плюнь. И такая к ней близость

внутри щемит, что домой возвращаться — да ну его. Привлекают нашего обитателя просторы своей земли и рожна чужого он не взыскующий. В те же кварталы составил приличную, если выразиться, крышкотеку, собрание, то есть, разноцветных закруток от саморазличных микстур: одеколоны, духи, да Вы знаете. В этом смысле неоценимую помощь советами и приветами подавала та западная ветошница, тетка в теле, благовоспитанная и с опытом, а годков тянула с хвостиком на шестьдесят — деликатес да и только. Приключение позадавнее, и что было, того не утаю: увлечение с ней выгорело мимолетное, как случилось, впрочем, и с ее внучатой опечной, или вроде того, в чем, понятно, винюсь, если требуется, задним числом. Плоти дамской соблазн велик есть, эта штука такая — вожделеем и взятки гладки. Так и тут: начиналось почти что дуриком. Фордыбачила, сторонилась, хмурилась, а поглубже копнешь — все без разницы. Поговаривали по баракам, будто бы не в себе она, родом так, но я лично ничего исключительного бы не вменил. Единственно, голова у нее довольно-таки небольшая была несуразно, да ветошница уверяла — до свадьбы дойдет, оправится; что ж, дойдет так дойдет, опекунше видней. Один раз присылает свою девулю со шкуркой какой-то, чтоб отмездрил, — и разволновался я на склоне судьбы. Только дурного не усмотрите, Фомич, я сначала лишь любопыство унял, как у нее обстоит-то, в ее, то есть, лета, знаете ли, ну и задвинул задвижку-то невзначай, от себя, читайте, тайком. Потом прикидываю — чем лукавый не шутит, рискну, не все ж по расчету, с бабушками, неплохо бы и со внучатыми иногда, без ко́рысти. И случилось непоправимое, применился к невзрослой волнительно и сгоряча. Уговорились встречаться; когда под лестницей утешим себя, когда под карбасом. Через ряд месяцев стороной, от знакомого гитариста, кому обязан по гроб нотной грамотой, узнаю, что матросят укромно мою малолетнюю какие-то речники. Я — сквозь пальцы, не мыло же, не обмылится, а дело их молодое, правое — поматросят да бросят. Орина меня заботила, *ее* контакты сводили с рельс,

и по ней, под карбасом, испытывая одиночество, горевал, по тряпицам елозя, которые сжечь бы, чтобы не пахли. А жировала на ветоши и взяла за привычку гулять по местам обнажения щекотливая дрянь вроде мух. Поначалу не беспокоили, напротив, приятствие извлекал, но ближе к Успению закусали, и поощрение кончилось. Жил да был во дыре уключины мизгирь-крестовик. Все он днище, как небо высокое, паутиной оплел. Насекомых отлавливал я и в тенеты к нему кидал. Как же душу он тварям этим, бессовестный, вынимал аккуратно, ужасы. Паша, грядый, Паук ты мой, Петр племяннику из деревни писал, я не видел скушней события, чем январь без дрождей, доставляй — кровь из носу. Сердцем верю, он продолжал, сердцем знаю — не подведешь, но умишко слаб, соблазняется: не привезешь ведь; ахти нам в таком разе, пьяницам. Именно тогда-то и шлет мне Павел известие с фенистом. Илюша, сударь, пророк ты наш, вот ведь втемяшилось нам с Петром браги себе запасти, а поскольку ты и без этого добра нам желаешь, и с буквой помог, то не поверишь ли, кроме того, в долг деньжат, ибо дрожди в Заволчье всему предивному уподоблю, а зиму без оных сравню с весной без сапог, или с той же зимой, но без катанок; сном кобылы рябой, подвизается, запорхает над нами, апостолами, так уж пожалуйста. Раздобыл я бумаги, песку, обмакнул я перо в чернильницу и залюбовался на двор, где снеговая бобылка, мной лепленная, схватила форменную капель. На календаре — конец бокогрея, но скалиться погоди, еще марток оставит без порток. Фениста, возражал я Павлу, напрасно не засылай, денег вам с дядей от Ильи не придет, я не деньги пока точу — исцеления, да и то уважающим, а тем паче на пропивон: не довольно ли зашибать-то; но перед тем, как я, может статься, вам денег пришлю, вы мне прежде доставьте с нарочным принадлежности. Которые? А те, которые вы и подобные вам преподобные спроворили в декабре, выбрав неразбериху сумрака и кутерьму буранчика. А до доезжачего сведения довел ультимат, что раздор наш решить хлопотал бы келейно, без вынесения на высокие кровли, согласясь,

что не волк и не выжловка, но как бы ни то ни се, наподобие раннего вечера, и рассчитывал бы, уступчивый, на возврат одного вместо двух. И ответ. Протри, оскорбляет, светильники тела и наблюдай, как бы не выбросило ненароком во внешнюю темноту. И тогда я решил предпринять настоящее к Вам послание, а Паука с его просьбой забыть, презреньем наказав. Сказано — сделаем, но не забыть — не к ночи будет помянуто — как душу он мухам хоботом своим вынимал под ладьей.

И задумался. Оря, ты Оря, раззуживали и тебя в изложинах на тот же манер. В будни получки, в аванца ль пятницы в знаменитых ольхах за линией гужевались с тобой бестрепетно не знакомые мне подмастерья, удалые твои товарищи, учащие путевых ремеслух. Слабоваты вы, Орина Игнатьевна, как выяснилось, на передок, не ровно к сладкому дышите, и не гребень утратили на путях, но честь. За гранененький неполезной, кашинской, как вы только ни ласкались об них, злоблудучая фря. Что же, я бы тихо желал понять, никогда Илию так не баловала. Произрастала купина одна неявная, но густая и близкая, и в протяжные сумерки подмечал из нее самостыдное; содомляне вы были, матушка. Шел затем к малохольной, ища отыграться, но с ней — ровно с куклой: глядела, как оловянная, не потакая и в малой прихоти. В будень путейской получки, в аванца ль пятницу, дербалызнул от чьих-то щедрот, подобрал чего-то железное у депо и пожду в знаменитых ольхах за линией. И показываются те стрекулисты, недомерки в шестнадцать мальчишеских, и ведут мою профурсетку на лобную поляну любви. Я решил переждать — пусть начнется; тогда, отвагою более полный, и ударю из-за кургана коварным нехристем. Споро, пятеро, залили они буркалы себе и ей и поехали кто во что горазд. Эх, мерекаю, пора-не пора, иду со двора. А после соображаю: поспешишь — насмешишь, ненароком спугнешь раньше должного, погожу. И перечитываю от нечего делать подобранный также билет за номером, чтоб не соврать, восемь тысяч четыреста двадцать два

ровно, годящий для путешествия в прошлом году до такой незабвенной земли, как Луговая Суббота. Принял свое участье в Илье настоящий картон, очень принял. Представляете, Луговая Суббота, Фомич. То есть мало того, что суббота, но еще ведь и лугами обрамлена, и, пожалуй, что даже и заливными. И ливенка в них заливается. И гуляет себе выходной, отутюженный, а то и с тросточками, народ, улыбаясь лучисто чему-то правильному. Все смиренно, никаких мордобитий, перебраниваются лишь извозчики с водовозами, но ведь и то зеваючи. А замыслили компанией в теньке посидеть — отойдите, судари, в кущи, к особым ларькам, — и отдыхайте во здравие. Вообразил себе эту нездешнюю алафу и беру обязательство: что б ни случилось, какие ни передряги, ни прочее — Луговой Субботе в текущем существовании визит нанести. И завязал узелок. На галстуке. И когда мы с матрос-Альбатросовым свистнули себя всех наверх, резко оставив буфетец-вагон при пиковом интересе, и выдвинулись на полубак, то пароходец наш сшвартовался как раз у должного дебаркадера. Мы сошли, осмотрелись и прокантовались в этой дыре пару недель — глушь да дичь. На безденежьи и с уныния заторчали там, как тушканчики и, имея беседы с местными, говорили им, говоря: а еще Луговой Субботой зоветесь. Насшибали полтинник на курево и по веленью сердец почапали в Городнище дурить и, придя туда, ознакамливаемся: как жизнь молодая? Ничего, отвечают, нуждаемся понемногому. А закусить чем смекаете? Потоорохами которыми-нибудь чрево набить — вот, смекаем почти всегда. И придя туда, стали там быть и, избыточествуя недугами, бывать. В день дорожной получки, в аванца ль день чекалдыкнул в пристанционном шалмане с путевиками-пропойцами — и ревную в купине с железом наперевес. Как выскочу, как выпрыгну с секирой — ага, уличаю, ага! А они — ату меня, ату. Ну, крепись, кричат, задрыга сякой! Четверо догоняют и сбили влет. И топтали, интересуясь: что, законно попутали мы тебя, бляха-муха? Попутали, плачу, околыши, застукали, молоточки в петличках, как есть законно. Рвусь — ан цепкие. Измордовали, что

Сидорова, измызгали и — гляжу — повлекли, несчастливого, по серому шлаку да вниз мурлом. И втащили на насыпь, мизгирики, к рельсу проволоками колючими принайтовливают, неуемные. Льзя ли, гаврики, я страдал, что я — лисенок вам, что ли, какой. Цепкие, грабками хваткими к шпалам воньким совсем пригнетают, дышать не дают каверзно. Прикрутили, как валенок к снегуру Норвегии — вдоль и намертво, пассатижами, и слиняли, бояки. Жутковато и мне — жду скорого. И — как принято — стал ушедшее освежать: как пожил на этот раз, пристойно ли. Так прикинул и эдак, а ничего, главным образом, характеристика. Господин слыл солидный, почтенный, дромом, что говорится, не грабил. И когда уже сыпались сверху огарки небесных дел, то возникла помочь эта странная, все-таки, Оря. Лисом бедненьким величала Илью несносного, проволоки откручивать принялась — и колотун ее бил. Я же всеми лопатками чуял, что подступает мой скорый, а проволок — масса и толстые. Метров маловато оставалось ему, фонарями уничижал, шумел. Я сказал: Оря, дусенька, до встреч, отойди. А она: ну, а вместе-то. Не со мной, отрицаю, с околышами ты вместях. А она: об этом не злись, с ними так я, со шпингалетами, — побаловаться, побывать, с тобой же мне радость выпала, было мне с тобой, как земле с травой, говорит, и нестрогость мою запамятуй — минуло, зажило, зубы острые, хвост долгий. Перепутала ты, мать, что-то путаешь, неужели всерьез я на лиса смахивал. У сороки боли, твердит, у вороны боли, говорит, у Ильи заживи, заговаривает. Я рванулся, рванулся, подернул, но частью не преуспел. Налетел, искромсал, горячий, руки-ноги по белу свету поразметал. Прибыло полку доходяг, принимай, командир, пополнение. И лечебница. Не обнаружив впоследствии на себе сего да этого, я вскипел и потребовал утешения. Подплывает врачина в шапочке. На вопрос, где подруга, — он скупое: с ней худшее. Костоправу — ступай полечись-ка сам, разрешаю вам не поверить, ишь — выдумали, я бузил. И потекло мое исцеление. Имелись газеты, шлепанцы, полагалось бритье.

*

И воспомнилось, как лезвиями точеными хвалясь, хорохорился Гурий в среде артельщиков, что не выпадало ему печали с доезжачим гонки гонять, обшаркаю, утверждал, как стоячего. В результате заспорили, поставили на кон вина. Получив извещенье-уведомление, доезжачий приветствует. Столковались бежать нормально, по-темному, и, обладая слепой дальнорукостью, как сейчас я их вижу — тот в латаном, тот в перелатаном. На разгоне рвали когти ноздря в ноздрю, а стремиться им было от самой что ни на есть портомойни до Слободской протоки, до Кабацкого острова номер два — и назад. И понеслась коньками резать лед. Снег вивучий следы их подвига порошил, и рыбы атлетов не столько видели, сколько слышали, зато в скромном будущем одного участника сподобятся, может быть, поклевать; молись, рыбка большая и маленькая. Начал Гурий за пару верст до поворота понаддавать, а доезжачий — поотставать, но принял Гурий немного правее, чем следовало, и угодил в полынью, в промоину в районе фарватера. Не застывает ни при каких кондициях, и немало сонных тетерь-ямщиков и лунатиков-скороходов там кануло. Не досчитались и Гурия, угодил — и течением его сразу под лед сволокло, так что псарь со своей стороны — лишь разнюнился. Тризну по волкобою порешили справлять без фактического его присутствия; ждать, пока он там выплывет неизвестно где и когда, ребетня ли его бреднем вытянет, никто как-то особенно не стремился, народ в большинстве своих случаев ушел в недосуг. Вот и съехались к погребальщику. Вы Заитильщину знаете, спорам и прениям здесь предел, хотя б и сравнительный, положить невозможно: заспорили про любовь — кто, мол, она, мадама эта, всецело прекрасная. Всяк свое утверждал; одни — подобно Василию Карабану — что Вечная Жизня зашла погостить, одни — напротив: раздор, недород, события. Я же, будучи пас, не встреваю, держу нейтраль. Но Вам — Вам признаюсь, правда, не для передачи другим, а то и так тут Илью за горохового шута держат. Для чего, с какой немыслимой стати упросила очкариков меднаук, чтоб мозги мне запудрили — не разберу. Ныне

же кается, ищет по всей реке: не среди ли вас тот, которого. Врут, что нет, потому что сами по уши втюрившись: не знаем, о ком печешься, но побывать с тобой каждый не прочь. И Гурий туда же, даром что чудь. Ненаглядная, умолял, плес наш не узок — широк, и где ютится сей юноша, я не имею понятия, сознаю лишь, что если бы заглянула на немного ко мне, то трен моей сути, узкий, как точеное лезвие, стал бы широким, как этот плес. Перебыла, поговаривают, с ним накануне решительного его заезда с главным псарем всего ничего, но и оно очутилось просителю боком. Беспокоюсь: погибель она моя суженая, и меня она, Оря, ищет, Фомич, тоскуючи. И не знаю, какие взять меры — пропасть ли без вести, или с повинной к ней приковылять самому. Но ни то, ни другое пока немыслимо. Крылобыл — вот кому доверяю, кого хвалю — Крылобыл егерей корил: вы, свет очей собственных, верните калеке калеково. Воссуетились, но искомого след простыл. Может пропито, может кинуто за ракитов куст, может просто уплыло вниз. Но Илье-то что за беда, Илье — вынь да положь, где взял. Заторчал, заторчал он сильно без них. Кому Слобода, Вышелбауши, кому Городнище, а он — сиди, будто на блевотине пес. Полюбуйтесь, к слову сказать, сколько их возле нашего заведения в оцепленьи дежурствует. Полагаете — подаяния ожидают? Отнюдь, им надеяться не на что, не заслужили пока. Нет, не подаяния — выдвиженцев ждут. И едва вы начнете изнутри выдвигаться, так эти псы собачьи катяхи свои леденелые глодать принимаются да языки показывают. Прост расчет их: вероятно, на эти мерзопакости глядя, то ли просто от свежего воздуха, вы и стравите им макароны по-флотски за гривенник. А вы пожадничаете — завсегдатай поблагородней расколется. А ждуны подбегут — и пока суть да муть — все слопают, на морозе парного почавкать не худо ведь. И хмелеют немедля, и свадьбы-женитьбы у них происходят безотлагательно, прямо на́ людях, и родятся в итоге такие ублюдки, что лучше и не показывайте. Родятся, окрепнут и, как деды и матери — по торной тропе, боковой знаменитой иноходью — марш-марш к тошниловке.

Ау, не обрывается здесь у нас поколений-то этих цепь, гремит, побрякивает, и не скроется с глаз наших чайная, стоящая на самом юру. Все мы детвора человеческая, дорогой, и пропустить по стопарю нам не чуждо. Вникните в мое положение по-истинному теперь, как же тело Илье раззудеть, не памятуя уж о более прикровенном-то. Препроводит подруга на лавочку у ворот — и сижу, маломошть, под соснами, соседок в соблазн ввожу. Чу! шапка снегу упала мне на чело; вольно ж тебе, дятел, гляди, достукаешься, удод. Сбили, сбили с панталыку Илью, очутился он сбоку припеку, потешается публика над его субботами. Вот она, Заитильщина как таковая, Фомич, и небытия вкусить нам не терпится. Но не извольте побаиваться — перемелемся и назад. Все уже случалось на Итиле, все человеки перебывали на нем. Скажем, явится кто-нибудь, а его окликают: гей, людин-чужанин, будешь с нами? Но пришлый их окорачивает: обознались, я свойский, ваш, памяти просто у вас нет обо мне, наливай. Утверждаю и я — околачивался, селился, бывал Джынжэрэла на Волчьей реке, пил винище, вострил неточеные, бобылок лобзал и отходил, когда надо, на промысел в отхожий предел. Зато и мудрый я, как, приблизительно, Крылобыл. Тот примечает, настаивая: все — пьянь кругом, пьян приходит и пьян уходит, а река течет и течет, и все как есть ей по бакену. Я согласен, но уточняю: пьян приходит и сидит безвылазно в кубарэ, а она течет, но берега остаются. А на берегах мы кукуем — и жизнь наша вечная. Но я заболтался с Вами, пора и на боковую. В случае чего забредайте почайничать без всяких обиняков — почайпьем, почаевничаем. Причем, чем осмелюсь донять, так следующим: нету ли фантиков лишних? Любитель, к собирательству владею призванием. Приносите как есть, заодно с конфектами. Соль же, спички и прочие специальности постоянно при нас. А за почерк дурной, вне сомнения, извиняйте, в известных торопях составлял, да и подлечился малость хозяйкиной милостью. И подпись благоволите. А если неграмотный — крест. Слушьте, откуда только фамилья подобная, где это я ее подцепил? Что ли я цыганский барон,

то ли просто ветром надуло. Как бы там ни было, вышеупомянутое надо мне как-нибудь на бумаге запечатлеть. И песочком присыпать. Всего исключительного.

15. ЖУРНАЛ ЗАПОЙНОГО

ЗАПИСКА XXVIII
Воробьиная ночь

Воробьиная ночь. Не сомну
Ни подушки, ни в целом постели.
Полюбуйтесь, опять налетели
В помещение нетопыри.

Улетайте. Уж будет терзать.
Что вам проку в охотнике бедном.
Ведь и так на челе его бледном
Очевидна мучений печать.

Улетели. Какая печаль.
И тревога. И все, что угодно.

Рукомойник. Лопата. Челнок.
Перелаз. Одуванчик. Седло.
Занавеска. Иголка в стогу.
Сам с усам у кота во глазу.
Мотылек и лягушка. Жасмин.
Совершенно сухое гребло.

Неизвестен событий исход.
Так и будет сверкать бестолково,
Или грянет пророково слово?
Или только покаплет слегка?

Окарина. Телега. Стакан.
Чучела́. Чистотел. Таракан.
Перемет. Носогрейка. И жбан.
Ради воздуха линь или сиг
Сиганет из постылого плеса,

Сиганет и зависнет на миг.
Знаком крика.
Иль знаком вопроса?

Мотылек и улитка. И гвоздь.
И берданка на этом гвозде.
Борона. И застреха. Грязло.
Колобок. Стеклотара. Кобел.
Банка с ко́ломазью. Осташи.
И стрижи под застрехой.
Сидят.

Совершенно другое гребло.

Кто же взвоет в отчаяньи? Портной,
Потерявший наперсток стальной?
Или Царь, отдавая в мешке
За хромую кобылу полцарства?
Иль гусар, палашом по башке
Сам себя хватанув из гусарства?

Острова. Или тень стрекозы.
Или смерти речная коса.
Прозябание дальней лозы.
Шкура вепря. И сала кусок.

И кресало. И ржавый конек.

Гребень. Ступа. И помело.
И записка: ушла по грибы.
Октября позапрошлого года.

И подкова от лошади:
Слепок с ее же губы.
Или выспренно лопнет струной
Во саду гитарист записной?

Или Мамы-Марии улыбка.

Повторение. Жаба. Жасмин.
Рукомойник. И лужа под ним.

Чу: на том берегу, одинок,
Захихикал рыбарь-одноног.

Озарения. Запах озона.

ЗАПИСКА XXIX
Рассказы заво́дского охотника

Inter canem et lupum,
Меж волком и псом,
Оттопыренным ухом
Месяц плыл, невесом.
Мы гуляли в отаве,
Под каким-то кустом,
В отдаленьи составы
Бормотали мостом.
И жужжал в отдаленьи
Лесопильный завод,
Дерева на поленья
Он распиливал вот.
Наша общая кружка
Пахла воблой слегка,
Пахла ворванью, стружкой
И струилась река.
И заводский охотник
Нам рассказывал, что
Он — заводский охотник,
Он рассказывал, что.
И по мере того, как
Убиралось вино,
Зорче делалось око,
Очевиднее дно.
Но недоброй ухмылкой
Озарились уста,
Когда стала бутылка
Уж и третья пуста.
Но зеленой кобылкой,
Сушеной такой,
Проживала бобылка
Не зря за рекой.

Та бобылка-кобылка
Для гуляк, вроде нас,
Берегла то бутылку,
То жбан про запас.
Был, как ухо над лугом,
Наш челнок невесом,
И, труня друг над другом,
Заплескали веслом.

ЗАПИСКА XXX
За Жар-птицей

Мимо побегов, побегов осоки,
Скорый не столько идет, сколько мчится.
В нем и в ботинках, в ботинках высоких
Мчится охотник один за жар-птицей.
Строг проводник относительно чаю:
Чаю? не чайте, весь вышел давно.
Строг и буфетчик: не отвечая,
Вышел куда-то и тоже давно.
Н-да-с, размышляет высоких-высоких
Этих владелец ботинок-ботинок,
Глядя на: Пейте фруктовые соки! —
Высший указ, помещенный в простенок.
Сумерки, насморки, вот и граница.
И по вагонам, сверяя листы,
Горных, речных и болотных полиций
Бродят с проверкой ботинок посты.
Ваши ботинки. Ботинки? извольте,
Только учтите, что левая жмет.
Вы арестованы! Впрочем, позвольте,
Недразуменье, Федот да не тот.
Станция. Сцепщики. Циклю иль скобель
В сторону стрелки протащит столяр,
Смазчик пошутит со смазчиком, шнобель
Свой сизокрылый кривя, как фигляр.
Нечисть перронная, некто сопатый,
Партпапирос свой откупорив, кос,

Артикулируя, как логопаты,
Даст чаровнице пяток папирос.
Снова бежит. А тебе все не спится.
Ночь и лоснится, и пахнет, как толь.
Трепетно, жарко, стреноженной птицей
Брызжет по жилам твоим алкоголь.

ЗАПИСКА XXXI
Эпитафии Быдогощенского погоста

Заброшена церквушка,
Былье пустилось в рост,
По сумеркам кукушка
Слетает на погост.
Кого она считает,
Кого она зовет?
Пропащих урекает
Иль просто так поет?
Придут об эту пору,
Короче говоря,
Сюда, на эту гору,
Гуляки-егеря.
Немедленно — по двести,
И сразу — по второй.
Привык ты с ними вместе
Поужинать, друг мой.
И любишь ты, хоть тресни,
Послушать их тогда,
Историй интересней
Не слышал никогда.
Откинувшись, весь тощий,
На безымянный холм,
Скажи: о, Быдогоще,
Странноприимный дом.
И мы, скажи, погоста
Забвения хлебнем,
Ну, а покуда — гости,
Хозяев помянем.

* * *

Тут похоронен Петр
По прозвищу Багор,
Его все звали Федор,
А он себя — Егор.
Он был хороший егерь,
Но спорщик был и вор,
На краденой на слеге
Повесился на спор.
Кто спорил с ним — живите,
Да с вами благодать,
Его к себе не ждите,
А он вас будет ждать.

* * *

Там — перевозчик Павел.
Жестокая судьба:
Он чаял, что избавит
Могила от горба.
Пошел и утопился.
Никто найти не мог.
Сам после объявился —
Раздутый, без сапог.
Семнадцатого мая
Препроводили в гроб.
Могила ты сырая,
Твой холм — не краше горб.

* * *

Иван был стекольщик,
Хрусталь не любил,
Поэтому больше
Из горлышка пил.
Любил он толченым
Стеклом зажевать,
Но вдруг подавился —
И вот не узнать.

Любовь — это счастье,
А счастье — стекло,
Стеклянному счастью
Разбиться легко.

* * *

Жил одиноко — один да один,
Шит был, хотя, и не лыком:
Дудки вырезывать из бредин
Мастером слыл великим.
Дуть ли в сиповку иль в ус не дуть,
Байки ли гнуть, подковы ль,
Все это, право, не важно суть,
Был бы гуляка толковый.
Бредит улыбчиво ветра мотив
В горьких губах осокоря,
Гурий-Охотник, берданку пропив,
Взял да и помер от горя.

* * *

Здесь лежит рыбак хороший,
Рыбу он скупал,
А потом себе дороже
Продавал.

Позавидовали Коле
Горе-рыбаки,
Встретили с дрекольем
У реки.

Спи, Николка, Волга плещет,
Блещет огонек,
Пусть тебе приснится лещик
И линек.

ЗАПИСКА XXXII
Эклога

И вот, не отужинав толком,
Поношенный пыльник надел,
Сорвал со гвоздя одностволку
И быстро ее осмотрел.
И вышел из дому. Собака
За мной увязалась одна.
Бездомной считалась, однако
Казалась довольно жирна.
Но это меня не касалось:
Казалась, считалась — все вздор,
Мне главное — чтоб не кусалась.
Я вышел. Вот это простор.
Из дому я вышел. Дорога
Под скрежет вилась дергача,
Вилась и пылила. Эклога
Слагалась сама. Бормоча,
Достигнул поленовской риги,
К саврасовской роще свернул
И там, как в тургеневской книге,
Аксаковских уток вспугнул.
Навскидку я выстрелил. Эхо
Лишь стало добычей моей,
И дым цвета лешего меха
Витал утешеньем очей.
Какой-то листок оторвался
От ветки родимой меж тем.
Зачем? — я понять все пытался.
Все было напрасно. Затем,
Домой возвращаясь деревней,
Приветствовал группу крестьян,
Плясавших под сенью деревьев
Под старый и хриплый баян.
Но месяц был молод и ясен,
Как волка веселого клык.
Привет вам, родные свояси,
Поклон тебе, русский язык.

ЗАПИСКА XXXIII
Возвращение

Охотник выстрелил — ружье дало осечку.
Прохаркала ворона невпопад,
И граммофон наяривал за речкой,
И пахло репами, как жизнь тому назад.

Чего спешим, бездумно тратя силы,
Торопимся вдоль пашен и крушин.
Вернемся ведь — а в доме все, как было,
И в зеркале — все тот же гражданин.

ЗАПИСКА XXXIV
Стрелецкая

Я пил накануне один до собаки и волка,
А после до мрака с матерым я пил вожаком.
И плакал о чем-то, шагая тернистой и колкой
Тропою в деревню, где слыл пропалым мужиком.
Мне снилось — я умер. И сверху полуночный кто-то,
Чьего я не мог рассмотреть, хоть старался, лица,
Направил: Запойный, вставай и ступай на работу:
Подымешься в небо, послужишь созвездьем Стрельца.
Во Вшивом бору, там где вепри особенно дики,
У тех ли полян, где жируют оленьи стада,
В купинах седых, осиянных луной, куманики
Нашел я начало дороги отсюда — туда.
Она была млечной. Не рос подорожник зеленый,
Не слышался в клевере сладкий умеренный гуд,
Не сыпались, как им положено, желуди с клена,
И времени мельники не алкали вино у запруд.
Мне было назначено следовать за Скорпионом.
Пернатые мальчики выдали лук и колчан,
Ягдташ золотой и коробку цветных лампионов,
Стрелецкой отборной вручили полведерный жбан.
Стреляю и пью. Но заволжской гнилухи бутылку
Я выдул бы с радостью, тем огурцом закусив.

Охотничьи бредни, что жив я и весел, курилка,
Питье и охота — веселие лишь на Руси.
Оставьте завидовать, зенками звезды бодая,
Походке моей, что гагачьему пуху подстать.
Тут нет ни одной, что б затмила бобылок Валдая,
И так на салазках никто вас не станет катать.
Не жив я, но умер. Чисты мои, как Брахмапутра,
Лохмотья и помыслы — убыло с ними забот.
Скажите, а что, неужели, как прежде, по утру
На тыквах блестит, как на лбах у загонщиков, пот?

ЗАПИСКА XXXV
Паклен

Туже заткни сиволдай
Пробкой из местной газеты.
Выйди, взгляни на Валдай,
Вспомни о ком-нибудь: где ты?
Неклен. А в сущности — клен.
Клен. А прищуришься — неклен.
Тщательно щупает склон,
Осоловелый и медлен.
Вспомни о ком-нибудь и,
Сдвинув на брови мурмолку,
К дереву по пути
Сказку придумай. О волке?
Неклен. А все-таки — клен.
Клен. А на деле-то — неклен.
Сутью своей полонен
И в шевелении медлен.
Жил-был за Волгою Волк,
А перед Волгой — Собака.
Он к ней добраться не мог,
Пил потому он и крякал.
Неклен. А в общем-то клен.
Клен. Да к тому же и медлен.
Осенью лист раскален —
Есть и латунный, и медный.

Пил обыденкою штоф,
Мертвую пил он и крякал,
Что ни за что ни про что
Разуважал он Собаку.
Неклен. Присмотришься — клен.
Клен. Приглядишься — ан неклен.
Ты это — или же он,
Рвань по фамилии Паклин?
Жалит разутую пядь
Стéрни ржаная иголка,
Сядь же под некленом, дядь,
Сядь, чтобы не было колко.
Неклен. Призвание — клен.
Клен. А занятие — неклен.
Несколько всклянь упоен,
Впрочем, ступайте все нá блин.
Ну-с, отвори сиволдай,
Зубы вонзая в газету.
Что там за валдабалдай
Пишет все эти памфлеты.
Неклен. Наклюкался — клен.
Клен. Оклемаешься — неклен.
Сумерками ослеплен,
Медленной тлею облеплен.

ЗАПИСКА XXXVI
Препроводительная

Селясь в известной стороне,
У некоторой бобылки,
Слагал Записки; тут оне,
В приплывшей к вам бутылке.
Я составлял их на ходу,
Без всяческой натуги —
То в облетающем саду,
То в лодке, то на луге.
Иль на плотах, когда светло
Бывало до полночи,

Или в санях, когда мело,
Слепя мне очи волчьи.
Слагал, охотился взапой
И запивал в охотку,
Пил с егерями зверобой
И с рыбарями — водку.
Дочтя все это, вы потом,
Вбежав стремглав на почту,
Ловя, как рыба, воздух ртом,
Отправьте их. Усрочьте
Отправку: люди очень ждут.
Так ждут, беды не чая,
Мои коллеги в годы смут
Бесплатных чаен.

16. ЛОВЧАЯ ПОВЕСТЬ

Так, пытаясь собраться с мыслями, философствовал охотничий сторож Яков Ильич Паламахтеров, человек заурядного роста, обычного возраста и без труда забывающегося лица. Яков Ильич жил за Волгой, в небольшой, но неуютной казенной избе у края рамени, на заболоченном берегу, составляя компанию старому егерю Крылобылову. Паламахтеров жил, шил ичиги, чубуры, смотрел на воду, пил, ходил на охоты, закусывал картошкой в мундире и, желая разобраться в себе, пытался собраться с мыслями. На кухонном столе, среди предметов ловитвенной и домашней утвари, зачастую он замечал керосиновую лампу. Бывало, во фляге выходило горючее, и фитиль немилосердно коптил. При этом становилось понятно, что в медном чайнике, луженном некогда одним спившимся с круга и дурно кончившим точильщиком, в чайнике с самодельной проволочной ручкой, в котором хранили теперь керосин, не наберется и нескольких капель последнего. Со мною был чайник, — глядя, как отрываются от тлеющей ткани и летят вверх по прозрачному приспособлению искры, мямлил Паламахтеров, — чайник,

единственная моя отрада в путешествиях по Кавказу. Рассуждая порою об этой горной стране, Яков Ильич усмехался тому, что мальчиком, начитавшись разного вздору, бурно мечтал о ней; позже Кавказ, подобно всем остальным местам, где ему не случилось бывать, стал вполне ему безразличен. Когда осознавал, что думает вслух, Паламахтеров тогда удивлялся. И говорил, адресуясь, по-видимому, только к себе, ибо он находился в доме один, поскольку, дней пять прогуляв на той стороне, Крылобыл возвращался на кордон без дрожжей и, сильно кручинясь по этому поводу, бил часами в клепало, висевшее на березе за псарней; обитатели ее возбуждались тогда чрезвычайно. А угрюмая злая нищенка, которую Яков Ильич с Федотом Федоровичем по весне подбирали на рыбном базаре и приспосабливали для своих холостяцких нужд, — та, с утра уйдя по грибы, нередко не шла и не шла, а к ледоставу и совсем пропадала. И Паламахтеров уверял себя: думать не так следует, а вот как. При этом он даже пытался жестикулировать, но получалось картинно и глупо, будто в театре, и далее он поучал себя, стоя недвижимо и вялые от смущения руки уронив. Нужно энергичнее думать, подчеркивал он, какую-то определенность в уме выковать, постоянно — тут он решал остановиться, имея в виду непременно найти замену тому неловкому слову, что готовилось уже завершить фразу, но остановиться не успевал, и слово срывалось, выскакивало — всякий день, говорил Яков Ильич, *выковывать*. Странное, отзывающееся чревовещанием, оно повисало в полутемном пространстве рядом разновеликих литер, болезненно светившихся коптящим фотогеновым излучением, и, будучи начертанным, оказывалось еще непрошеннее произнесенного. В волнении Яков Ильич рассматривал его и совсем неожиданно — ведь снег-то еще не выпадал — обнаруживал себя лежащим в розвальнях ногами вперед, а голова свисала и даже волочилась, и каждый раз, как сани миновали бугор или запорошенный пень, пропустив его меж полозьев, голова — как Яков ни силился загодя, упреждая удар, приподнять ее, — с маху стукалась затылком о препятствие

и подскакивала с каким-то ореховым хрустом или щелчком, и тут же, клацнув зубами, как мертвая, вновь запрокидывалась. Положение усугублялось тем, что на ней не было шапки; последняя, как Паламахтерову следовало умозаключать, вероятно, слетела, иначе, с жалостью к себе — с жалостью, хотя ни боли, ни явственных неудобств от всего с ним происходившего, ни унижения он не испытывал, будто все это происходило не с ним, будто он глядел на это со стороны — иначе, рассуждал доезжачий, иначе удары не были бы такими жестокими. Но, слетев, шапка — он замечал со временем — не терялась, а, привязанная за штрипку к вешалке полушубка, волочилась вослед за санями, голове подобно, которая, все-таки, более подскакивала, чем волочилась. На ровных местах, когда не трясло, сознание оживлялось. Улыбаясь мелким разноцветным шарам, азартно снующим в высоте по сукнам запредельного биллиарда, — это мороз, это она от него такая, — о голове размышлял, — задубенела на холоде, вот и упругая, вот и скачет, и щелкает, как кнутом. И пусть он подозревал в настоящем объяснении некую фальшь и лукавство, тем более что и мороза-то особого не ощущалось, оно совершенно устраивало его, и никакого иного ему не требовалось. Едут опрометью. Но коленопреклоненный возница, пристроившись у самого передка, все погоняет, выбрасывая в морок чащи клекот и хрип понуканий. Исполнившись опасений насчет ушанки, Яков Ильич часто оглядывается, поскольку он вообще может оглянуться, — как бы не потерялась. Да нет — по-прежнему и прыгает, и волочится, поспевает за едущими мобильным обозом, и Яков Ильич, вознамерившись поблагодарить за оказанную услугу, за то, что столь дальновидно побеспокоились о его головном уборе — привязали вот, но не зная, кого благодарить, обращается к правящему, неисповедимым образом догадавшись, что это именно он, возница, ее привязал, и от него зависит ныне его, Паламахтерова, участь, и следует улестить спутника, сказать ему что-то доброе, как-то расположить к себе, Яков Ильич обращается к незнакомцу, говоря почему-то не своим языком и

не известно чьим языком: спасибо вам, благодарствуйте, шапчонку-то мою прикрепили, а то еду и прямо ума не приложу, где шапка, а она вот она, оказывается, где — к вешалочке прикреплена, премного обязан, я здоровия вам пожелаю вполне, а что мы с Крылобыльчиком к артельщику так отнеслись — так не гневайтесь, мало ли чего не бывает в быту. Конечное дело, погорячились, набедокурили, с кем не случается, но ведь и он же хорош со своей позиции; лампу краденую штормовую мы простили ему как списанную, но где это видано — гончаков изводить; думал, если он инвалид, то и дозволено ему все? Нет, границы у нас некоторые и для калечных намечены, пусть и шире, да еще и кляузы начал строчить, ябеда мелкая, будто мы его костыли утянули, словно иных егерей не имеется. И голос, и слова, и манера — все отдает неестественностью и елеем в речи его, все чуждо ему в его монологе. Но понимая это, неловкости никакой не чувствует, ему напротив приятно заискивать перед возницей, и хочется, чтобы поездка длилась и длилась, и чтобы его, Якова Ильича, с этой его головой, все везли и везли куда-то, личность жалкую, беспомощную и благодарную, а он бы все твердил негромко и вкрадчиво: шапчонку мою, к ушаночке, к вешалочке, — и сладко бы сожалел о себе, и, может статься, если бы удалось поплакать, то и всплакнул бы немного. Ибо, пытается философствовать он, что есть страдание, что оно такое есть, в самом-то деле, по самой своей сути, когда разобраться по-настоящему? как обозначить, определить его, в конце-то концов? Но не в силах будучи выделить суть страдания и по-настоящему разобраться в нем, равно определить и обозначить его, ловчий смиряется с обстоятельствами, и ему уже не хочется хлопотать ни о чем решительно, но желается, чтобы все кончилось, завершилось, прошло и никогда уже более не повторялось. Перейти, перейти, фантазирует он, обернуться знобящим дождем Брюмера и повиснуть над бутафорским хламом предместья, над некой донельзя заштатной верстой, отчего бы не тридцать четвертой, считая оттуда, откуда нужно или откуда угодно; но не считая,

поскольку не нужно и не угодно. Ничего не считая, заладить над пакостью сточных канав и отстойников, над супесью огородов и суволочью нив, над гурьбою фанерных бараков, пакгаузов и хибар; зарядить, унижая достоинство черных, больших, презирающих перелеты крылатых и гоня под навесы и будки будочников и псов окрестных; зазнобить, наискось пронизывая изверженья фабричных дуд, жестяных и кирпичных, и заставляя стелиться дымы огнедышащих маневровых по путям их; и идти по крышам складских помещений в подражанье путейскому кровельщику соответствующей дистанции, бубня и долдоня одно и то ж, и — как нетрезвый стекольщик той же дистанции, неся околесицу, осколками полную всклянь, застеклять зияющие провалы перспектив — и длиться, усугубляя кутерьму перепутий, проволок и портя вид старомодных — некогда бальных, а ныне присутственных — фраков и шляп огородных чучел, вороньих пугал и остальных персонажей.

17. ПОСЛЕДНЕЕ

Гражданин Пожилых. По истечении дней, синим часом, прохлаждаемся кое с кем на портомойных мостках — сумерничаем. И, как правило, проступают через туманы, из-за реки, пресловутые присной памяти. То Алладин Рахматулин залыбится невзначай, то Угодников Коля ненавязчиво подмигнет, то этот долгий, который со слегой краденой и с нее же длиной, возникает — старуху заплаканную с туеском ведет: разрешите рекомендовать, моя вдова, чуть не век без мужика мыкалась, спасибо — Зимарь-Человек, наконец, ей встретился. И выдвигается из-за реки Крылобыл, выступает, как по суху: что сидите? Да так. Царствия Небесного дожидаемся, — а тебя какая нелегкая принесла? Ободритесь, располагаю благим известием. Что ж, выкладывай, если не лень. Начинает. Гурия как хоронили — помните? Гурия, не Гурия, говорю,

а лично я порожнее погребение это присутствием пропустил как неверное, но упаковку пустую, по мнению скорбевших печальников, зарыли с почестями. Точно так, объездчик рассказывает, а еще перед самым выносом ради солидности вящей предприняли мы что-нибудь подобное посунуть вовнутрь, а буде объявится сам, то заменим. На беду ни подобного, ни бесподобного не выяснилось ничего и ни у кого бы то ни было — все, чертяки, свояк свояку проспорили, каждый каждого по миру пустил. Но случись во светелке на лежаке один недоподлинный гость из приблудных, которому с перебору вступило в речь и сделалось нехорошо и расслабленно. Личностью, дабы не беспокоила, обратили его к стене, на восток, принакрыли рогожею, и ответить, кто есть таков — со стороны бывало бы затруднительно; да никто особенно и не вдавался, у нас ведь попросту: отрубился, сопишь в обе дырки — ну и соизволь почивать, кто бы ни был, лишь бы не озорничай. Инвентарь же — его, не его — как докажешь? — торчал непотребно в красном углу, под Скорбящей. Значит, снасти-то эти и сунули, и снесли — как в назидание, так и ввиду их не слишком, но на безрыбье — подобности. Теперь на досугах невольных мозгую: не из-за тех ли опор егеря Илюху-то ухайдокали, а он — гончаков, и не он ли, следственно, на лежанке тогда почивал. Так мозгую и перетак, а все сходится: не иначе — точильщиковы клюшки в тот раз погребли, пойти, вероятно, сказать. Вон как славно все обустраивается, Крылобылу я говорю, стало быть, завтра же надо бы их и отрыть. Стало быть, завтра же и отроем. Только как это я после тризны без них в Городнище попал, чем чекала, спрашивается, перемог и восвояси взошел? Это забота твоя, Петрикеич, нас в свои безобразия соблазнительные не впутывай. И линяет в дымах, погибает в маревах, но назавтра тревожит сызнова. Исполать тебе, душа-человек, Федот Федоров, да зачтется где следует добро твое, да оставлены будут твои все долги, а мое утопленье особенно. Ободритесь, глаголет, располагаю благим известием. Точно, старый, зарей и отправимся, правда, заступы наточить бы, неточеными до Судилища проко-

выряемся: задернело, поди. Вот такие у нас новинки, Фомич. Извиняйте, оказывается, за зряшное беспокойство, бывайте, являйтесь себе кем являетесь, и — счастливого Вам воскресения, так сказать. И последнее. Что об Илье болтают — тому не верьте, одергивайте злых языков. Ишь — разохотились, всех собак на меня склонны вешать, я ж единственно пару выжловок в отмщенье из берданы успел порешить, но и те бестолковые. Одна все, слышно, глухой прикидывалась, вторая — немой, на гоне голоса не подавала намеренно. Ну-ка, псина несчастная, поди сюда, полижи мне струпья мои незлопамятно, поврачуй, когда хочется. И чего это ты крупом столь перепала тут, в бытии не такая была дохлятина. Верю, скажи, зарей, скажи, и отправимся — выручим свои принадлежности. Ну, давай покалякаем, зачем напрасно в молчанку играть да кукситься. Или сокровенны тебе слова мои?

18. ЗАПИСКА, ПОСЛАННАЯ ОТДЕЛЬНОЙ БУТЫЛКОЙ

ЗАПИСКА XXXVII
Post scriptum

Увы нам, наш климат для нас нездоров,
Тут тянутся тучи цепочкой.
Нашедший Записки, на розе ветров
Пожги и развей мои строчки.
Как сгинула некогда Амзтаракань,
Татарской оравы столица;
Как вымрет когда-нибудь таракан,
Что пасся у хана в косицах;
Как в сильную оттепель тают следы
Полозьев и лосей наброды;
Как — столь же бесследно — пропали труды
Народов и сами народы;
Как после бутылки минует тоска,
Нам душу шершаво потискав, —

Так — столь же бесславно — исчезнут пускай
С чекушкою вместе Записки.
Кому это нужно все — вот в чем вопрос,
Зачем я, охотник-лохмотник,
На лоне бытья заскорузлый нарост,
Срамник, выпивоха и сводник,
Записки в верховьях реки сочинил
И сплавил в низовья куда-то...
Напрасная трата свечей и чернил
И силы теченья растрата.
Какая досада: лета напролет
Гуляешь, колядуешь лишку;
Посмотришься в кружку — а ты уж удод.
Хреново, худые делишки.
Предзимье застало за штопкой мешка,
Починкой мережи и бочки,
Но знаю — набухнут исподтишка
И лопнут настырные почки!

Попробуй пожги только, дурья башка,
Мои гениальные строчки.

СОДЕРЖАНИЕ

Соколов Саша

С 59 Школа для дураков. Между собакой и волком: Романы. — СПб.: «Симпозиум», 1999. — 352 стр.

ISBN 5-89091-090-6

Небольшое по объему творчество Саши Соколова (р. 1943) — значительное (без преувеличения) и загадочное явление русского языка и литературы последней четверти XX века. Мифотворец и эксцентрик, постмодернист и новый классик, блестящий стилист и тонкий психолог, Саша Соколов — один из немногих, кто, смело переосмысливая лучшие традиции классики, возвращает русской литературе современное и всемирное звучание.

Настоящий том впервые изданного в России собрания сочинений, признанных писателем, включает в себя романы: «Школа для дураков» (1973), о которой Владимир Набоков отозвался: «обаятельная, трагическая и трогательная книга», и «Между собакой и волком» (1979) — псевдодеревенская, утрированно фольклорная эпопея, гармоничное сочетание прозаического и поэтического языка.

Все произведения заново отредактированы автором.

САША СОКОЛОВ

Школа для дураков
Между собакой и волком

Редакторы *Т. В. Суворова, М. В. Козикова*
Художественный редактор *М. Г. Занько*
Технический редактор *Е. И. Каплунова*
Верстка *И. В. Петрова*
Корректор *О. П. Романова*

Издательство «СИМПОЗИУМ».
190031, Санкт-Петербург, Московский пр., 10.
Тел./факс +7 (812) 319-93-82. E-mail: symposium@neva.spb.ru
ЛР № 066158 от 02.11.98.

Подписано в печать 19.08.99. Формат 84×108 1/32.
Гарнитура Школьная. Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48.
Тираж 10 000 экз. Заказ № 1259.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГПП «Печатный Двор»
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

ISBN 5-89091-090-6
9 785890 910905